ВОЙНА И МЫ

Составитель серии Артем Драбкин

1000 ночных вылетов

Константин Михаленко

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Фронтовая судьба автора этой книги удивительна и уникальна.

За годы войны летчик Константин Михаленко совершил 997 только подтвержденных боевых вылетов и при этом остался в живых! Причем в полете его не защищали ни броня Ил-2, ни авиапушки «яков» и «лавочкиных» — лишь дерево и перкаль открытой кабины По-2, того самого «небесного тихохода», неприхотливого труженика мирного времени, в грозные годы войны ставшего ночным бомбардировщиком.

Вдумайтесь! Почти 1000 раз пришлось молодому выпускнику Харьковской военно-авиационной школы лететь сквозь смертельные трассы зенитных пулеметов и разрывы снарядов, под слепящими лучами прожекторов, на минимальной высоте и без возможности раскрыть парашют, если страшный удар расколет его «летающую этажерку». Летчики По-2 днем и ночью летали на разведку и бомбардировку противника, на транспортировку боеприпасов своим войскам и эвакуацию раненых.

Наши солдаты шутливо называли самолет По-2 «кукурузником», немцы — «кофейной мельницей» и «руссфанер». Но вклад, внесенный в нашу Победу этим маленьким самолетом и его бесстрашными пилотами, огромен. Не зря Родина оценила заслуги многих из них, в том числе и автора этих воспоминаний, самой высокой наградой — званием Героя Советского Союза.

- Константин Михаленко
  - Несколько слов о человеке, написавшем эту книгу
  - От автора
  - Выбираю профессию
  - Электрички идут на Москву
  - Полк
  - Первый боевой
  - Огонь на себя
  - Поставьте памятник, люди!
  - Федор Маслов
  - «Немецкий шпион»
  - Ни шагу назад!
  - Где тебя искать, Таня?
  - Гвардия
  - Задание будет выполнено!
  - Гвардии Шурочка
  - Кавалер ордена Красного Знамени

- Бомбы, товарищ генерал!
- Здравствуй, родной город!
- Он мог не лететь
- «Фоккер» в хвосте
- Бобруйская операция
- Пепел сожженных стучит в сердца
- Пламя Варшавы
- Белый флаг над крепостью
- Отбой войне
- Список иллюстраций

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12

- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37

Константин Михаленко
1000 ночных вылетов

Несколько слов о человеке, написавшем эту книгу

Я читаю выписку из вахтенного журнала научной дрейфующей станции «Северный полюс-6»:

> «24 октября самолет Михаленко привез корреспондента «Комсомольской правды» и корреспондента радио, которых поселили в домике доктора. С ними прибыли семь молодых, но бородатых физиков-аспирантов. По этому случаю показали фильм «Семь грешников»…

Это произошло в 1958 году. Корреспондентом «Комсомолки» был Альберт Пономарев, радио представлял я. Тогда и состоялось наше знакомство с Константином Фомичом.

Всесоюзное радио командировало меня в Арктику для сбора материалов о полярниках. Побывать в Арктике и не быть на полюсе?! Мы решили добраться туда любым путем. Но прыжок на крышу планеты, казалось, совершить невозможно: самолеты шли до предела загруженные, и, хотя нас было всего двое, никто не мог взять нас к себе на борт. Уже теряя надежду попасть на полюс, мы подошли к последнему самолету.

— Возьмите… — Самые жалобные ноты звучали в наших голосах. — На полюс…

— Сколько вас?

— Двое.

— Многовато. Около двухсот килограммов. Что же, мешок картошки и два ящика капусты придется снять…

Только в полете я узнал, что предыдущий диалог происходил с командиром корабля Константином Фомичом Михаленко. И не знали мы тогда оба, что этот короткий разговор станет началом большой многолетней дружбы.

Полет оказался сложным, и было не до интервью. А когда стало «до него», экипаж уже собирался в обратный путь. Но Михаленко обещал мне интересное интервью, и свое обещание выполнил, притащив мне объемистую рукопись. Это были рассказы о его недавнем путешествии и полетах в Антарктиде.

После я читал и другие его рукописи. Все они, как правило, неповторимы, уникальны по содержанию, увлекательны по изложению и просто талантливы по исполнению. Отрадно, что все они в дальнейшем становились книжками. Самое

характерное, может быть, самое ценное, что в каждой новелле, в каждом рассказе или повести Константина Фомича встают не вымышленные герои, а живые люди, с которыми столкнула его нелегкая профессия полярного летчика, увлеченность художника и виденье киношника.

Человек сам по себе удивительной, неповторимой биографии, он не перестает восхищаться теми, кто рядом с ним, с кем сталкивают его Арктика, полеты, жизнь.

Эта книга, как и все предыдущие, биографична, хотя Константин Фомич, как обычно, рассказывает в ней больше о своих боевых, мужественных товарищах, чем о себе. Но не стала ли биография его друзей — тех, с кем он прошел годы войны и десятилетия освоения Арктики, — и его собственной биографией?

Настоящая книга — это рассказ не об одном человеке, посвятившем себя служению небу Родины — тяжелому, грозовому в годы войны и мирному, чистому, но не менее опасному арктическому небу наших дней, — это рассказ о славной семье советских летчиков, достойным членом которой является и автор этой книги.

Недавно мои знакомые удивились, узнав, что я написал сценарий документального фильма.

В этом жанре я выступил впервые.

Что же меня заставило обратиться не к «своему» жанру и принять самое деятельное участие в съемках документального фильма?

Прежде всего желание рассказать об интересном человеке, достойном подражания, о моем друге — Герое Советского Союза, полярном летчике, писателе, художнике, кинооператоре… Герое, которого я так хорошо знаю и называю не вымышленным именем, а его собственным — Константин Фомич Михаленко!

Лев АРКАДЬЕВ, кинодраматург

От автора

В юности я мечтал о карьере военного летчика. Мечта моя сбылась, и я стал им в грозные военные годы.

Первые боевые вылеты, первые успехи и открытия, неудачи и разочарования и опять открытия — все это прелюдия к навыку, начало приобретения опыта. Через два года войны меня уже называют в эскадрилье «стариком». Не за седину, не за преклонный возраст, просто друзья увидели, что ко мне пришел опыт, пришли знания, умение летать в любую погоду и поражать любые цели. С той поры и я сам начал считать себя настоящим летчиком.

Закончилась война. Я стал пилотом гражданской авиации. В первом же полете вдруг понял, что мне все надо начинать сначала. И я стал учеником. Благо учиться и перенимать опыт было у кого. Рядом со мной работали прославленные асы полярной авиации, имена которых мне были знакомы еще в юности. Герои Советского Союза И. П. Мазурук, И. И. Черевичный, В. Н. Задков, Герои Социалистического Труда Н. В. Зубов, А. И. Мохов, Б. С. Осипов, О. А. Куксин и многие другие служили для меня образцом, примером для подражания. Они терпеливо открывали передо мной новые и новые страницы Неизведанного, приобщая меня к Умению и Мастерству.

Прошло немало лет, прежде чем я позволил себе называться «полярным летчиком».

Эта книга — не просто мемуары. Это документальная повесть о мужестве и мастерстве моих фронтовых друзей, о любви к летной профессии и верности своему долгу моих товарищей по Арктике. Это повесть о воздухе и самолетах, о неизведанных просторах, раз изведав которые уже никогда не забыть, о хороших, добрых и сильных людях, которые провожали меня в небо и встречали на земле.

И если молодой читатель, прочитав эту книгу, найдет в ней героя, достойного уважения, а может, и подражания, я буду счастлив.

В книге сохранены все истинные географические названия и имена людей. Лишь некоторые из них по независящим обстоятельствам мне пришлось изменить.

Приношу искреннюю благодарность моим фронтовым друзьям — однополчанам Николаю Кислякову, Льву Овсищеру и Ивану Шамаеву за помощь в создании этой книги.

К. Михаленко

Выбираю профессию

Если человек объясняет избрание своей профессии случайностью, не верьте ему! Вся предыдущая жизнь подготовила его к этому, и лишь какой-то незначительный случай, может быть, и вычеркнутый из памяти, внезапно определил его судьбу, и человек целиком отдается любимому делу, думая при этом, что избрал он его совершенно случайно.

С детства меня манило небо. Не нежностью красок, не грозным величием облаков, не золотом закатов и не прелестью зарождающегося утра, нет! Манило своей непознанностью, беспредельной высотой и непонятной упругостью, которая свободно держала птиц и бумажных змеев.

Первый полет запомнился на всю жизнь. Закончился он печально. Старик-сосед не понял стремления мальчишеской души познать непознанное. Мое появление в его саду, по-видимому, навело его на практические рассуждения (шла пора созревания яблок) и еще более практические мероприятия: старик отстегал меня крапивой… А дома мать поставила в угол, наказав за уничтоженный зонтик: не получился из него парашют, он вывернулся наизнанку, едва мои ноги отделились от крыши!..

В моем сердце еще не успел зародиться страх. Наоборот, неудачный «полет» вызвал новый прилив энергии, и, стоя в углу, я обдумывал план освоения на этот раз уже дедушкиного зонтика.

Но не всем планам суждено сбываться. Через день меня отвели в школу, и новые впечатления на какое-то время отдалили планы освоения неба.

Первый школьный год пролетел незаметно. В таком же стремительном темпе пролетали второй, третий, четвертый, пятый. И здесь непознанное властно вошло в класс в образе чудаковатого весельчака учителя физики. Ах, сколько различных «почему» приходилось объяснять нашему доброму физику! А сколько дополнительных вопросов вызывали его ответы! И, по крупицам отдавая свои знания, он осторожно лепил наше неорганизованное сознание, развивал способность многое познавать своим умом. И как-то незаметно пришло главное для меня: почему летает самолет, планер? После уроков я оставался в школе и старался постичь это самое «почему». Тогда же началось строительство моделей самолетов. И кто бы мог предположить, что для многих из нас это было первым шагом на длинном пути освоения неба.

Увлечение моделями прошло в один день. Раз и навсегда. Как-то вдвоем с приятелем Мишей Толкачевым, сияющие и

переполненные гордостью, мы тащили в школу модель самолета «Максим Горький», по тем временам машины высшего класса. Неподалеку от школы нас остановили два военных летчика. Они с любопытством осмотрели модель, похвалили нас, и тут же один из них спросил:

— Как, хлопцы, наверное, мечтаете стать летчиками?

Что за вопрос! Кто из мальчишек не мечтает стать летчиком! Но тут судьба, если не считать падения с крыши и крапивного нравоучения, преподнесла мне первый удар. Тот же летчик сказал:

— Вот этого, — кивок головы в сторону Миши, — хоть сейчас в авиацию. А ты (это мне) слабоват. Фигура не та. Не подходишь, брат, для летчика.

Неужели это судьба? Неужели моя неказистая фигура — препятствие на пути к небу? Нет!

Надо что-то придумать…

Так пришло увлечение спортом. Плаванье, лыжи, футбол, гимнастика и бокс — спорт как предпосылка к старту в авиацию.

Занятия в восьмом классе школы совпали с первыми уроками в школе планеристов. Кстати, при поступлении в нее никто не заинтересовался моим возрастом. Солгать, сказать, что мне восемнадцать, как того требовал и условия приема, я бы не смог, но, по-видимому, никто не мог предположить, что мне только пятнадцать: фигура уже была «та».

Весна 1936 года наступила в Белоруссии необычно рано. Жара, установившаяся в середине апреля, продолжалась весь май и июнь. Мы уже окончили теоретическую подготовку, изучили планер. Две зеленые птицы, собранные нашими руками, готовы подняться в небо. И все наши мечты там — в небе! Но инструктор-планерист Якубович даже не подпускает нас к «ангару» — так мы называем сарай, где хранятся планеры.

— Не, хлопцы. Сдадите экзамены — тогда и полеты. От так, хлопцы!

Экзамены… Русский и белорусский языки и… конструкция планера. Тригонометрия и… теория полета. Химия и… штурманская подготовка. Все смешалось вместе. А экзамены за восьмой класс школы надо сдать не ниже «хорошо». Таково условие начальника планерной школы. Иначе нам не подняться в небо. Наконец и экзамены позади. Теперь — в воздух!

Далеко за городом, рядом с полями совхоза «Прудок», вздыбился пологими холмами пустырь — городская свалка мусора в недалеком прошлом, а теперь наш планеродром. Внизу, у подножия холмов, извилистая зелень широкой поймы Сожа. Но мы стараемся не глядеть в сторону реки. Пусть себе плещет

прохладными волнами. Пусть! Мы идем по дороге к небу. Руки на амортизаторе, под ногами кустики чахлой полыни и пыль. Пыль кругом.

— На амортизаторе!

— Есть!

— Шагами! Растягивай! Пот смешивается с пылью, запах резины — с горечью полыни.

— Раз! — Старшина группы отсчитывает десятки шагов. — Два! Три! Четыре! Пять!

Амортизатор натягивается, кажется, до предела, каждый шаг вперед уже дается с трудом.

— Старт!

Щелчок крюка-тормоза и легкое шуршанье крыльев, планер устремляется в воздух. Вот он набирает высоту, разворачивается к склонам холмов и, подхваченный восходящими порывами воздуха, поднимается выше и выше. У-ох! Какое счастье парить птицей в воздухе! Но голос Якубовича обрывает мечты:

— Э-эй! На амортизаторе!

— Есть!

— Шагами. Растягивай!..

Из-за школьных экзаменов наша группа несколько отстала от других. Поэтому Якубович и определил нас на амортизатор. Лишь к вечеру, когда закончат полеты курсанты других групп, настанет наша очередь залезть в кабину. Но команда инструктора «Старт!» прозвучит на этот раз при счете «два». Планер не взлетит, он только пробежит неуклюже сорок-пятьдесят метров, закачается и в клубах пыли, безжизненный, опустится на крыло. Это упражнение называется «пробежкой» — последнее упражнение перед настоящим стартом.

И вот он, первый старт! Первый настоящий взлет! Сила инерции вдавливает спину и голову в подушку. От возрастающего ускорения захватывает дух. Кажется, на миг утеряно сознание. Но так только кажется. Глаза четко видят приборы и землю. Приборов всего два: указатель скорости и высотомер. Но и за ними надо следить! А тут планер кренится, устремляется носом к земле. Скорее выровнять! Вот так! А земля приближается. Теперь надо взять плавно ручку на себя и выровнять планер на высоте одного метра. Пусть он несется над землей. По мере затухания скорости я чуть-чуть подберу ручку, и планер мягко коснется земли своей лыжей. Ниже! Еще чуть-чуть ниже! И вдруг удар… Планер тычется носом в землю. Трещит фанера, пыль забивает мне рот…

— Не-е, не летать тебе, хлопец, — предрекает инструктор, осматривая разбитый планер.

Что это — еще один щелчок по носу или судьба? Но я хочу летать. Хочу!

Полеты снятся мне даже по ночам. Во сне я летаю куда лучше. Даже без планера. Просто расставив руки наподобие крыльев. Это очень тяжело. От усталости ноют руки. И еще ни один полет не окончился благополучно. Всякий раз я падаю долго и мучительно. С замиранием сердца, со страхом, от которого бросает в пот. Неужели я трус? Нет! Я буду летать!

Каждый день приносит маленькие победы. Крылья планера будто срослись с моим телом. Мне кажется, что я их ощущаю. Планер уже послушен мне, я делаю весь допустимый пилотаж. Даже не верится!

А мечты устремляются дальше: в небе за рекой стрекочут самолеты аэроклуба — вот бы на самолет!

Сданы экзамены в школе, аттестат зрелости в кармане, близятся к концу и занятия в аэроклубе. Полеты давно уже не снятся, сплю как убитый. Засыпаю, едва успев коснуться головой подушки: усталость. Приехала государственная комиссия. Опять экзамены: конструкция самолета, двигателя, аэродинамика, аэронавигация, метеорология, конструкция приборов и, наконец, техника пилотирования. Кружится внизу земля, упругий воздух врывается в кабину, ласкает щеки, с шумом обтекает плотно застегнутый шлем. Самолет послушно выполняет фигуры: штопор, петлю, переворот, бочку и снова штопор.

— Отлично! — Это заключение комиссии.

Один за другим получаем свидетельства пилотов-любителей, и… девчата собираются в институты! Уже уехала одноклассница Галина Докутович, уезжает Полина Гельман.[1] Ладно, это девчата, для них авиация — только спорт. Но вот уехал Борис Аронов, решил поступать в институт железнодорожного транспорта Миша Толкачев.

— А как же авиация, Миша?!

Он только разводит руками:

— Понимаешь, дома скандал…

— Сдался?! Черт с тобой! Мы не сдадимся! Правда, Стась? Но и Стась Станкевич, преданнейший друг последних школьных лет, опускает глаза:

— Я тоже подал заявление в институт. Отец…

Вот тебе и на! Нет, я не сдамся! Решено! Подаю заявление в военное авиационное училище.

Буду летчиком-истребителем!

Отчим мое заявление встречает более чем холодно.

— Летчик-истребитель? — переспрашивает он, и густые брови удивленно двигаются вверх. — А твое обещание матери? А

ее желание? Разве ты забыл все это?

Выходит — забыл. Забыл ее предсмертное желание, забыл, что обещал ей и отчиму поступить в медицинский институт, стать врачом. Значит, не судьба мне стать летчиком. Вновь берусь за ненавистные учебники. Не спеша сдаю экзамены и втайне подумываю: а не провалить ли какой предмет? Нет, нельзя! Не смею! Ведь я дал обещание самому дорогому человеку — матери! Так что же, теперь всю жизнь прописывать порошочки, ставить клистиры?! Была бы жива мама, наверное, она поняла бы меня! А отчим? Я вспоминаю смешинки в его усталых глазах. Мне они нравятся, и я не хочу, чтобы они пропали. Отчим никогда не наказывал меня, даже если я заслуживал этого. Он не повышал голоса и не читал мне нравоучений. Просто глаза его делались строгими и немного печальными. От такого взгляда мне становилось не по себе. Нет, пусть смешинки всегда будут в его глазах. Так лучше.

Я приношу отчиму маленькую бумажку: «…студенту первого курса Белорусского государственного медицинского института… к первому сентября предлагается прибыть на занятия…».

— Сын! — Отчим распахивает голубые глаза-смешинки. — Как обрадовалась бы мама!..

— И ты, отец, рад?

Он не отвечает. В его глазах слезы. Слезы печали, вызванной невосполнимой утратой, и радости, что исполнилось желанное, что впереди что-то очень хорошее. Он верит в счастье!

Значит, судьба.

Изучаю анатомию. Грызу латынь. Постигаю химию, эмбриологию, гистологию, знакомлюсь с терапией, хирургией и вдруг по-настоящему увлекаюсь ею. Вступаю в студенческий научный кружок, дежурю в клинике травматологии даже за товарищей. Чертовски интересно! Решено: буду хирургом!

А свободное время по-прежнему отдаю лыжам, плаванью, акробатике и планеризму. Но теперь это только спорт. Только спорт?

Участвую в студенческих лыжных соревнованиях (гонка на 50 км), показываю приличные результаты и…. назавтра приглашение в ЦК комсомола Белоруссии, где предлагают написать заявление о зачислении добровольцем в формирующийся лыжный батальон.

Зачислен на должность санинструктора первого эскадрона с присвоением воинского звания старшина (четыре треугольника в петлицах) — видимо, учли медицинское образование.

Вскоре заканчивается советско-финская война 1939–1940 годов. Я возвращаюсь в институт, старательно наверстываю все

пропущенное за это время — впереди летние каникулы!

Случайно узнаю о предстоящих планерных соревнованиях и не могу отказать себе в удовольствии подняться в небо! Устанавливаю какой-то республиканский рекорд на продолжительность полета, но не принимаю его серьезно — спорт! Однако кто-то замечает мое увлечение планеризмом, и меня вновь вызывают в ЦК комсомола Белоруссии:

— Стране нужны летчики!

Вот так сюрприз! А как же воля матери, мое обещание отчиму и, наконец, мое желание?! Но для комсомольца «хочу» — на втором плане после «надо».

Перед военным училищем заезжаю домой. Страшно говорить, но надо. Отчим долго молчит.

Осуждает?

— Наверно, там рассудили правильно, — наконец говорит он. — Время-то какое? В мире неспокойно. Видно, придется еще воевать, и стране нужны летчики… Ты мечтал об этом. Наверно, ты станешь хорошим летчиком.

Отчим опять надолго умолкает, склонив лицо к газете.

— Смотри! — Он вновь поднимает глаза. — Германия-то. Что творит Германия?!

Через его плечо заглядываю в газету и вижу набранное крупным шрифтом через всю страницу:

«Германия захватила Польшу!».

Случай, облаченный в мундир писаря военкомата, направляет меня в Харьковское военно-авиационное училище. Только в Харькове выясняю — училище штурманское. Вот тебе на! Так я мог попасть в любое училище, даже в пехотное.

Иду к начальнику училища с просьбой перевести в другое — лётное. Где там! Армия. Дисциплина. Вот так! Успокаиваю себя, что училище все-таки авиационное. Могло быть и хуже.

Харьковское военное училище. В коридорах портреты его выпускников — героев Халхин-Гола и войны с белофиннами. Робеем перед обилием орденов воинской славы и зубрим по двенадцать часов в сутки. В тяжелые сны врывается противный писк морзянки и нудный голос дневального: «По-одъем!»

— Становись! Направо равняйсь! Смирно! Товарищи, сегодня утром фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину…

Это не сон. Это страшная действительность. Это война.

Полыхает небо разрывами зениток и прожекторов. Рвутся бомбы впереди эшелона и по сторонам. Эвакуируемся. Ползем на восток, в глубокий тыл.

«В тыл, в тыл! — перестукивают колеса. — В тыл!» Станции забиты составами. Повсюду масса людей с одинаковыми серыми,

измученными лицами. Эти люди в один миг лишились крова, простых земных радостей и превратились в безликую массу беженцев. Во внешности тех, кто эвакуируется на восток со своими предприятиями, больше уверенности. У них есть какие-то планы, есть обязанности. А беженцы-одиночки подавлены не только тяжестью вынужденного путешествия, но и своим одиночеством. Они способны говорить только о личном горе…

Нам стыдно смотреть на этих людей, стыдно сознавать, что и мы сами, здоровые парни, движемся на восток вместе с беженцами. Стыдно, будто мы спасаем свою шкуру. А скупые сводки Совинформбюро гасят искорки надежд, заставляя тревожнее сжиматься сердце: все новые и новые города оставляет наша армия…

И опять летаем. Бомбим мишени учебными бомбами. Стреляем из фотокинопулемета. Изредка достается малюсенькая ленточка в три десятка патронов для стрельбы по конусу — болтающейся за хвостом буксировщика полосатой сосиске. Эх, настоящую бы ленту, по настоящему врагу! Так нет же, учебные самолеты, учебные полеты, учебные цели на учебных полигонах… Украинские степи сменила тайга, вместо привычного Донца — Енисей, и все равно… учеба! А на западе не прекращаются бои. Фашистские армии уже рвутся к Москве.

Но вот приехала государственная экзаменационная комиссия. В классах тишина: экзамены. Извечные билеты с вопросами. И старые как мир шпаргалки. А за окнами громыхают эшелоны: красные теплушки спешат на запад, на восток идут поезда с ранеными…

…Двенадцать отличников, выпускников училища, направляются в действующий полк. Каждый из нас уверен, что стоит только нам попасть на фронт — и тут же изменится ситуация всей войны в нашу пользу! Скорей бы на фронт!

А пока… От училища до вокзала пять километров. Наш жиденький строй сопровождает старший лейтенант Клюев.

Для меня образ Клюева тесно переплетен со всеми воспоминаниями об училище. Мне кажется, что училище и Клюев неразделимы. Не будь Клюева, незачем существовать и училищу. Клюев — это все! Это наша жизнь, наш распорядок, наша совесть и… Одним словом, без Клюева не было бы военного училища — это точно!

С раннего утра до позднего вечера сопровождает нас его пронзительно-скрипучий голос, указывая на все дозволенные и недозволенные действия курсанта, — сопровождает, напутствует, взбадривает или отчитывает. Клюев вездесущ. Он в казарме и столовой, он поджидает нас в коридоре учебного корпуса и

сопровождает на марше, он на аэродроме. Такая уж должность у старшего лейтенанта — заместитель командира авиаэскадрильи по строевой части. Это его обязанность — сделать из нас, бывших рабочих, колхозников, студентов, — из «шпаков», как любит говорить Клюев, — настоящих людей. В его понимании только солдат с отличной выправкой и веселым взглядом — настоящий человек.

— Становись! Р-р-равняйсь! Смир-р-но! — самые любимые слова Клюева.

Правда, иногда он бывает многословен, и тогда в его лексиконе появляются более обширные фразы вроде: «Грудь вперед! Живот убрать! И не шевелись!» Однако это лишь дополнение к излюбленной команде: «Смирно!»

Клюев жил неподалеку от нашей казармы, в доме комсостава. В скверике рядом с домом часто появлялась его жена — худенькая, болезненного вида женщина с маленькой дочкой. Леночка, трехлетнее создание, еще не понимала значения субординации, не вникала в тонкости воинской дисциплины и детским сердцем тянулась ко всему неизведанному, интересному. Наверно, интересны для нее были и мы, курсанты, с песней проходившие по улице. Леночка каждого из нас одаривала лучезарной улыбкой, что явно шло вразрез с правилами Клюева. Мы не оставались в долгу перед Леночкой, у каждого из нас была с ней самая искренняя дружба. Вообще, казалось, это улыбчивое создание только и ждет ласкового взгляда, чтобы тут же ответить задорным смехом.

И вдруг первая бомбежка, и нет уже худенькой жены Клюева, нет Леночки… У старшего лейтенанта лишь покраснели глаза да, кажется, немного опустились плечи.

— Смир-рно!

Клюев в последний раз придирчиво осматривает строй уже бывших курсантов.

— Р-разойдись!

Мы толпимся у станционного буфета. Тонко звенят бокалы с шампанским.

Гудит паровоз. Мы подносим руки к пилоткам и щелкаем каблуками. По уставу. С особым шиком. Как учил Клюев. А он просто обнимает нас за плечи и целует. Это не по уставу. Почему на глазах Клюева слезы?

Электрички идут на Москву

Если на минутку отключиться и забыть про голодный тыловой паек, здесь еще не чувствуется войны. По утрам построение, поверка, короткая политинформация о положении на фронтах. Сводки Совинформбюро скупо сообщают об оставленных городах. Летчики молча расходятся по самолетам.

Каждый день тренировочные полеты. Почти как в школе. Наверное, так надо. Наверное, командование хочет заполнить вынужденный досуг хотя бы видимостью работы. Мы это понимаем, но от этого не становится легче. Взлет. Посадка. Полет по кругу. В зону. Кому это нужно?

Вчера какой-то самолет загорелся и врезался в землю. Сегодня погибший экипаж под жидкий винтовочный залп опустили в могилу. Вот тебе и первые жертвы. И даже не войны, а собственного неумения или неосторожности. Значит, нужны полеты по кругу. Значит, нужны тренировки?

Вечером, если не предстоят ночные полеты, мы получаем увольнение в город. Тщательно надраенные сапоги на версту разят густым запахом ваксы. Мы шагаем в город. Строем. С песней. Хотя всем не до песен.

…Наверно, не хочется петь и Герману, и не по-настоящему страдает Лиза. Там, на западе, страдания народа, горе всей страны, и как мелки перед теми событиями страдания двух неустроенных людей. Мне кажется, что спектакль сегодня только для отвлечения мыслей от тревожной действительности, только для того, чтобы на миг забыть самое главное — войну. Но она напоминает о себе размеренным шагом кирзовых сапог. Выйдя на сцену, посыльный из штаба, окруженный аксельбантами и эполетами прошлого века, смущаясь, одергивает гимнастерку:

— Товарищи летчики! Приказано явиться на аэродром.

Негромкие хлопки стульев, шарканье сапог по паркету. На миг умолкшая музыка продолжается с оборванного такта. Жизнь. Она идет своим чередом.

Семь километров от театра до аэродрома преодолеваем бегом. Рядом с аэродромом виднеется длинный эшелон из теплушек и платформ.

— Самолеты на платформы!

— Первая эскадрилья! Вторая!

— На посадку!

Перестукивают колеса теплушек и платформ на стыках рельсов. Эшелон медленно ползет на запад…

Посредине теплушки железная печурка-«буржуйка». Тепла от

нее почти нет. На нарах, куда чьи-то заботливые руки подбросили охапки свежей соломы, температура не выше наружного воздуха. Эшелон то стоит сутками в чистом поле, то идет, не останавливаясь, мимо всех станций. Запертые в темноте теплушек, сидим вокруг призрачного тепла печурки и строим различные предположения о том, куда выползет наш неторопливый эшелон.

Наша теплушка называется штабной. Вероятно, потому, что в ней находится начальник штаба полка майор Соловьев, бывший преподаватель тактики в нашем училище. Нары слева занимают экипажи первой эскадрильи. Они расположились на нижнем ряду. Верхний ряд для начальства. Здесь разместились начальник штаба майор Соловьев, начальник воздушно-стрелковой службы капитан Поветкин, начхим полка младший лейтенант Иванов, инженер полка старший техник-лейтенант Косырев, наш любимец, командир эскадрильи Брешко и начальник вооружения старший техник-лейтенант Кильшток, никогда неунывающий маленький человечек с веселой искоркой карих навыкате глаз. Старший техник-лейтенант Кильшток еще в училище прослыл знаменитостью. Как-то в учебном полете на ТБ-3 присел он у входной двери и задремал. На одном из разворотов незапертая дверь распахнулась, и Кильшток вывалился из самолета. Но поток воздуха тут же придавил дверь обратно, зажав заодно и ногу Кильштока. К счастью, на нем оказался парашют. После сложнейших манипуляций ему удалось освободить зажатую ногу, а раскрыть парашют оказалось делом одной секунды. Кстати, на большее раздумье у него времени не оставалось: самолет шел на высоте двухсот метров!

Через два дня был обнародован соответствующий приказ по училищу, и долго еще каждый встречный считал своей обязанностью обратиться к Кильштоку с вопросом: «Как же ты, а?» Но старшего техника-лейтенанта трудно было вывести из равновесия. Он отмалчивался, только еще веселей щурились его глаза.

Вот и теперь наш начальник вооружения вдруг стал героем дня. Никто не знает, зачем ему понадобилось на одной из остановок забраться на крышу вагона, но о его падении с крыши во всех теплушках ходит анекдот.

— Что с крыши упало?

— Пальто.

— Почему так громко?

— Кильшток в нем.

Но Кильшток на розыгрыши не реагировал. Он лишь улыбался и отвечал единственной фразой:

— А что? Такое уж мое еврейское счастье.

Эту же фразу мне довелось услышать много позже. И увидеть ту же скромную улыбку. Под Сталинградом наш аэродром бомбила группа «юнкерсов». Все попрятались, кто куда смог. Кругом вздымались столбы огня, земли, свистели осколки, грохали взрывы, а среди этого пекла, на бомбовом складе, между штабелями бомб спокойно прохаживался Кильшток со своими подопечными Копейкиным и Дроздовым, не спеша подбирая пылающие зажигалки и отбрасывая их в сторону — подальше от бомбосклада!

Официальные слова приказа звучали примерно так: «За мужество, хладнокровие и находчивость, проявленные в период бомбардировки складов боеприпасов вражеской авиацией, капитана Кильштока наградить орденом «Красная Звезда», сержантов Копейкина и Дроздова медалью «За отвагу».

Еще много дней после этого, оказывая внимание, мы пытались отдать ему свои пайковые папиросы, предлагали свои «боевые сто грамм». Но капитан Кильшток смущался окончательно:

— Что вы, ребята! Не надо. Если бы взорвались бомбы, кто бы их с меня списал?

Правая часть теплушки — женская. Там живут врач полка капитан Дибич, машинистка Гаврилова и техник-приборист Надя.

Женская половина населения нашей теплушки создает некоторое неудобство для нас, мужчин. Видимо, это же испытывают и женщины. Особенно если учесть неравномерность движения эшелона. В других теплушках, где размещены одни мужчины, кое-какие мелкие надобности можно выполнить, не дожидаясь остановки поезда. А у нас любой пустяк — проблема! А если эшелон не останавливается сутки, если… Да что там греха таить! От пайковой баланды заболел живот у старшего техника-лейтенанта Кильштока. Первые симптомы вызвали только улыбки и подтрунивания. Но Кильштоку было явно не до смеха. И если бы не врач полка… Одним словом, она спрыгнула со своих нар и перешагнула на нашу мужскую половину:

— А ну, черти, раскрывайте дверь! Старшего техника-лейтенанта за руки! Зад наружу! Мы давились от смеха, схватив горячие руки Кильштока, а он страдальчески опускал глаза:

— Извините, ребята. Такое еврейское счастье…

Еще сутки не останавливался эшелон. Мы все по очереди висели над раскрытой дверью теплушки и виновато шептали те же слова:

— Извините, ребята…

Эпидемия перешагнула и на женскую половину теплушки. И

уже никто не смеялся. Были съедены все таблетки и порошки из сумки Элеоноры, а эшелон грохотал в ночи. И время от времени от двери несся смущенный шепот:

— Извините, ребята…

* * *

…Электрички уходят в Москву. Громыхают мимо школы, на втором этаже которой разместился наш полк. Днем мы собираем самолеты, а вечерами свободны. В темноте невозможно крутить многочисленные гайки и болты, а свет включать нельзя: война.

Ночью в стороне Москвы то и дело вспыхивает зарево прожекторов. В морозном воздухе слышен отдаленный грохот бомбовых разрывов и ожесточенный лай зениток.

Электрички ходят по военному расписанию: круглые сутки. Ходят в Москву. К фронту, который рядом. Немцы уже на Волоколамском шоссе, на Ленинградском…

Каждый думает о Москве. Москва — сейчас самое главное. Удержать! Не пропустить врага!

Не отдать столицу!

От нашей платформы до Москвы всего час езды. Там, в Москве, у лейтенанта Замятина жена и сын. У сержанта Гаврилова мать. У машинистки Ани Гавриловой — тоже мать. И еще у кого-то живут в Москве родные и близкие. Как они там, жены, матери, дети? И вообще, как Москва?

Сегодня всем москвичам разрешено увольнение до двадцати трех ноль-ноль. И хотя у меня в Москве никого нет, и меня там никто не ждет, я тоже получаю увольнительную. Велико желание увидеть столицу. Увидеть и понять: выдержит ли она? Выстоит ли?

Электричка идет в Москву. За окном мелькают платформы, перелески, заснеженная гладь полей. Вроде ничего и не изменилось, вроде все, как было до войны. Зато в вагоне электрички признаки войны налицо: серые ушанки, ватники, солдатские мешки, шинели и винтовки. Суровые лица, сжатые губы, глубокие складки между бровей. И скупые разговоры:

— У Красных ворот вчера «Юнкерс» сбили.

— А у Никитских фугаска упала и не взорвалась.

— Наверно, и у них есть сознательные.

— Держи карман шире! Все они — гады!

— Нет, почему же все? Есть же у них социал-демократы, коммунисты? Рот-фронт, Роте-Фане…

— Болтовня! Фашисты! Всех их, гадов, нужно стрелять!

— Но почему всех, почему?!

— А потому! Они спрашивают у тебя — стрелять или не стрелять?! Все они одинаковы! Всех их!..

— Болтовня. Разговорчики. Вот из-за этих разговорчиков и допустили немца до Москвы. А теперь куда отступать? На Урал?

— Эт-та кто на Урал?! Ты, гад?!

— Врежь ему по шее, Васек. Чтоб до Урала помнил!

А что? Наверно, и «врежет». Народ сейчас злой. Вон поволокли кого-то в тамбур. Не иначе как будет мужской разговор. А женщины толкуют о житейском:

— Вчерась Нюське Громовой похоронную на мужа прислали…

— А седьмой талон, говорят, хозяйственным мылом отоваривают. Не слыхала, кума?..

— Похоронная пришла на мужа-то, а сама уже неделю как преставилась. Господи! Да кабы на войне… На окопах…

— Намедни слыхала, будто на третий талон заместо подсолнечного касторку дают. На кой она?

— Господи! Как в гражданскую. Скоро ли все окончится?..

— Скоро, мамаша, скоро!

— Еще маленько споем «Если завтра война» да шапчонки все перекидаем. Больше нечего! Эх, пропели Расею!..

— Я те пропою! Подпевала!

Тяжелый кулак повисает перед чьим-то красным носом.

— Расея, она — вот! — Кулак разжимается. — Во! Какой ни отдай — все одно, больно! А ты.

— Расея… Не отдадим!

— Граждане! Электричка дальше не идет!

— Господи! Да мне ж до Сортировочной. Как же теперь, гражданочка?

— Под ополченцев, мать, вагоны. Понятно?

— Да нешто я против? Понятно, доченька, понятно. Мне бы только до Сортировочной. Господи, сынок там у меня… Как же теперь, а?..

Иду по Москве. И жадно смотрю по сторонам. Опушенные инеем деревья будто выточены из снега искусным резцом скульптора. Иней на проводах, на ребрах надолбов, сваренных из обрезков тяжелых рельсов. Витрины магазинов заложены мешками с песком. И на мешках тоже иней. Поминутно встречаются пешеходы. Проносятся грузовики с солдатами. Значит, Москва живет! Живет суровой жизнью окопного воина — спокойно, без паники.

Вой сирены. Над домами хлопают выстрелы. С визгом прошивают железо крыш осколки снарядов. Молчаливые

дружинники скользят по крышам в поисках зажигалок.

— Граждане! В убежище! Пройдемте в убежище!

Вот так неожиданность — милиционер! Никогда с такой радостью не слышал хозяйского окрика:

— Пройдемте, граждане, пройдемте!

Черт возьми, это же здорово! Война — и милиционер! Однако нужно укрыться. Метро уютно попыхивает теплым паром, поглощая в свои недра обыденную человеческую жизнь — детские саночки, чемоданы, подушки, горшочки. А их обладатели, вдруг поднятые с постели, не думают капризничать и тем более плакать. Они серьезно надувают щечки и хлопают ресницами. Наверно, они уже привыкли к тревогам, к бомбежкам, к стрельбе зениток и уже что-то понимают. Во всяком случае, это запомнится им на всю жизнь. На всю!

В двадцать ноль-ноль электричка удаляется от Москвы. Позади торопливые щупальца прожектора исчерчивают облачную шапку неба. Молчат ватники и треухи, закрыты усталые глаза. За окнами вагона свет далеких прожекторов отражается на снегу голубыми отблесками.

— Господи… Когда же все это кончится?.. — вздыхает, ни к кому не обращаясь, старушка.

Кто сможет ей ответить, когда никто еще не знает, что будет завтра? Фронт под Москвой. Дальше отступать некуда. Об этом стучат колеса. Только это перетирают тяжелые жернова мыслей: не-ку-да! Некуда! Все. Точка! Позади Москва.

В двадцать три построение, вечерняя поверка, отбой. Расходимся по классам-комнатам.

Счастливчиков, побывавших в Москве, засыпают вопросами:

— Как она? Держится? Живет? Выстоит?..

Вместо ответа я поднимаю черную бумагу затемнения. За окном, пронзительный в морозном воздухе, свисток электрички. И мерный, удаляющийся перестук колес: тук-тук, тук-тук! Как пульсация крови. Как стук сердца. Живого сердца Москвы.

Полк

Полк стоит под Москвой. Полк — это самолеты и люди. Боевая единица действующей армии.

Самолеты — У-2. Небесные тихоходы, простейшие учебные самолеты, собранные по военным училищам и сибирским аэроклубам.

И вот эта техника, предназначенная только для учебных полетов начинающих летчиков, теперь составляет основу нашего авиационного полка. Смотрю на зеленые двукрылые аппараты, открывшие не одному поколению летчиков дорогу в небо, и ощущаю в душе двойственное чувство. С одной стороны, уважение к старому самолету, с другой — сомнение: неужели на нем можно воевать?!

Самолет из учебника истории. Каких-либо три десятка лет отделяют его от братьев Райт! Его технико-тактические данные весьма определенны: скорость — сто километров в час, потолок — две тысячи метров, броня — фанера вперемежку с перкалью, вооружение — дерзость… И это против современных скоростей, против самолетов из дюраля и брони, против скорострельных пушек и пулеметов! И все же мы должны воевать на этом самолете. Должны… А как воевать? Кто бы мог научить нас этому?

Через год, когда полк, преклонив колени перед боевым знаменем, даст клятву гвардейцев «Ни шагу назад!», новичкам не придется ломать голову в поисках ответа на этот элементарный вопрос: как?

Тогда о подвигах гвардейцев будет знать вся страна. А пока наши самолетики стоят на подмосковном аэродроме рядом с грозными истребителями и бомбардировщиками, и такой у них вид, что не приходится обижаться на кличку «кукурузник», которая прочно пристала к нашему У-2.

У-2 — учебный самолет Поликарпова. Позже, за исключительные заслуги на фронтах Великой Отечественной войны, он будет переименован в По-2, по фамилии конструктора Поликарпова. И кому сейчас может прийти в голову, что скоро, очень скоро этот маленький воздушный труженик будет хлопотливо порхать во фронтовом небе, пренебрегая огнем вражеских зениток, ловко уходя от «мессеров», будет вывозить раненых с переднего края и снабжать боеприпасами рейдовые соединения регулярной армии и партизан, будет поддерживать пулеметным огнем атакующие цепи пехоты и подавлять бомбовыми ударами исключительной точности наступающие

танки врага! А ведь так оно и случится, и первой оценит возможности «кукурузника» пехота, по чьему требованию в ночь, за полночь, в любое время года, когда «серьезная авиация» не сможет подняться в воздух из-за распутицы или плохой погоды, этот маленький самолет будет взмывать в небо. И сколько добрых слов будет сказано в адрес этих тихоходных, фактически беззащитных и не оснащенных почти никакими пилотажными приборами самолетов!

Как-то незадолго до окончания войны я оказался по долгу службы на командном пункте наступающей армии, где собрались для координации совместных действии представители многих родов войск, в том числе истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации.

Не помню, как уж это произошло, но кто-то из офицеров затянул незамысловатую песенку, которую тут же подхватили все остальные. И это тронуло меня до слез. Перед нами на пыльных холмах рвались снаряды, готовились к атаке наши танки, а в это время видавшие виды офицеры всех родов войск, которые оказались на КП армии, пели невесть кем сочиненную песенку на мотив широко известной «Метелицы»:

Вот как кончится проклятая война,
Мы на выставку отправим-ка тебя.
Ты постой, постой, красавец наш ПО-2,
Пусть американец посмотрит на тебя!

А что? А почему бы и в самом деле не поставить старенький ПО-2 на мраморный постамент перед Музеем Советской Армии, снабдив этот бесценный экспонат короткой надписью: «Да будут признательны люди этому скромному и безотказному труженику Великой Отечественной войны!» И все! Как принято говорить, комментарии излишни.

Через десятилетия я смотрю на прошлое. Вспоминаю полеты друзей, летчиков ночных бомбардировщиков (так именовались официально наши У-2), свои полеты и не устаю восхищаться. Действительно, каждый полет тех лет — подвиг! Даже отбросив многочисленные зенитки и пулеметы, прожектора и истребители, отбросив обыкновенный ружейно-автоматный огонь, для которого наш самолет был уязвим не менее, чем для огня артиллерии, — отбросив все это, с полным основанием можно сказать, что любой полет ночью в ту пору — подвиг. Я не боюсь этого высокого слова.

В пятидесятых годах, когда я успел налетать в полярной авиации не одну тысячу часов на разных современных для той

поры самолетах, довелось мне как-то встретиться с транспортным вариантом моего старого знакомого ПО-2, который в Аэрофлоте носил имя С-2. Помнится, шел я каким-то дальним рейсом на восток и остановился на отдых в аэропорту «Дудинка». Было это в пору выборной кампании, и, так как летчик, постоянно летавший на С- 2, заболел, начальник порта обратился ко мне:

— Константин Фомич! Надо собрать результаты голосования. Слетай!.. Я понимал его тревогу.

— Добро. Готовь «стрекозу».

Я облетал все деревни, побывал во всех поселках, где мне вручали выборные документы. Я страшно спешил, не задумывался о технике пилотирования, о размерах посадочных площадок. Просто сработал инстинкт, давняя привычка к этому самолету. И только возвращаясь в Дудинку, я успокоился и стал думать о технике пилотирования этого самолета. Итак, какая у него посадочная скорость? Вот черт! Неужели забыл? Стоп! Если на моем Иле сто пятьдесят километров, на ЛИ-2 примерно сто десять, то на С-2 что-то около ста? Допустим.

Захожу на посадку, держу по прибору скорость сто километров. Полторы тысячи метров полосы проносятся в считаные секунды. Повторяю заход — та же картина. Самолет упорно не желает садиться. Еще заход. Другой, третий…

Была бы рация на этом самолете, я бы мог спросить, какая у него посадочная скорость, но рации нет, и это исключается. Пытаюсь представить, как собравшиеся в эти минуты на командной вышке начальник порта, диспетчер и ребята из моего экипажа смотрят на порхающий в небе самолет и переживают. Только бы не смеялись! Подвожу самолет низко-низко. Тяну на одном метре от земли. В начале полосы полностью убираю газ. Или он сядет сам, или… Самолет садится, и я заруливаю на стоянку. Вытираю взмокший лоб и выключаю двигатель.

— Что случилось?! Мы все уж…

— Ничего. Просто забыл посадочную скорость.

— Не в свои сани не садись, — резюмирует штурман Алексей Сорокин.

Я грожу ему кулаком. А в общем, он прав: прежде чем сесть в самолет, надо обо всем подумать. И нельзя терять голову — это главный прибор на любом самолете!

Люди в полку разные. И по возрасту, и вообще. Мне думается, всех нас можно разделить на две категории — военных и штатских. Неважно, что на всех одинаковая форма, она не делает нас одинаковыми. Если не считать нас, недавних выпускников военного училища, подчеркнуто блистающих воинской

выправкой, — школа Клюева! — да еще десятка кадровых офицеров, остальные призваны из запаса и являют собой представителей самых мирных профессий. Начхим полка младший лейтенант Иванов в прошлом преподаватель химии и директор школы, начальник шифровальной службы Семенов — преподаватель истории, летчик Скворцов — шофер такси. Остальные: агрономы, путейцы, бухгалтеры, токари — какими только профессиями не владели прежде люди нашего полка!

Старший по званию офицер в полку — майор Соловьев. Много лет он возглавлял кафедру тактики в нашем военном училище, а сейчас начальник штаба полка. Мягкий, в меру добрый и очень добропорядочный, он больше напоминает нашего старого добряка-физика, случайно надевшего военный мундир, чем кадрового офицера.

Командир и комиссар полка — старшие лейтенанты. Оба под стать друг другу — высокие, стройные. И тот и другой кадровые офицеры с боевым опытом: участники войны с белофиннами, воевали и на Халхин-Голе. Если командир полка Меняев несколько горяч и порою несдержан, то комиссар Терещенко, наоборот, слегка флегматичен и уж очень рассудителен. И эта его спокойная рассудительность надежно уравновешивает горячность командира. Наверно, зная их характеры, и назначили обоих в один полк, так сказать, для дополнения друг друга. В общем, достойная пара. Пройдет совсем немного времени, и каждый из нас, молодых летчиков и штурманов, незаметно для себя начнет в чем-то подражать любимым командирам — походкой Меняеву, выправкой Терещенко. Меняев слегка сутулится и ходит, переваливаясь, будто ощущает за своей спиной невидимый груз парашюта. Комиссар ходит прямо, высоко подняв голову, и при разговоре всегда старается заглянуть в глаза собеседнику. Говорит он медленно, тщательно обдумывая каждое слово.

…Что-то удивительно располагающее, внушающее уважение было в облике командира полка А. А. Меняева.

Штурман полка Александр Белонучкин — тоже лейтенант и тоже участник боев с белофиннами. У него приземистая фигура, некрасивое лицо, которое тем не менее кажется исключительно обаятельным. Шутник, весельчак, Белонучкин способен острить в любой, самой неподходящей ситуации. Как-то он летел на бомбежку с командиром эскадрильи Афанасием Борщевым. Условия полета были исключительно плохими: облачность высотой сто — сто пятьдесят метров, видимость около двух километров и ночь. Перед линией фронта Борщев вошел в облака. Стал набирать высоту и не справился с техникой пилотирования. Самолет стал беспорядочно падать. Штурман видел напряженную

спину летчика, видел все его старания выйти из создавшейся ситуации, но помочь не мог. Когда самолет пробил облака и Борщев смог восстановить его положение, Белонучкин спокойненько, будто они только что не смотрели в глаза смерти, сказал:

— Ну, ты и шутишь, Афоня.

От злости Борщев даже потерял дар речи. Только выполнив задание и произведя посадку на своем аэродроме, он дал волю гневу:

— Ну, знаешь, Саша! Больше с тобой летать не буду!

Но они летали вместе еще много раз.

Командир эскадрильи лейтенант Борщев мал ростом и неказист на вид. Его ничем не выразительное в общем-то лицо украшает уникальный нос. Независимо от времени года, будь на улице летняя жара или зимняя стужа, борщевский нос всегда напоминает молодую облупленную картофелину.

Я служу в эскадрилье Борщева и поэтому знаю, что командир он хороший. В меру требовательный, в меру строгий, исключительно честный и справедливый. О нас, молодых, печется как о собственных детях. В любую минуту готов поделиться своими немалыми знаниями и опытом летчика.

Другой командир эскадрильи, младший лейтенант Уразовский, высок ростом, правда, мешковато сидящая на нем форма скрадывает этот рост. Говорят, что он никогда не повышает голоса и не любит попусту тратить слова. Каждое слово, как и движение, — к делу.

И, наконец, кумир и объект постоянного подражания молодежи командир эскадрильи лейтенант Брешко. Я давно присматриваюсь и во многом тоже подражаю ему. Мне нравится его умение овладевать вниманием окружающих, когда он начинает рассказывать что-либо из своей многолетней авиационной практики. Если действующим лицом в рассказе является он сам, то налицо легкий юморок. Все его истории обычно начинаются словами: «Был у нас в части один лейтенант», — и мы понимаем, что за этим безымянным лейтенантом скрывается сам комэск Брешко.

Нравится мне его обычная аккуратность, подтянутость и, я бы сказал, удаль, сквозящая во всем. И в том, как он носит пилотку, чуть сдвинув ее к уху, и в том, как туго затягивает ремень, не оставляя ни одной складки на гимнастерке, и в его сапогах, всегда надраенных до зеркального блеска, и в умении быть всегда свежим, будто минуту назад он принял душ. Да что там говорить, кадровый военный так и сквозит во всем его облике и выгодно отличает от лейтенантов запаса, недавно надевших военный

мундир.

Большая часть личного состава полка — молодежь. Почти все летчики и техники призваны из запаса, из аэроклубов, только некоторые из них — бывшие школьные инструкторы.

Штурманы — все как один из нашего военного училища. Одни преподавали, другие были курсантами. Мы, недавние курсанты, занимаем какую-то неопределенную позицию. От офицеров вроде далеки (по приказу Тимошенко всему нашему выпуску были присвоены не офицерские, а сержантские звания), но так же далеки и от солдат (как же — штурман самолета!). У нас еще нет боевого опыта, но за плечами солидный запас знаний, приобретенных в училище, и отличная строевая выправка, о которой так заботился наш Клюев. Но… солдатами не рождаются. Солдатами становятся по необходимости. Стал солдатом и мой непосредственный командир — младший лейтенант Федя Маслов. Был он летчиком-инструктором в аэроклубе, а теперь мы стоим с ним в строю эскадрильи Борщева. Экипаж.

Первый боевой

Сегодня первое боевое задание. Готовимся к нему так, как недавно готовились к контрольному полету на экзаменах в училище. Красная линия маршрута на полетной карте тянется от Москвы на юго-запад до пересечения с Варшавским шоссе. Дальше она идет вдоль него к деревне Кувшиново, что возле города Юхнова. По данным разведки 43-й армии, которой подчинен наш полк в оперативном отношении, в лесу, что севернее деревни Кувшиново полтора-два километра, предполагается замаскированная стоянка самолетов противника. Мы должны «найти эти самолеты и поразить цель бомбовым ударом. В случае противодействия зенитных средств противника надлежит подавить его огневые точки пулеметным огнем», — так гласит боевой приказ. Первый боевой приказ по полку! Для его выполнения под крыльями каждого самолета подвешены четыре пятидесятикилограммовые бомбы. Для этого и пулемет у штурмана. А у меня ко всему в кармане лежит еще «лимонка» — подарок старшего техника-лейтенанта Кильштока. Когда он протянул гранату мне, спокойно сказав при этом: «Возьми. Авось пригодится!», — я про себя подумал: лучше бы не пригодилась. Но подарок взял: на войне всякое может случиться.

Темная, почти чернильная ночь. Редкий снежок перемешивает и без того неприметные ориентиры. Правильно ли летим? Разворачиваю карту и включаю свет.

— Во-о! Устроил иллюминацию, — ворчит Федя. — Слепит!

Я выключаю лампочку. Понимаю, как тяжело ему пилотировать самолет при такой плохой видимости, убежден, что темнота — наша единственная защита, но для того, чтобы сориентироваться, мне необходимо взглянуть на карту. Просто необходимо!

— Федя, — прошу я Маслова, — включу на минуточку? Я же не бог. Надо сориентироваться.

— Ну, включай, мучитель!

Торопливо сличаю карту с местностью. Ага! Большой массив леса, за ним река и поворот дороги… Идем правильно!

Свет в кабине горел не больше минуты, а Федор уже увел самолет с курса. Вот ведь как! И тут же простой вывод: надо заучивать маршрут полета на память, чтобы в воздухе не пользоваться картой. Вот тебе и первая крупица военного опыта, первое, пусть незначительное, открытие.

— Линию фронта прошли? — спрашивает Федор.

— Нервничаешь? — язвлю для его же успокоения.

— А ты — нет? Первый же вылет…

— Первый, — миролюбиво соглашаюсь я. — Подходим, Федя, к линии фронта.

Мы умолкаем, занятые своими мыслями.

Линия фронта. Какая она? Линия, разделяющая две армии? С одной ее стороны друзья, с другой — враги. На моей карте линия фронта обозначена двумя цветными полосами — красной и синей. На земле же нет никакой линии. Черными кляксами по серой промокашке плывут пятна лесов, заснеженные поля, деревушки, скрытые снегом, очертания рек и дорог. Где-то по этой речушке проходит линия фронта. Самолет медленно пересекает ее заснеженную пойму. Впереди те же поля, такие же перелески. Только внизу уже враг. Даже воздух здесь кажется другим. И мотор в этом воздухе работает по-другому: не так уверенно, не так ровно. Или это только кажется?

— Ну, скоро ли эта чертова линия?!

— Наверно, проходим.

— Наверно! — ехидничает Федор. — А точно ты не можешь сказать?! Эх ты…

Федор не успевает досказать. Из темной глубины, что внизу под нами, появляется блестящая цепочка желтых огней и, извиваясь, медленно ползет в нашу сторону. Первые выстрелы в нас. Но страха не ощущаю. Другая очередь проходит ближе. С интересом провожаю удаляющийся огненный пунктир. «Значит, те снаряды, что попадут в нас, мы не увидим», — почему-то приходит на ум. Элементарное открытие! Хорошо, что немцы стреляют трассирующими снарядами. Есть время подумать…

— Под нами линия фронта! — тоном, каким возвещают о величайшем открытии, сообщаю Федору.

— Гений! Сам вижу.

Федор вертится на своем сиденье. Волнуется или устраивается удобней? Но размышлять некогда. Отыскиваю взглядом едва различимое шоссе, рядом характерный изгиб реки и мост. Мост на карте я запомнил четко. За мостом деревушка. От нее мы должны пройти на север два километра. Совсем рядом!

Ну-ка, штурман, чему тебя научили в училище? Что стоят твои знания по авиаразведке и дешифрированию? Вот плавная линия леса прерывается белыми пятнами вырубки. Уж не сюда ли затащили немцы свои самолеты?!

— Точно! Федя, самолеты!

— Где? Не загибаешь?

Черный шар Фединого шлема свесился за борт.

— Держи вдоль кромки леса! Правей! Еще немного. Еще. Так держать!

«Так держать!» — команда летчику на боевом курсе. «Так держать!» — это значит провести мысленную прямую от самолета к точке, где рука штурмана нажмет на кнопку сбрасывателя, после чего бомбы, подчиняясь законам аэродинамики и всемирного тяготения, опишут баллистическую кривую и попадут в цель. «Так держать!» — это идеальная прямая, без кренов, разворотов и скольжения, а Федор вертится на своем сиденье, высовывает голову из кабины. Наверное, ему тоже хочется увидеть замаскированные самолеты врага, хочется увидеть, как оторвутся бомбы… и самолет уходит с курса.

— Федя! Самолет на боевом курсе! А ты!.. Повтори заход!

— Расшумелся! — удивляется Федор. — Пожалуйста, повторю хоть десять раз!

Но из темноты ночи уже подошли другие самолеты, и я вижу вспышки бомбовых разрывов на земле, вижу разрывы тяжелых зенитных снарядов в воздухе.

Федор ведет самолет вдоль кромки леса. Все ближе к нам ложатся разрывы снарядов. Федор пытается отвернуть в сторону.

— Так держать! — ору изо всей мочи. — Так держать!! На земле разгорается дымное пламя.

Рвутся бомбы.

Воздух исчерчен огненными трассами с земли и пулеметными цепочками с воздуха. Сбросив бомбы, берусь за ШКАС[2] и направляю первую очередь в гущу пламени, вдоль кромки леса. Стреляю расчетливо, как на выпускном экзамене в училище. Впрочем, для нас обоих это и есть экзамен. Первый боевой экзамен.

* * *

Личный состав полка собран для разбора первого боевого вылета. Все радостно возбуждены небывалым успехом. Еще бы! Агентурная разведка сообщает об уничтожении двадцати двух вражеских самолетов. И это за один вылет! Если так будет каждый день, то месяц-другой, и от вражеской авиации не останется и следа! Нет, недаром мы так стремились на фронт! Стоило только нам здесь появиться!..

Но командир полка охлаждает пыл наших возбужденных умов:

— Успех вылета объясняется только неожиданностью. Не секрет, товарищи, что немцы, имея преимущество в воздухе, не могли ожидать контрудара. Поэтому к следующим полетам необходимо отнестись с еще большей тщательностью.

Необходимо устранить следующие недостатки…

Оказывается, командир заметил недостатки. И все же первый вылет и первый успех вскружили наши головы. Разгромлен вражеский аэродром, и без каких-либо потерь для нас. Выходит, на наших тихоходах можно воевать. Да еще как! Скорей бы наступила ночь! Скорей бы в новый полет! Неужели не видит командир, как летчики рвутся в бой?! Ах, скорей бы уж ночь…

— Под личную ответственность командиров эскадрилий, — продолжает командир полка, — приказываю немедленно начать изучение карты всего района действия. Каждый летчик и каждый штурман обязан знать его на память. Штурманам эскадрилий принять зачеты. Кто не сдаст — к полетам не допускать…

Как это «не допускать»?! Значит, опять зубрежка, опять школа?! Ну, знаете ли, мы боевые летчики, а не курсанты училища… Подобные мысли можно прочесть на лицах каждого из нас. А командир, будто не замечает общего недовольства:

— Необходимо упорядочить и сами полеты. Прежде всего, высоты. Летать туда и обратно будем на определенных высотах. И каждый летчик обязан строго их выдерживать. Во избежание столкновения в полете и особенно над целью.

На подходах к аэродрому, километрах в десяти-пятнадцати, необходимо установить световой маяк для ориентировки своих самолетов. Где его установить, решит штурман полка. Кстати, необходимо установить где-либо и зенитный прожектор. Для тренировочных полетов в луче прожектора…

Ну и ну! Вот так боевой командир! Из полка хочет сделать учебное подразделение. Зубрежка, тренировочки, а воевать когда? Немцы под Москвой, а тут…

— И еще одно замечание, — командир полка обводит всех строгим взглядом. — Не забывайте о светомаскировке. Теперь немцы, обозленные нашим ударом, будут искать аэродромы. Во что бы то ни стало необходимо не обнаружить себя, сохранить самолеты и людей.

— А он просто трус… — шепчет в ухо Василий Корниенко, мой товарищ по училищу. Я молча соглашаюсь.

О юность! Как свойственны тебе скоропалительные выводы, поверхностные суждения о людях и событиях. Как ты бываешь слепа в своей наивности. Скромную, разумную храбрость ты можешь отнести к трусости, а шумную, пустую браваду, маскирующую подлинную трусость, иногда возводить чуть ли не в героизм. Правда, война научит тебя отличать сталь от шлака, но, во-первых, для этого потребуется время, во-вторых, за такие уроки приходится подчас платить жизнью.

Предсказания командира полка вскоре оправдались: немцы

начали тщательный поиск наших аэродромов, и в одну из ночей вражеские самолеты бомбили соседний лес и расположенную рядом деревушку. К счастью, наши самолеты оказались незамеченными, но полк квартировал как раз в этой деревушке, и, едва только бомбы стали рваться среди домов и служебных машин, все кинулись искать хоть какое-то укрытие от воющей и грохочущей смерти. И вот оно, легкомысленное незнание простейших вещей! Мы не отрыли загодя даже обыкновенных щелей, и каждый выбирал убежище в меру своих способностей.

Страх загнал моего однокашника по училищу Ивана Шамаева под автомобиль. Здесь он почувствовал себя в полной безопасности и в перерывах между взрывами даже позволял себе шутить. Но вдруг до его сознания дошло, что «надежным» укрытием ему служит не что иное, как старый автомобиль БЗ — бензозаправщик. Стоило угодить в него хотя бы одному осколку или случайной пуле, и бензозаправщик превратился бы в бомбу страшной взрывной силы. Иван, не раздумывая, метнулся из-под машины. И тут ему уже было не до взрывов, не до свистящих осколков — скорей бы и подальше унести ноги от этого мнимого укрытия! А грохот разрывов все нарастал…

С тех пор Иван прослыл храбрецом. К счастью, он им и был на самом деле. В воздушных боях его спокойствие и хладнокровие не раз спасали жизнь экипажу. Он мог шутить в любом, казалось бы, безвыходном положении. А шутка в минуту смертельной опасности присуща только очень смелым людям и действует безотказно.

Но тогда, после первого вылета, нам еще не суждено было знать этих простых истин. И вообще, что мы тогда знали? Какой опыт дал нам первый боевой вылет? И мы еще смели осуждать осторожность своего командира, забыв о том, что на его счету были две военные кампании. Мы рвались в бой, нам казалось, что уже наступил тот переломный период в ходе всей войны и что причиной тому — наше появление на фронте. Скорей бы новое боевое задание! Да мы этих фашистов!..

Но в эту ночь задания не было. Не было его и в следующую.

Разве могли мы знать, что в это время где-то в больших штабах тщательно рассматривались и изучались возможности применения малой авиации, с точки зрения живучести, эффективности и способности сыграть какую-то роль в современной войне? Вероятно, фактор живучести и явился главным, предопределившим дальнейшее самое широкое участие самолетов ПО-2 в боевых действиях, что позволило на первых порах в какой-то степени компенсировать безвозвратные потери нашей авиации в начале войны. Что же касается эффективности

малой бомбардировочной авиации, то об этом заговорили позже, тогда, когда ее господство в ночном фронтовом небе стало настолько ощутимым для фашистских войск, что рейхсминистр Геринг вынужден был издать приказ, согласно которому за один сбитый «кукурузник» немецкий летчик подлежал награждению рыцарским крестом.

И было за что! Не говоря о высокой точности бомбометания, которое велось на малых высотах и скоростях, ночная бомбардировочная авиация, получившая у немцев название «москитной», угнетающе действовала на психику гитлеровских солдат. Над их головами от заката до восхода солнца висели невидимые в темноте тихоходы и методически сбрасывали бомбы. При этом нельзя было определить, где и когда упадет следующая бомба. А кого же не выведет из равновесия постоянное напряженное ожидание бомбежки, вслушивание в монотонное гудение маломощного мотора, напоминающее гудение назойливого комара? И это моральное воздействие на врага было не менее эффективным, чем то, что достигалось в результате применения грозных «РС» — «эрэсов» — реактивных снарядов, подобных знаменитым «катюшам», которыми были оснащены наши штурмовики. Малая бомбардировочная авиация на первых порах была укомплектована учебными самолетами из аэроклубов и некоторых военных училищ. Позже, когда определился успех ее использования, были построены специальные заводы, и новые самолеты ПО-2 поступали на фронты непрерывно.

Огонь на себя

В этот полет летчики пойдут без штурманов. В задней кабине каждого самолета, где место штурмана, уложены мешки с продовольствием, ящики с боеприпасами, медикаменты. На обратном пути в освободившиеся от грузов кабины сядут раненые бойцы конного корпуса генерала Белова, что рейдирует по ближним тылам противника, громя коммуникации и уничтожая тыловые гарнизоны.

Конники Белова связались по радио со штабом нашей армии, указали район, подобранный для посадки, и обусловили сигналы, по которым наши летчики смогут определить посадочную площадку. Сигналы просты: четыре костра, образующие прямоугольник, — границы посадочной площадки. Площадка должна быть на лесной поляне. Все кажется предельно просто. Но я в течение дня не отстаю от Федора и заставляю его — в который раз! — вычерчивать на память путь от нашего аэродрома до лесной опушки в тылу немцев и обратно. Наверное, Федору надоели до смерти мои придирки, мои наставления, и он с удовольствием плюнул бы на все и ушел. Но чего не сделаешь во имя дружбы! Он чертыхается и вновь чертит, чертит:

— Вот здесь, Федя, от деревни отходят две дороги, а у тебя одна. Повтори всю схему.

— Послушай, а не послать ли тебя к черту?

— Федя!

— Если вычерчу без единой ошибки — отстанешь?

— Клянусь!

Опять и опять вычерчивает Федор схемы и шутливо брюзжит, сетуя на свою судьбу, на придирчивого штурмана:

— Всю жизнь мне не везет: то одно, то другое, а теперь вот ты на мою голову! Смотри — все уже начертили, подготовились и в козла режутся, а ты? Откуда ты взялся, наказание мое!

«Брюзжание брюзжанием, а район надо знать на память твердо. В ночном полете не очень-то воспользуешься картой. И к этому выводу мы с тобой, Федя, пришли еще в первом полете», — думаю я.

Я провожаю Федю к самолету. Это не тот самолет, на котором мы летаем обычно. Наш ремонтируют, а это совсем новый. Федор залезает в кабину, усаживается, пытается приподнять сиденье. Оно заело, не двигается.

— Вот черт, низко! Что бы подложить?

Мне под руку попадается сумка с запасными дисками для ДА. [3] Протягиваю ему один диск:

— Подойдет?

А Федор улыбается, опять копошится в кабине:

— Давай еще один! Или сразу парочку.

— Эх, не вышел ты ростом, командир! — не могу сдержать улыбку. — Мал ты у меня, мал.

— Дуб вон тоже в небо тянется! А толку? Дубина — дубиной!

Взвивается в небо зеленая ракета — сигнал к вылету. В мерцающем свете мне видно улыбающееся лицо Федора. Он высовывает из кабины громадную меховую рукавицу с оттопыренным большим пальцем:

— Порядок!

Я смотрю вслед рулящему самолету Федора, смотрю, как он бежит вдоль тусклых огней старта, смотрю до тех пор, пока самолет не тает в глубине звездной ночи.

Еще в сумерках увел девятку первой эскадрильи командир полка. В этом полете он ведущий.

Командир эскадрильи, младший лейтенант Уразовский, идет замыкающим.

Вторую эскадрилью — три звена по три самолета, ведет комэск-два лейтенант Брешко. Он идет по большому кругу над аэродромом и ждет, когда к нему пристроятся ведомые — звенья младших лейтенантов Елина и Фёклина. В звене Фёклина и мой Федя.

Вчера полк имел аналогичное задание, но оно не было выполнено. У ведущего девятки комэска Брешко вдруг забарахлил мотор, и он вынужден был вернуться на аэродром. Никто из летчиков не гарантирован от неисправностей в моторе. К тому же наши самолеты не оборудованы радиостанциями, командир не может передать командование своей девяткой кому-то другому, не может даже предупредить о случившемся. Разве он виноват? Видимо, поэтому сегодня по приказу командира полка в каждой эскадрилье определен заместитель командира. Он идет замыкающим, чтобы видеть маневр всей девятки, и готов в случае необходимости выйти вперед и взять на себя командование.

По слухам, инженер полка капитан Косырев, осмотрев и опробовав мотор брешковского самолета, нашел его в порядке. Что же, Брешко струсил, что ли? Говорят, что так и есть. Уверяют, будто командир полка имел с Брешко на сей счет уже разговор и обещал отдать его под трибунал, если мотор «забарахлит» еще раз.

Говорят, говорят… Что же, так устроены люди. И летчики, к сожалению, не исключение. Обвинить человека ничего не стоит. И если тебя в чем-то обвинили, попробуй, докажи обратное!

А мне лично Брешко нравится. И к черту все эти разговоры!

Разве может такой бравый, подтянутый офицер быть трусом? Ерунда! Стоит только сравнить его с любым летчиком, призванным из запаса, и станет ясно, что они ему не чета. Вот хотя бы с командиром моего звена младшим лейтенантом Фёклиным.

Я представил его тщедушную фигурку, наряженную в защитную гимнастерку и брюки «на вырост». Складки на животе, складки на спине, жеваные, гофрированные брюки… Разве это офицер? Сугубо штатская личность. А как он рапортует начальству, как подает команды, как приветствует! Будто отгоняет назойливых мух. Ну, разве идет он в сравнение с лейтенантом Брешко? Дудки! От Брешко так и веет воинской доблестью. А Фёклин? И фамилия-то у него девичья — Фёклин! Быть бы ему бухгалтером или сельским врачом!..

Брешко уверенно ведет свой самолет по большому кругу. Представляю, каком обращается к штурману лейтенанту Черненко:

— Как там? Подтянулись?

— Подтянулись! Можно ложиться на курс, товарищ командир, — отвечает штурман.

Брешко доворачивает свой самолет на заданный курс. Рядом и позади идут самолеты эскадрильи. Идут в плотном строю так, чтобы не потерять ведущего, не нарушить порядка.

В звене младшего лейтенанта Фёклина правым ведомым идет Федя Маслов.

Командир эскадрильи набрал высоту. Набрала высоту и вся девятка. Федор неотрывно смотрит на самолет ведущего, боясь потерять заданную высоту и дистанцию. Это отнимает у него почти все внимание, но каким-то боковым зрением, почти интуитивно, он время от времени смотрит на землю и сравнивает очертания проплывающих внизу ориентиров со схемой, твердо отчеканенной в памяти. Вот небольшой массив леса, напоминающий формой сапог. Носок «сапога» должен упереться в реку. За ней — линия фронта.

Федор бросает взгляд на высотомер: тысяча метров. На этой высоте и предполагалось пересечь линию фронта. Минут через двадцать они снизятся до шестисот метров. Так легче пройти по возможности незаметно к лесной опушке, где уже ждут конники Белова.

Впереди, чуть правее курса, поднимаются желтые цепочки трассирующих снарядов. «Первая эскадрилья проходит линию фронта», — отмечает в уме Федор. «Ведущий резко уклоняется влево. Наверное, хочет обойти зенитки, — продолжает рассуждать Федор. — Но почему он берет к югу? Там же перекресток

железной и шоссейной дорог, узловая станция! Там зенитки!»

Эти слова Федор может произнести про себя, может их прокричать: все равно его никто не услышит. И нельзя нарушить строй. Нельзя выйти вперед, нельзя повести за собой девятку. Дисциплина.

Зенитная оборона станции включается мгновенно. Три прожекторных луча врезаются в строй девятки общим слепящим пучком. Огненной россыпью несутся в небо снаряды.

Федор еще некоторое время держится хвоста ведущего, но самолет слева угрожающе надвигается на его крыло, и Маслов, уменьшив обороты двигателя, отваливает в сторону, в спасительную темноту. Выше его, в перекрестии прожекторных лучей, вспыхивает красная точка пламени. Она увеличивается и стремительно срывается к земле. Один прожекторный луч отделяется от общего снопа и провожает горящий самолет до земли. Ближний лес озаряется вспышкой взрыва.

Когда летчик погибает так, сгорая как комета в воздухе, его уже никто не будет ждать. Здесь все предельно ясно — чудес не бывает. Вспыхнула и погасла чья-то жизнь. Чья, об этом друзья узнают на земле. Труднее, когда самолет уходит в ночь и растворяется в неизвестности. Товарищи еще долго будут оставлять место за столом пропавшему без вести другу, будут получать на него пайковые папиросы и бережно складывать их на его пустую койку. Даже когда на его место придет новичок, друзья захотят видеть в нем того, к которому они привыкли, которого нет. Их будет раздражать в новичке иная манера говорить и то, как он ходит, как ест и пьет. Он не тот! Не тот, кого им хотелось бы видеть. Нет ничего дороже пережитых вместе минут опасности, дороже разделенных военных невзгод, и старых друзей не создашь вновь. Трудно новичку войти в этот замкнутый круг дружбы. Для этого необходимо время и новые испытания. И если однажды вспыхнет в ночи его самолет или просто не вернется на свой аэродром, его сослуживцы будут ревностно хранить и его место, вдруг заметив, что он уже давно вошел в их сердца частицей своего «я», замкнув разорванное кольцо Дружбы.

Когда глаза после ослепительного света прожекторов привыкли к темноте и стали различать стрелки приборов, Федор взглянул на высотомер: четыреста метров. Посмотрел вниз: большой массив леса, поляна, опять лес, дорога, круто сворачивающая к югу. Значит, надо взять чуть севернее. Вот так. Теперь деревни с вражескими солдатами останутся в стороне.

Федор оглянулся: темнота! Ни одного выхлопа из мотора близко идущего самолета. Один. Вот тебе и на! Придется идти к цели самостоятельно.

Еще час полета, час непрерывного сравнивания плывущей внизу земли со схемой в памяти, и вот он, нужный лесной массив. Где-то здесь должна быть посадочная площадка. Да вот она! Четыре костра, как предупреждали. А это? Это что за огни?! Две посадочные площадки?.. Ерунда какая-то. Что бы это могло значить? Неужели немцы перехватили радиограмму и выложили такие же костры, обозначив ими ложную площадку? Но как проверить? Как узнать, какая площадка наша, а какая ложная? Пока он лихорадочно искал ответы на эти вопросы, подтянулась эскадрилья, и теперь над кострами кружится не один только Федор. И все летчики в недоумении.

Значит, кто-то должен рискнуть. Без этого не определить, где свои, а где враги. Кто же на это решится? Кто?

Говорят, в минуту смертельной опасности человек вспоминает весь свой жизненный путь и готовится к смерти. Не знаю. Не берусь судить о правильности такого суждения. Мне кажется, что даже перед смертью в голову могут прийти самые обыденные и самые нелепые мысли. О чем угодно. Только не о смерти! Человек рожден для жизни, и он хочет жить. Разве думал о смерти Александр Матросов, закрывая грудью вражеский пулемет? Или искал смерти капитан Гастелло, направляя подбитый самолет на врагов? Нет, они хотели жить!

И не о смерти думал парторг эскадрильи, командир звена с такой девичьей фамилией — Фёклин! Убежден, что он думал о жизни. О жизни товарищей, которые кружили рядом в небе. Возможно, он думал о миллионах советских людей, над которыми нависла угроза коричневой чумы фашизма, о замученных и убитых, о сожженных заживо и повешенных, чьи трупы он видел сам на освобожденной земле Подмосковья. А может, вообще ничего такого не было у него в мыслях. Просто знал он, что кто-то должен рискнуть, кто-то должен сесть первым. И этим первым решил стать он, коммунист и парторг! Поэтому он включил аэронавигационные огни — АНО, чтобы его самолет видели все остальные. Для этого он сделал круг над кострами и, обозначенный цветными огнями, беззащитный, пошел на посадку.

К светящимся в темноте огням самолета Фёклина стали подтягиваться остальные. И ближе всех оказался Маслов. Федор не знает, кто там впереди так решительно идет на посадку, но он уже не может отступить и тоже обозначает себя огнями АНО.

А Фёклин включает посадочную фару, и свет ее скользит по ровной поверхности снега. Вот Фёклин садится, разворачивается и рулит к кострам.

— Свои, свои! — сам того не замечая, кричит Маслов. Наблюдать за самолетом Фёклина уже нет возможности:

приближается земля, надо выровнять и посадить свой самолет.

Удар по сиденью чуть не выбрасывает Федора из кабины. Перед глазами проносятся желтые светлячки трассирующих пуль. Федор резко дает газ, мотор ревет на взлетной мощности, и самолет, едва зацепив лыжами снег, вновь взмывает в воздух. А на земле, рядом с темной стеной леса, трассирующие пули прошивают горящий самолет Фёклина…

Огненный факел горящего самолета навсегда сохранится в памяти Маслова и со временем сольется в единое с образом Фёклина, скромного, незаметного товарища, который отдал свою жизнь для спасения жизней других. Пламя — не памятник. Память о погибших друзьях хранит сердце. И воспоминания о них жгут его неутоленной ненавистью. Она останется на всю жизнь. Останется болью минувшего, болью утраченного. Прошедшие годы войны будут вспоминаться по этим пламенным вехам, и они, ушедшие навсегда, будут незримо присутствовать среди нас повсюду. Мы не в силах вычеркнуть их из сердца; не в силах забыть. Члены одной семьи крылатого братства, сыновья единой матери — Родины, такими мы и останемся. Мертвые и живые…

Маслов делает еще один круг над догорающим самолетом. Последний. Прощальный. Он уже искусал в кровь губы, он охрип от своей бессильной ярости, от невозможности вот сейчас, сию минуту отомстить за смерть товарища. Он прощается с другом, еще даже не зная, кто же он, этот смельчак?

Самолеты заходят на посадку к другим огням. Заходит и Маслов. После посадки он рулит к стоящим у леса самолетам, на свет карманного фонарика Брешко.

— Эх ты… — От негодования Брешко даже не находит слов. — Блуждаешь, горе-летчик! Быстро разгружайся, возьмешь двух раненых. Сбор над аэродромом в прежнем порядке. И смотри, Маслов, строй не терять!

— Я с тобою в строю не пойду, — хмуро отвечает Федор.

— Ты что?! Погоди, мы еще поговорим по возвращении!

— Иди ты к черту!

Неподалеку хлопают разрывы мин и трещат автоматные очереди. Брешко, не отвечая, поворачивается и бежит к своему самолету. Уже оттуда слышен его голос:

— По самолетам! Взлетать! Немедленно! В землянке КП Федор протягивает мне исковерканный разрывными пулями диск ДА.

— Дарю на память, — говорит Федор.

Я верчу в руках искореженную стальную крышку, пытаюсь вытащить разорванные осколками патроны.

— Как же так, Федя?

— А вот так. Случай, старик. Считай, что тебе крупно не повезло: будешь еще летать со мной в одном экипаже.

— Федька! — Я обнимаю его худые плечи. — Полетаем! Еще полетаем, Федя!

— С небольшим перерывом, — лукаво подмигивает Федор. — Отвалил мне товарищ Брешко пять суток ареста. За неуважение к его персоне. Но от этого уважения не прибавится.

— Что ты наделал, Федя?

— Послал его к черту!

Мы проходим во вторую половину землянки: Федору еще предстоит доложить о выполнении задания. Начальник штаба, майор Соловьев, диктует машинистке Аннушке Гавриловой:

— Не вернулись на базу самолеты младшего лейтенанта Епина и младшего лейтенанта Фёклина. Факт гибели обоих подтвержден очевидцами…

Молча снимаем шлемы и стоим так некоторое время. А начальник штаба продолжает диктовать текст обычного боевого донесения. Под ловкими пальцами Аннушки автоматной очередью трещит машинка, выбивая необходимые буквы, которые складываются в слова — простые и будничные. Она даже не вдумывается в их смысл. Буквы складываются в слова… Остановитесь, люди! Встаньте! Затаите дыхание! Слушайте… Трещит дымное пламя факела в ночи. Вспыхнули и догорели две жизни. Две жизни! У человека она одна… Остановите! Уничтожьте убийц! Поклянитесь, что вы отомстите, что вы уничтожите убийц, пришедших на нашу землю! Вы никогда не забудете, не простите! Это нельзя забыть, это нельзя простить, это нельзя допускать — фашизм! Боритесь с ним, люди!

Сегодня сгорели две жизни. Погибли, совершив подвиг. А у подвига нет конца, как нет его у самой жизни. Они будут жить среди нас.

Автоматной очередью трещит машинка под пальцами Аннушки. Начальник штаба диктует слова обычного боевого донесения.

Поставьте памятник, люди!

Был… Какой беспощадностью веет от этого слова. Был среди нас. Шутил и мечтал, смеялся и грустил. Был. По этому слову мы вспоминаем ушедших друзей. Все в этом слове — жизнь друзей, их кровь, пролитая для жизни других, слезы матерей и невест и невысказанная боль. Боль, пронесенная сквозь годы. И эта боль — выражение естественной правды человеческой души, нерушимая связь живых и мертвых.

Под Москвой не затухают ожесточенные бои. Каждую ночь летаем на боевое задание. И, несмотря на это, командир полка заставляет всех нас тренироваться. Всякий раз, возвращаясь с задания, входим в район, где установлен зенитный прожектор, и обозначаем себя частыми миганиями бортовых огней. Прожектор берет самолет и ведет его до тех пор, пока он не выйдет из зоны действия луча. На случай, если экипажу станет невмоготу, предусмотрен сигнал — красная ракета.

К этому сигналу у нас никто еще не прибегал: стыдно прослыть слабаком. Не дал его и младший лейтенант Павел Темный, штурманом у которого сержант Сергей Краснолобов. Бывший летчик-истребитель, Павел Темный пренебрежительно относился и к самолету ПО-2, и тем более к этим ненужным, с его точки зрения, тренировкам. Но приказ есть приказ. Павел еще как-то пытался схитрить и увильнуть от тренировок — кто проверит ночное небо? Но штурман, коммунист Краснолобов, знал его слабость, знал, что в лучах прожектора Павел теряется, беспорядочно мечется и не может должным образом маневрировать, поэтому он напоминал ему в каждом полете:

— Паша, не забудь про тренировочки.

Горячая кровь цыгана просилась на волю. Павел даже скрипел зубами от сдерживаемого негодования:

— Эх, нужны мне ваши тренировки! Да я… Хочешь, я такой пилотаж выдам, что всей вашей «кукурузе» не снилось?

— Не надо, Паша. Ты войди и выйди. Обмани зенитчика. Вот и весь твой пилотаж.

— Пилотаж! Я истребитель! Тебе понятно, что такое истребитель?

— Ты должен уверенно пилотировать в луче прожектора. Давай, Паша!

— На! Хоть сто раз войду в твой прожектор! Подумаешь!..

Он включил бортовые огни и, склонив голову за борт, сплюнул от злости. Прямо в ослепительный свет прожектора, в свистящий за бортом воздух:

— Подумаешь!..

А воздух гудел не совсем обычно. Гудел угрожающе. И гул все нарастал. Краснолобов взглянул на указатель скорости: стрелка подошла к отметке максимальной. Перевел взгляд на высотомер: стрелка неудержимо ползет книзу.

— Павел! Высота! Скорость!..

Но Павел уже сам понял, что с самолетом творится что-то необычное. Он бросил взгляд на приборы и ничего, кроме радужных кругов, не увидел. И в ту же секунду почувствовал нестерпимую боль в глазах. Он еще успел прохрипеть в переговорное устройство:

— Ракету! Дай ракету… красную…

Солдат-прожектор ист, помня наставления своего командира, держал самолет в луче. Краснолобов дал ракету, но было уже поздно. Она взвилась в момент удара самолета о землю. Старинные часы фирмы «Павел Буре», подарок отца и предмет добродушных подтруниваний товарищей, остановились в полночь, а Сергей выжил.

Еще больше ссутулился командир полка. От бессонных ночей под глазами темные круги, возле губ жесткие морщины. Когда над свежим холмиком отгремел винтовочный залп, командир взял под руку комиссара.

— Послушай, скажи прямо — я не прав? Может, не нужны эти тренировки, которые приводят к напрасным жертвам?

— Самобичевание, Анатолий Александрович? Эмоции, дружище, побереги на послевоенное время. Нужны тренировки! К ночи, пожалуйста, прикажи приготовить твой самолет. Полетаем в прожекторном луче вместе.

— Но…

— Так надо, Анатолий.

Все реже становятся наши ряды. Где-то в военных училищах уже сдают экзамены новые летчики, ведут контрольное бомбометание другие штурманы. А экипажи нужны сегодня, сейчас!

Январским утром приходит из штаба посыльный: меня и Василия Корниленко вызывают к командиру полка. Зачем?

Командир встает нам навстречу, здоровается и как-то по-домашнему обнимает нас за плечи.

— Поймите меня правильно, — говорит он. — Я не хочу приказывать. Да и не могу. Поэтому как решите, так и будет. А дело вот в чем. В полку не хватает летчиков. Штурманов больше. А полк должен воевать. На задание каждую ночь должно уходить максимальное количество самолетов. Идет такая война, и для Родины каждый самолет… Вы оба закончили аэроклубы. Почти

летчики. Вам бы немного подучиться, полетать самостоятельно и… вы справитесь… Есть желание летать?

Мы должны, мы обязаны справиться! Этого требует память о погибших, к этому взывают еще не выплаканные слезы. Мы должны заполнить место в строю, мы должны сражаться и за себя, и за тех, кого уже нет среди нас.

Командир полка сам летает с нами днем и ночью. Полеты по кругу, в зону, на полигон. Взлет, посадка, вираж, переворот, боевой разворот и снова посадка… Кажется, взлетам и посадкам не будет конца. Но вот оружейники в поле за аэродромом выкладывают из прошлогодней соломы крест. Это мишень для учебного бомбометания и стрельбы. Командир полка смотрит на нас уже со стороны. Он устал и измотался не меньше нашего, но, кажется, доволен.

Наконец приходит день, когда мы с Васей меняем парашюты штурмана на ПЛ-5. Так называется парашют летчика.

Командир полка провожает меня в первый полет. Он сам помогает надеть лямки парашюта, расправляет их на спине, одергивает и хлопает по плечу:

— Ну, ни пуха тебе, ни пера!

— Послать к черту, Анатолий Александрович?

— Так полагается, — смеется командир. — А раз положено, посылай.

— К черту, к черту!

Я внимательно смотрю на усталое лицо командира, заглядываю в его серые глаза и замечаю в них скрытую тревогу.

— Все в порядке, Анатолий Александрович. Справлюсь.

Он не отвечает. Только берет мою руку, порывисто притягивает к себе, обнимает и легонько, как водолаза перед спуском под воду, хлопает ладонью по моему шлему.

Я поворачиваюсь и, неуклюже переступая тяжелыми унтами — все-таки мешает пристегнутый парашют, — иду к самолету. У левого крыла три фигуры — экипаж. Техник Ландин, оружейница Маша Красильникова и штурман Николай Пивень.

— Смирно! — Техник Ландин, старший по званию, делает два шага вперед. — Товарищ командир, самолет к вылету готов! Двигатель опробован, горючее полностью!

— Штурман к вылету готов!

— Товарищ командир, боекомплект самолета — четыре фугаски, ШКАС заряжен, опробован, запасные ленты… Ой, товарищ командир, можно я еще раз взрыватели проверю?

Непосредственность Маши нарушает заранее подготовленную торжественность.

— Смотри, смотри, Машенька! — смеюсь я и, как меня перед

этим командир полка, обнимаю ребят за плечи. — Эх, ребята!..

Мне хочется рассказать им о многом. О тех погибших товарищах, вместо которых сегодня мы с Василием стали в строй летчиков, о том, что нам еще многое предстоит пережить, многое испытать, если… Нет, мы должны дожить до того дня, нам надо дожить до Победы!

— Ребята… Больше ни о чем не надо говорить друзьям. Они и так все поймут.

— Спокойно, старик. Будет порядок. Ты только всегда помни, старик, что мы здесь, на земле, ждем вас. Всегда ждем! — говорит Ландин.

— По самолетам! — Это кричит со старта старший лейтенант Бекишев, заместитель командира полка. Сегодня он руководит полетами.

— Запускай!

— От винта!

— Есть от винта!

Ровно стрекочет стосильный М-11, увлекая самолет в темноту, в неизвестность. Медленно плывут внизу темные пятна лесов, белеют заснеженные поля. Цель сегодняшней бомбардировки — железнодорожная станция западнее Вязьмы.

Наш полк перелетел под Медынь, на аэродром, недавно отбитый у немцев. Располагаемся в тех же избах, где до нас жили немецкие летчики. По всему видно, что фашистские асы устраивались здесь надолго и совсем не рассчитывали так быстро покинуть зимние квартиры. Правда, каждому из них фюрер обещал более комфортабельное жилье в Москве. Но случилась неувязочка — турнули отборные войска фюрера от русской столицы! И смылись эти асы, не дождавшись своей пехоты. Так спешили, что оставили всю аэродромную технику, емкости с горючим, запасы бомб, патроны и снаряды, а в избах, теперь занятых нами, — запасы различных консервов и шнапса. Стены оклеены весьма пикантными изображениями женщин, вырванными из солдатских журналов. Вперемежку с обнаженными красотками портреты Гитлера и Геринга. Что же, каждому свое. Соседство вполне подходящее.

Нашему комэску лейтенанту Борщеву все это явно не по вкусу:

— Отмыть. Отдраить. И чтоб духу их… Понятно?

Он сам первый засучивает рукава. Отмываем. Драим. Соскабливаем со стен чужую жизнь, чужие идеалы. На эту работу уходит весь день. Назавтра возвращаются из лесу покинувшие деревню жители. Вместе с хозяйкой избы белим стены. Но даже свежая побелка не устраивает Борщева. Он отзывает меня в

сторону и замысловато вертит пальцами:

— Понимаешь, чего-то не хватает… Надо бы что-то такое… Ты подумай.

Я думаю. Затем использую подручные средства в виде чернил и цветной туши, и к вечеру на свежевыбеленной стене появляется копия плаката Воениздата — седовласая женщина, вытянувшая руку, и вопрос: «Что ты сделал для Родины?»

Борщев успокаивается. А что я сделал для Родины? Пять десятков вылетов. Мало! Надо летать каждый день, каждую ночь! Такого врага надо не только победить — его необходимо уничтожить! Но уже несколько дней нет задания, и мы томимся в безделье.

Внезапно наступает оттепель, и после нее целые сутки идет крупный пушистый снег. Такой бывает только у нас, в России, мягкий и легкий как пух!

Михаил Киреев, командир второго звена, приглашает меня по пороше тропить зайца. Он уже добыл где-то старенькую «тулку», и я не могу устоять против такого соблазнительного предложения. Вместо охотничьего ружья у меня в руках трофейный карабин. Странно, здесь недавно были бои, гремели пушки, рвались снаряды, а зайцы словно ручные. Поднятый с лежки, он тут же останавливается на свист. Ружье Михаила не достает, зато я стараюсь за двоих.

Заснеженными полями бредем от аэродрома в сторону Медыни. Читаем увлекательную книгу следов, находим места жировки, распутываем длинные цепочки заячьих прогулок, разбираемся в скидках, в двойках, тройках, находим лежки… и притороченные к ремням тушки уже дают себя знать. И чертовски тяжелым кажется мой трофейный карабин. А Михаил неутомим. Его тянут вперед все новые и новые следы. С пригорка мне отчетливо видна его поджарая фигура, туго перетянутая в поясе широким ремнем, длинные ноги будто не чувствуют глубокого снега, не ощущают усталости. Михаил уходит все дальше вперед. Но что там такое? Что за проволока тянется за его сапогом? А вдруг?.. Страшная догадка заставляет меня кричать изо всех сил:

— Сто-ой! Михаил, стой!

— Чего-о? Что-о случилось?

— Стой! Проволока!

— Подумаешь, невидаль!

Михаил садится прямо на снег, распутываете сапога проволоку и тянет ее на себя. Из-под снега появляется черный двурогий стакан противотанковой мины.

— М-мда… — цедит сквозь зубы Михаил. — А ведь могла… Наверно, замерзла, как думаешь?

— Отходи!

Я тщательно прицеливаюсь и плавно, как на учении, нажимаю спуск. Взрыв поднимает в воздух столб талого снега.

Охотиться нам уже не хочется. Выходим на ближайшую дорогу и, посматривая под ноги, идем к Медыни.

Остатки прежнего города поднимаются из сугробов.

Красная кирпичная кровь, обугленные, закопченные стены домов мертвого города вытянули к небу обожженные руки. Или это остатки печных труб? Руки! Руки города-трупа… К чему молчаливо взывают эти скрюченные останки, эти уничтоженные творения людей? К проклятию или возмездию?

Мертвый город раздвигает навстречу раны-улицы, он еще дышит зловонной гарью пожарищ. Нет, он повержен, но не умер. Люди не дадут ему умереть. Вон кто-то разгребает обгорелые бревна, а там из землянки струится мирный дымок. Жизнь! Жизнь возвращается в разбитый город. И не ушла еще смерть. Вон она — на площади. Подходим к виселице, сколоченной из свежеструганых досок и ядреных смолистых бревен. Качаются на ветру веревочные петли. Это тоже надо запомнить…

Много дней мы ходим в столовую и спотыкаемся на обледенелом сугробе перед входом. Вот и теперь вместе со своими охотничьими трофеями я растянулся на этом злополучном сугробе, и Михаил помогает мне подняться, не забывая чертыхнуться в адрес командира БАО[4] — приказал бы срыть!

Казалось бы, не такой уж значительный случай, чтобы остаться в памяти. Но ночью пошел дождь. Первый весенний дождь! И под его теплыми струями вдруг осел снег. Талая вода размыла сугроб у входа в столовую. Из-под снега вдруг показалось тело женщины. Труп еще не успел оттаять, и тело женщины сохранило свои формы — страшные в неприкрытой наготе. Отчетливо видно маленькое отверстие под левой грудью. Никто из жителей деревни не опознал женщину. Ее похоронили в мерзлой земле сельского кладбища. А меня долго не покидало жуткое видение этого сине-желтого тела и нескольких капель весенней влаги в мертвых глазницах. Кто же она? Одна двухсотмиллионная населения страны… С математической точки зрения не так уж и много. Но там, на сельском кладбище, осталось прекрасное творение природы, созданное для жизни, для продления жизни на земле! Женщина, любившая свою Родину. За это-то и отняли враги ее жизнь…

В нашей стране есть множество памятников погибшим воинам, во многих городах имеются памятники Неизвестному солдату, но нет еще памятника просто Человеку, который погиб

за любовь к Родине, который был среди живых и затерялся в тяжелом списке мертвых. Был… Нет, это слово нельзя выбросить из нашего лексикона. За ним, за этим словом был, стоят безымянные герои, о которых до сих пор еще втихомолку плачут матери, чьи невесты состарились в тоске и одиночестве. Те, о ком мы говорим были, незримо присутствуют во всей нашей жизни, в нашем труде, в нашей борьбе за справедливость, за человеческое счастье. Поставьте же, люди, памятник всем, кто был среди вас, всем, кто любил Родину и отдал за это жизнь!

Федор Маслов

Партизанский отряд, всю зиму державший под своим контролем большой район юго-восточнее Вязьмы, в начале марта потеснили карательные части и отряды полицаев. Отряд лишился продовольственных баз и складов с боеприпасами. Центральный штаб партизанского движения приказал срочно доставить в район дислокации отряда все необходимое. Штаб армии выполнение этой задачи возложил на наш полк.

Полет обычный. Транспортный. Еще днем я изучил по карте маршрут и теперь веду самолет от одного характерного ориентира к другому. Вон на лесной опушке показались три костра в одну линию — условный сигнал, а заодно и стартовое освещение. Делаю круг, чтобы еще раз убедиться в правильности сигналов, и захожу на посадку.

Заруливаю туда, где чернеет силуэт одинокого самолета и суетятся люди. Выключаю двигатель. На крыло поднимаются партизаны:

— А ну, хлопцы, навались! Не задерживать летчика!

— Что за спешка? — поднимаюсь я с сиденья. — Куда так торопитесь?

— Каратели прут! Командир приказал заслону держаться до рассвета, а вот продержатся ли…

Патронов маловато.

— Давай! Давай! Сказки потом расскажешь.

Партизаны вытаскивают из самолета ящики с патронами.

— А далеко каратели? — не удерживаюсь от нового вопроса.

— Не-е, — свешиваясь за борт, отвечает партизан. — Километра два, а то и полтора. Кто их считал…

Издалека доносится гулкая в тишине утра винтовочная стрельба.

— Во, чуешь? — спрашивает партизан. — Наши бьют. А то фрицы отвечают.

Но я не могу отличить по звуку выстрелы нашей винтовки от выстрелов немецкого карабина.

— Сколько раненых возьмешь?

— Как все.

— Значит, двоих. Ну где вы там, раненые? Давай!

Один раненый самостоятельно взбирается на крыло и усаживается в кабину, другому помогают подняться.

— Давай, давай!

А небо сереет. Отчетливо просматривается ближний лес и стоящий неподалеку самолет. Надо спешить. Успеть бы до

рассвета пересечь линию фронта.

— От винта!

— Давай! Закручивай!

Мотор вздрагивает, фыркает и начинает ровно бормотать на малом газу. Пока греется мотор, я наблюдаю за тем самолетом, что после посадки остановился на середине поляны. Мне видно, как к нему бредет одинокая фигура человека. На таком расстоянии не узнать, кто это. Человек забирается в заднюю кабину, и самолет разбегается для взлета. Но взлететь не удалось, самолет разворачивается в другую сторону и бежит вновь. И опять неудача. Самолет останавливается, из него на снег спрыгивают три человека, машут руками, жестикулируя. Двое остаются на земле. Самолет вновь начинает разбег, в самом конце поляны отрывается и уходит в небо.

Наконец и мой мотор прогрет. Скорее на взлет! С места даю полный газ, и самолет начинает двигаться…

Поспешность и быстрота — отнюдь не родные сестры. Если быстрота (сообразительность, реакция) — необходимое качество летчика, то поспешность, наоборот, совершенно противопоказана. Поспешность, как правило, является следствием неопытности.

Неделю назад мне стукнул двадцать один. Всего полтора месяца как я летчик. На моем счету два десятка самостоятельных боевых вылетов. Я умею отлично взлетать, садиться, умею пилотировать самолет днем, ночью и «вслепую». Но означает ли все это зрелость, основанную на опытности? Нет, не означает! Тогда откуда во мне эта самоуверенность?

Много лет спустя человек, открывший мне дорогу в полярную авиацию, которого я считаю своим учителем, скажет: «Взлетать и садиться на самолете можно и медведя научить. Только медведю не дано понять тактику и стратегию авиации. Надо соображать, надо верить в свои силы. Верить, но не быть самоуверенным!» Эти слова Героя Советского Союза И. П. Мазурука запомнились мне на всю жизнь.

Но все это было много позже…

Не успел я опомниться, как мой самолет ткнулся носом в землю. Вот тебе и на! Разбит воздушный винт, а моя физиономия изрядно поцарапана о приборную доску. Хорошо, хоть раненые не пострадали. Но что же произошло? Ага! Я не учел оттепель, которая сделала снег мягким, не промерил длину площадки, не следил за скоростью. Слишком много нарушений прописных истин. И все в результате своей самоуверенности…

Размышляя о случившемся, я брел по глубокому снегу к деревне, на ходу пригоршнями набирая снег и прикладывая его к лицу. Мне было стыдно, и я опасался встретиться со своими

спутниками взглядом.

— Не вешай носа, — заметил один из партизан. — Не ты один. Вон и второй самолет сломался. Теперь вам вдвоем веселей будет.

— Ночью-то опять придут ваши, — вступил в разговор второй. — Починишь свою птаху да и улетишь на Большую землю.

Так незаметно за разговорами подошли к деревне, и у первого же дома нос к носу столкнулись с Масловым.

— С приездом!

— Федя!..

— Видал твой цирк! А еще со мной летал. Эх ты!..

— Но и ты, Федя… Это ведь твой самолет там стоит?

— Радуешься? — Под сухой кожей на скулах Маслова перекатываются тугие желваки. — Не мой это самолет — Брешко!

— А ты… При чем здесь ты?

— А ни при чем! Высадил меня и смылся! Да не только меня. Вот полюбуйся! — Из-за спины Федора показывается знакомое лицо. — Прошу, знакомьтесь! Техник его сиятельства командира эскадрильи Брешко, товарищ Лыга!

— Ничего не понимаю, — откровенно признаюсь я.

— Где уж тебе понять! Серость! Что такое Брешко? Опытность и власть. Кстати, то, чего у тебя нет. А теперь рассуждай с позиций Брешко. Началась оттепель, снег рыхлый, скольжение плохое. Влез Брешко ко мне в заднюю кабину, приказывает: «Взлетай!» А самолет не скользит, не набирает скорости. Вот тут он и высадил нас обоих, меня и Лыгу, а сам помахал нам ручкой. Вот что значит опытность в сочетании с властью!

— Федя, так это…

— Ты хотел сказать — трусость?

— Не знаю…

— Так знай: трусость и подлость!

— Что он хоть сказал тебе?

— Где уж тут говорить, если в задницу страх колет!

— Подонок!..

— Мнение ученых совпало. Консилиум окончен. Пойдем, поможем Лыге поставить винт на брешковский самолет. А что с твоим?

— Тоже винт разбит…

— Эх, знать бы, привез бы два! Не тужи! Поставить винт недолго. Вот смотаюсь на базу и мигом обратно. Еще полетаем, старина. Назло всем чертям и товарищу Брешко.

Но летать нам с Федей пришлось не скоро. Неожиданно над лесом появились два «мессера». Спаренные залпы решили судьбу

сначала моего самолета, затем самолета Брешко. Мы остолбенело смотрим на дымное пламя, на четкие в светлом небе силуэты «мессеров», которые, словно издеваясь, проносятся над деревней, покачивая крыльями.

И еще я замечаю слезы в глазах Федора. Что это?..

…В полку мы знаем друг о друге все. Летчики полка живут одной жизнью, одними интересами. Получит кто-либо из нас помятый треугольник со штемпелем полевой почты, и содержание его становится достоянием многих. Никто из нас не делает тайны из незамысловатых житейских дел своих близких. Наоборот, каждый стремится поделиться с товарищами своей маленькой радостью или тяжким горем утраты. Дорого нам это чувство товарищеской близости, способность понимать друг друга с полуслова.

Федор не получает писем, не делится с нами своим сокровенным, ничего о себе не рассказывает. Он молчалив и замкнут. Он непонятен. А непонятное летчики не любят.

Часто я вглядываюсь в его лицо и пытаюсь понять, что кроется за его молчаливостью и замкнутостью, какие тяжелые мысли и переживания оставили на нем свой неизгладимый след.

С Масловым мы сделали тридцать три боевых вылета до того, как я стал летчиком и начал летать сам. Летает он отлично, у него безукоризненная техника пилотирования, превосходная ориентировка в воздухе, великолепные взлеты и посадки. А в бою? В бою он просто спокоен и сдержан.

Так откуда же в его глазах слезы? Тогда я не знал, что ненависть может иметь и такое выражение… Как же, «мессера» сожгли наши самолеты, солдаты лишились своего оружия!..

Потом я понял, что есть люди, которые могут годами носить в себе горечь какой-либо утраты и прятать ее за внешней беспечностью, чтобы, не дай бог, не расплескать ее яда на других. Это под силу только очень сильным людям. Сильным и добрым. По-видимому, таким и был наш Федя, мой первый командир, с которым мы так и не стали близкими друзьями. И я искренне сожалею об этом.

Как известно, при поступлении в авиационное училище будущие летчики проходят медицинскую комиссию, где, помимо всяких других требований, предъявляется требование и к росту — «от» и «до». Рост Федора был на первом миллиметре «от». Ему всегда требовалось что-то подложить под сиденье, чтобы он мог хорошо видеть землю. Естественно, небольшой рост Федора позволял полковым острякам лишний раз почесать языки.

Маслов не подавал вида, что это его трогает, хотя все мы знали, с каким трудом подавлял он свое негодование по поводу

всех этих насмешек относительно его роста и физической слабости. Знали мы и то, что у Федора был избыток других сил — моральных.

Однажды в период ожесточенных боев на Курской дуге, вернувшись с задания, Маслов посадил самолет, выключил двигатель, отстегнул лямки парашюта, как-то неуклюже вылез на крыло и упал, потеряв сознание. Еще над целью вражеская пуля вошла в колено и раздробила кость, но Маслов не сказал об этом даже штурману, он только весь сжался, искусал в кровь губы и все-таки привел самолет на свой аэродром.

Врач полка, делая перевязку, все ахал и удивлялся, откуда у тщедушного летчика нашлось столько физических сил? Он забыл о силах моральных, забыл о том, что Маслов был коммунистом. Это обязывает ко многому. Еще не окончена война, еще стране нужны солдаты. И Маслов вернулся в полк с протезом вместо одной ноги. Ему не позволили летать. Тогда неожиданно для всех он увлекся… танцами. Федор не пропускал ни одного вечера, ни одной возможности потанцевать. Однажды выдался свободный от полетов день. Выступали самодеятельные артисты, были и танцы. Из-за отсутствия дам летчики танцевали друг с другом. Маслов подошел к командиру полка:

— Приглашаю на вальс, товарищ командир!

Командир пытался отказаться, сославшись на неумение, но вдруг понял, что для Федора это просто необходимо.

Федор танцевал замечательно. Глядя со стороны, нельзя было подумать, что маленький летчик танцует на протезе. И командир сдался:

— Убедил, Федя.

Он увел Маслова в сторону от танцующих.

— Будешь летать. Только…

— Только без скидок, Анатолий Александрович!

— Я не об этом, Федя… Медицина, высшее командование… Э, да ладно! Все шишки возьму на себя!

И Маслов летал. Летал до самого конца войны. И непонятно было молодым летчикам из недавнего пополнения, почему однажды чертыхался их командир, когда вражеский снаряд разорвался в кабине его самолета, и почему вместо врача попросил прислать на аэродром сапожника.

Мы в партизанском штабе. Большая изба заполнена людьми в овчинных тулупах, пальто, куртках. Над единственным столом склонилось несколько человек, и над ними повисли густые клубы махорочного дыма.

— Что же, молодцы, не докладываете? — разгибает спину высокий мужчина с седыми висками. — Забыли воинскую

дисциплину? А-а, понятно, — глаза его теплеют, и на губах появляется усмешка. — Ну-с, давайте знакомиться. Полковник Петров, командир партизанского отряда «Гроза». А это — комиссар Уваров и начальник штаба Белов…

Мы докладываем четко по уставу свои звания и фамилии, рассказываем о постигшей нас беде.

— Держать вас здесь не имеет смысла. Вы должны летать. Переправить вас через линию фронта сейчас невозможно. Но выход есть. Придется вам пробираться в тридцать третью армию. Там у них есть аэродром. Проводника дать не могу: через пару часов начнем отходить. Но вы сами по карте… Вот смотрите…

Командир отряда показывает район расположения окруженной армии и наиболее безопасную дорогу. Мы благодарим и направляемся к двери.

— Погодите! — останавливает нас командир. — Начальник штаба заготовит вам справку. Кто у вас старший?

— Младший лейтенант Маслов.

— Добро. Так и пиши: выдана младшему лейтенанту… Нет, погоди. Знаю я их, штабников! С младшим лейтенантом и говорить не захотят. Пиши: майору Маслову!

Только на улице Федор разворачивает сложенный лист бумаги. Заглядывая через его плечо, читаю: «Справка. Настоящей удостоверяется, что самолеты летчиков майора Маслова и майора Михаленко при доставке боеприпасов для партизанского отряда «Гроза» действительно подожжены фашистскими стервятниками. Вместе с летчиками находится инженер-капитан Лыга. Справка выдана для представления командирам частей Рабоче-крестьянской Красной Армии с целью оказания помощи товарищам летчикам. Командир партизанского отряда «Гроза» Петров, комиссар Уваров, начштаба Белов».

— Поздравляю вас, товарищи майоры, с присвоением нового воинского звания! — смеется Лыга.

— Тебя тоже не обошли, — отвечает Федя.

— Филькина грамота, — не сдерживаюсь я. — Выброси!

— Пригодится. — Федор бережно сворачивает бумажку и опускает в карман гимнастерки.

Не знаю, действительные ли это фамилии или партизанские клички, но я до сих пор с благодарностью вспоминаю тех людей, которые накануне боя, перед прорывом из окружения, не забыли о нас, подумали о нашей дальнейшей судьбе. Правда, потом мы никак не могли сообразить, почему они послали нас путем, который почти не контролировался немцами, а сами с боем прорывались из окружения. Может быть, в их задачу не входило соединение с окруженными частями армии Ефремова, не знаю.

Но память сохранила образы этих людей. Спасибо вам, люди партизанских лесов!

В действительности километры всегда длиннее, чем на карте. А если к ним прибавить полетное обмундирование летчика, то они покажутся совсем уж длинными. Идем напрямик, обходя деревни и минуя дороги. Сколько идем? Я уже потерял счет дням. В мыслях только одно: надо выйти! Выйти к своим. Выйти из этого мертвого леса, из этого снега. Снег, снег… Какое проклятье, этот снег! И нельзя думать о пище. У нас и так мало сил. Вчера вечером мы попытались добыть пищу в деревне, но там оказались немцы. Хорошо, мы их заметили издали. Они послали в нашу сторону несколько очередей из автоматов, но преследовать не решились. И опять мы идем лесом, проваливаясь по пояс в рыхлый, податливый снег. Если бы хоть немного поесть! Все чаще и чаще падает Федор. Но останавливаться нельзя, надо идти. В лесу смерть. А в этой деревне? Дождемся вечера, в сумерках подойдем ближе. Если там окажутся немцы, нам останется только достать пистолеты… На большее нет сил…

— Стой! Кто идет?

— Свои! Русские…

Нам показывают, как пройти к штабу. Румяный часовой преграждает путь:

— Кто такие? Куда?

Опережая наши ответы, Федор протягивает «филькину грамоту». Часовой прочитывает ее, осматривает нас с ног до головы и как-то лениво заключает:

— Значит, от Бати топаете. — Он толкает дверь носком валенка и кричит: — Товарищ полковник! К вам два майора и капитан!

— Пусти!

Входим в просторную избу. За столом трое военных без знаков различия. Кто из них полковник? Собственно, это неважно. Перед нами на столе навалена всякая снедь, а над всем этим — чудо! — посвист пузатого самовара! Чувствую, как начинает кружиться голова.

— Кто такие? Откуда прибыли? Зачем?

Мне кажется, что вопросы задают все трое, до того они смахивают на молочных братьев: одинаково упитанные, круглолицые, у всех троих расстегнуты воротники гимнастерок, на коленях лежат полотенца. Особенно колоритна фигура того, что сидит в середине стола.

«Уж не он ли полковник?» — спрашиваю себя. И, как бы отвечая на мой вопрос, сидящий в середине стола повелительно произносит:

— Почему не докладываете? Кто? Откуда?

Федя делает шаг вперед и протягивает бумажку, которая уже открыла нам двери в эту избу. Я смотрю на Федю и каким-то шестым чувством угадываю, что он сделал последний шаг, что силы вот-вот оставят его и он упадет, как это уже было не раз в лесу.

— «…для оказания помощи товарищам летчикам», — заканчивает чтение протянутой бумаги тот, кого я принял за старшего… — Г…. вы, а не летчики! Летчики летают, а вы по земле ползаете!

Грубо, но в общем-то правильно. Какие уж мы летчики! Я смотрю на товарищей. Оборванные комбинезоны, черные впадины под глазами, заросшие щетиной щеки, сухие, в клочьях потрескавшейся кожи губы… Вид у нас, прямо скажем, не очень…

— Опять Петров направил, — резюмирует наше молчание старший.

— Из «Грозы»?

— Да. Все трое пристально разглядывают нас.

— Ну, так чем мы можем вам помочь, «летчики»? — оттеняет иронию последнего слова старший.

Я едва сдерживаю неприязнь:

— Простите, товарищ… не знаю вашего звания… Нам сказали, что у вас есть самолеты и вы можете переправить нас через линию фронта.

— Я — полковник, начальник авиации армии! А что же вас Петров не отправил? У него тоже самолеты бывают.

— Отряд Петрова вынужден отступить…

— А если нет у меня для вас самолетов?

— Но, товарищ полковник… — До чего же голод обостряет обоняние! За пять шагов от стола я различаю аппетитные запахи колбасы, сыра и даже сливочного масла! — Как же нам быть? Нам надо за линию фронта. Нам надо в полк!

— Каждому что-то надо. Подумаем. Утро вечера мудренее.

Спасибо и на этом. «Черти, неужели они не видят наших красноречивых взглядов? Неужели надо просить? Да, придется…»

— Товарищ полковник, еще одна просьба. Мы несколько дней не ели. Нельзя ли?..

— Начальник тыла армии, — небрежно кивнул полковник в сторону соседа справа. — Это в его компетенции.

— Что ж, на довольствие поставим, — будто раздумывая, тянет начальник тыла.

— Спасибо! — обрадованно перебиваю его. — Спасибо! Нам бы только поесть!

— Договорились. Давайте ваши аттестаты.

— Какие… аттестаты?

— Обыкновенные. Продовольственные! — чеканит начальник тыла.

— Так откуда у нас аттестаты? Кто же берет их с собой на боевое задание? Мы же летчики!

— Без аттестатов не положено. Своим не хватает.

— А мы что, чужие? — Я уже не могу справиться с голосом. — Нам что, подыхать тут?

— Молчать! — Полковник грохает кулаком по столу. — Дисциплинка, товарищ майор! Как разговариваешь со старшими?

— Простите, товарищ полковник. Но… у нас ведь безвыходное положение…

— Брось! — неестественно хрипит Федор. — Брось! — Его голос взвивается до крика. Я смотрю в его вдруг побелевшие от негодования глаза, замечаю красные пятна на скулах.

— Федя!

Вместе с Лыгой хватаю Федора, и, кажется, вовремя. Он вдруг обмяк: глаза закатываются, и… мы едва удерживаем на руках его легкое тело, бережно укладываем на лавку. Федор что-то бормочет, порывается встать, куда-то идти, тяжело вздыхает, стонет. Мы суетимся возле него, подкладываем ему под голову свои шлемы.

Я быстро расстегиваю на груди Маслова комбинезон и, пряча от взглядов этих трех, ставших мне уже ненавистными людей петлицы с единственным «кубарем», растираю ладонью грудь Федора.

«Кожа и кости», — думаю я, ощущая, как начинает гореть под моей ладонью все его маленькое тело. На лбу Федора выступает испарина, он дышит ровней.

Где-то неподалеку гудят моторы самолетов, одевается и уходит из избы начальник авиации. Я тоже поднимаюсь на ноги и застегиваю «молнию» комбинезона.

— Куда? — тихо спрашивает Лыга.

— Надо… — Я молча указываю глазами на Федора. — Попробую…

Лыга, не отвечая, закрывает глаза.

Я бреду по снегу в поле за деревней. Там угадываются силуэты двух ПО-2 и людская суета около них. В стороне, будто каменное изваяние, обозначена массивная фигура начальника авиации. Я подхожу к нему:

— Товарищ полковник, отправьте нас этими самолетами. Пожалуйста.

Полковник не шевелится, не оборачивается.

— Товарищ полковник! — Я дотрагиваюсь до холодной кожи

его реглана. — Товарищ полковник!

— Чего орешь? Не глухой. Отправляем штабные документы. Мест нет!

Не знаю, откуда взялось это спокойное бешенство. Я чувствую, как мои пальцы впиваются в шершавую рукоятку пистолета:

— Послушай, полковник, ты нас отправишь… Пусть не всех… Пусть сначала одного…

Даже в темноте мне видны округлившиеся глаза полковника.

— Ты!.. Ты!.. Молчать!

— Спокойно, полковник. Ты сейчас прикажешь отправить хотя бы одного из нас.

— Вы ответите перед трибуналом, товарищ майор! Это же произвол!

— Хоть перед богом!

Пистолет приятной тяжестью оттягивает руку.

— Первым вы отправите Маслова, полковник. Дайте команду своим людям.

— Эй, там! Пару бойцов за майором Масловым! Он в штабе. Живо!

— Спасибо, полковник!

— Вы предстанете перед трибуналом, товарищ майор! Я вас предупреждаю!

— Вместе с вами, товарищ полковник.

Бойцы подсаживают Федора в кабину: у него нет сил даже перешагнуть через борт. Я жму его горячие пальцы:

— Будь здоров, Федя!

— А как же вы, ребята? Мне неудобно. Может, лучше ты или Лыга?..

— Не дури, Федор! Завтра улетим и мы. Правда, товарищ полковник?

Полковник уходит в темноту. Тарахтят моторы ПО-2, вздымая снежную бурю. Мы бредем к деревне. По дороге я нащупываю на воротнике гимнастерки старшинские треугольнички и срываю их с петлиц: уж если будут судить, то…

«Немецкий шпион»

— Проснулся, майор? — слышу я сквозь сон. Открываю глаза и вижу лицо склонившегося надо мной начальника авиации. — Ну-ну, проснись, майор!

Откуда эта добрая улыбка, эта теплота в голосе? Неужели забыта вчерашняя стычка на снежном поле за деревней и все, что предшествовало ей? Или, наоборот, он уже подготовил заседание трибунала? Ну и черт с ним! Пусть судят! И выскажу я ему сейчас, что никакой я не майор, что ненавижу таких типов, что…

— Проснулись? Вот и хорошо! Умывайтесь да присаживайтесь к нашему столу!

Ой-ля-ля! Что-то трудно спросонья разобраться в интонациях полковничьего голоса. Мы с Лыгой удивленно таращим глаза, но повторять приглашение не заставляем.

Полковник придвигает начатую бутылку коньяка. Я решительно разливаю ее содержимое в две кружки:

— Будь здоров, капитан Лыга!

— Будь здоров, майор!

Лыга лукаво подмигивает и одним глотком опорожняет содержимое кружки. Коньяк я пью впервые. Пахучая жидкость обжигает горло, огненной струей вливается в желудок.

Я чувствую, как горят все внутренности, как пламя вырывается из груди и ударяет в голову. У-ух! Я слыхал, кто-то говорил, что коньяк пахнет клопами. А может, наоборот, клопы пахнут коньяком. Это смешно… Правда, полковник, смешно? Ватная теплота разливается по всему телу. Руки становятся непослушными, деревянными, а язык чужим.

— Хорош коньячок!

— О-о! Да ты, брат, готов! Ничего, майор, это быстро пройдет…

Да, кажется, проходит. Осталась только теплота и тяжесть где-то в ногах. О чем говорит полковник?

— Боюсь, немцы засекли нашу площадку. Как бы не накрыли артиллерией. А тут штаб тыла, склады… Взгляни, майор, вот тут между деревней и лесом большое поле, — палец полковника скользит по карте. — Определи, пригодно ли оно для посадки. Если пригодно, дам бойцов, к вечеру организуешь старт. Последним самолетом улетишь вместе с капитаном. Я уже доложил о тебе в штаб армии.

Кажется, для счастья не так уж много надо. Я блаженно улыбаюсь: в эту минуту я счастлив.

Много ли человеку надо на войне? Погожее солнечное утро,

легкий скрип снега под унтами. Мы сыты, в карманах увесистые бутерброды, предусмотрительно захваченные с начальственного стола, и у нас есть дело. От успешного выполнения его зависит наш отлет за линию фронта, на Большую землю, в полк. Есть чему радоваться. Кажется, все испытания уже позади и все надежды вот-вот исполнятся. Осмотрим площадку, разобьем старт и — даже не верится! — ночью мы дома!

— Что там ползет по дороге? — спрашивает Лыга, возвращая меня на землю.

— Танк!

— Эх, на полчасика попозже бы, не шлепали бы пешком обратно.

— Кажется, нам уже никуда не придется шлепать… Это немец!

Я торопливо шарю в карманах комбинезона: где же «лимонка» — подарок Кильштока? Пальцы натыкаются на сдавленный бутерброд. Я вытаскиваю его из кармана и швыряю в снег. Вот и граната! Оказывается, она лежала под бутербродом. Я сжимаю ребристый кругляк в ладони.

Лыга подбирает брошенный мною бутерброд, сдувает с него снег и протягивает мне:

— Что главное в обороне? Харч. Садись. Лопай.

— Ошалел?

— Отнюдь. Жуй. Может, в последний раз.

Невольно опускаюсь рядом с ним на снег. Танк медленно ползет по дороге. От него уже не скрыться, не убежать. Мы жуем бутерброды. Лыга аккуратно подбирает с колен хлебные крошки. Потом он поднимается на ноги, поправляет ремень и достает пистолет. Сухо щелкает ствол, досылая патрон в патронник.

— А ну давай, гады! Я становлюсь рядом. В левой руке пистолет, в правой граната.

— Давай!

Танк останавливается. Медленно поворачивается хобот пушки. Выстрелы мы не слышим — только свист снаряда и оглушительный взрыв позади. Мы падаем в снег. Танк посылает еще три снаряда и, пятясь, ползет в деревню. Мы поднимаемся, выходим на дорогу и припускаемся изо всех сил.

Близкие разрывы мин опять швыряют нас в снег. Немцы бьют долго. Так долго, что мы уже смогли побороть первоначальный страх. Короткими перебежками уходим из зоны обстрела.

— …Еще вчера деревня была ничейной, — искренне сокрушаясь, говорит полковник. — Стало быть, немцы опять где-то просочились. Тебе, товарищ майор, придется доложить обо всем командующему. Его штаб вон там, на хуторе. Всего в двух

километрах.

Теперь мы идем по дороге, настороженно вглядываясь в окрестности, готовые к любым неожиданностям. Дорога пустынна. С обеих сторон открытое поле. Видно далеко, и взгляд не находит ничего такого, что бы могло насторожить или хотя бы заинтересовать. Но откуда-то из-за дальнего леса слышится непонятный гул. Неужели опять танк? Гул нарастает, приближается. Я всматриваюсь в снежные сугробы на дороге.

— Самолет! Наш! ПО-2!

— Откуда ему взяться днем?

Но это действительно самолет. Он быстро приближается, увеличивается в размерах, и я уже без труда могу различить длинные ноги шасси с характерным изгибом — такие только у одного самолета!

— «Хеншель»! Ложись!

Мы бросаемся в снег, стараемся вдавиться в него, стать как можно меньше, незаметнее.

«Хеншель» проносится, едва не задевая колесами за наши головы. Разворачивается. Заходит вновь. Наверно, на яркой белизне освещенного солнцем снега наши фигуры представляются вражескому летчику заманчивой мишенью. Наверно, он решил позабавиться… Гад! Эх, что сделаешь с пистолетом?

— Ну стреляй, стреляй! — не выдерживает ожидания Лыга. — Стреляй!..

Но вместо выстрелов над нами рассыпается бумажное облако.

— Агитируешь? — опять кричит Лыга. — Ну, давай, давай, агитируй!

Мы поднимаемся на ноги и подбираем несколько листовок.

Самолет еще раз проносится над головами, покачивая крыльями. Лыга швыряет подобранную листовку.

— Напрасно, — смеюсь я. — Он ведь столько энергии затратил. Прочтем?

— С ума сошел! Всякую погань! Брось!

Но я уже читаю: «Солдаты и командиры Красной Армии! Непобедимые войска Германии окружили Москву. Только от великого фюрера зависят сроки взятия вашей столицы. Война проиграна! Не проливайте свою кровь за евреев, комиссаров, за Сталина! Бросайте оружие! Переходите на сторону непобедимых войск великой Германии! Каждому добровольно перешедшему на нашу сторону гарантируется хорошая жизнь и обеспеченное будущее без евреев и комиссаров. Штык в землю! Эта листовка является пропуском для перехода одиночных солдат и воинских групп».

— А ведь опоздал фюрер с листовочкой, а, Лыга? От Москвы-то его поперли.

— Поперли-то, поперли, а листовочку ты напрасно… Вражеская агитация!

— Ну и дурень! Наоборот, надо сохранить эту листовку да на самой большой площади в Берлине приклеить!

— Ты еще отсюда выберись.

— И отсюда выберемся! Точно!

Просторная изба из двух комнат — штаб генерала Ефремова. Крупная, наголо бритая голова, широкие брови над внимательным прищуром усталых глаз. Генерала интересуют подробности нашего вынужденного пребывания в тылу, партизанский отряд Петрова, путь из района дислокации отряда к его армии и, наконец, появление в расположении армии вражеского танка. Он весело смеется, слушая о том, как мы ели бутерброды под наведенной на нас пушкой танка, тут же кутается в наброшенную на плечи шинель и, обрывая смех, спрашивает:

— Есть хотите? — И, не дожидаясь ответа, кричит адъютанту: — Приготовь ребятам поесть!

Пьем горячий чай с черными сухарями, а генерал все расспрашивает о наших полетах, о рейдах Белова и Доватора, в чьих корпусах совсем недавно нам довелось быть, об обстановке на фронтах. Я рассказываю о том, как нас встретил начальник авиации его армии, обращаю внимание на особую «чуткость» начальника тыла, затем показываю генералу подобранную листовку.

— Ерунда! — восклицает Ефремов, прочитав ее. — Русского солдата листовкой не возьмешь! А вот снарядами… Очень они нам нужны сейчас. Необходимо послать на Большую землю запрос на снаряды. Снаряды, в первую очередь снаряды! Это сейчас самое главное! А начальнику авиации скажите, что я приказал при первой возможности отправить вас за линию фронта. Да, человек он грубый, не обижайтесь.

Мы тепло прощаемся с командующим окруженной армией и возвращаемся уже по знакомой дороге в штаб тыла.

Разве мог я предположить тогда, что это последняя встреча с Ефремовым, что вскоре генерал погибнет?

В эту же ночь на посадочную площадку окруженной армии сел ТБ-3.[5] Заблудился. Летел к конникам Белова, а очутился здесь.

Самолет загружен медикаментами и продовольствием. Командир решает оставить груз здесь: все равно уже не найти корпус Белова. Отсюда он заберет раненых. Я прошу командира взять и нас.

В самолете тесно от людских тел, носилок, костылей, белых повязок и тяжелого запаха йода.

Подходим к линии фронта. От кого-то отбиваются стрелки, трещат пулеметы, гудят двигатели. В фюзеляже темно, неуютно. И главное — неприятно чувствовать себя пассажиром, когда экипаж ведет бой. Пробираюсь в кабину пилотов: может, чем-нибудь пригодимся, может, поможем?

Но вот впереди появляются огни старта.

Самолет катится по заснеженному полю аэродрома, заруливает на стоянку. Я благодарю командира и спускаюсь по лестнице на землю.

У самолета, как и в фюзеляже, брошенные костыли, палки, обрывки бинтов.

— Где же люди? — спрашиваю у бортмеханика.

— Уехали. Их автобус подобрал, — со смехом отвечает механик. — И твой технарь с ними.

— А где мы? — растерянно спрашиваю я.

— Москва рядом! — смеется он. — В Монино! Слыхал?

— Слыхал. Мы отсюда начали летать…

— Так ты из полка У-2? Они перебазировались.

— Знаю. Спасибо.

Путь от Монино до нашего полевого аэродрома под Медынью занял почти трое суток. Где на попутках, где пешком, от голода и усталости едва передвигая ноги. Но дошел!..

* * *

Действительно, мир тесен. Как-то, много лет после описываемых событий, наш экипаж в ожидании погоды коротал зимний вечер в арктическом порту. Кто-то рассказал одну историю из своей жизни, кто-то другую, и пошли воспоминания, одно другого занятней. Вспомнил и я, как выбирался из окруженной армии Ефремова. Вспомнил и рассказал. Мой механик, Володя Белявский, — мы летали с ним уже не один год — вдруг воскликнул:

— Послушай, командир, а ведь борттехником на том ТБ-3 был я! Запомнился и мне этот случай..

— Вот так встреча! — обрадовался я. — Здравствуй, Володя! И прими еще раз спасибо от спасенного!

— Здравствуй, мой командир!

И мы крепко обнялись.

Вот уже несколько дней я в полку. Живу в том же общежитии, вместе со всеми поднимаюсь, хожу в столовую, становлюсь в

строй. Экипажи получают боевое задание и каждую ночь уходят за линию фронта, а я остаюсь. У меня нет экипажа, нет самолета. Я «безлошадный». Однажды не становлюсь в строй, и никто не делает мне замечания, будто я не существую, будто меня вообще нет. Все это странно. Очень странно.

Так проходит еще несколько дней. Как-то среди ночи за мною приходит посыльный:

— Вас просят в штаб.

Наконец-то! Ночью могут вызывать только для полетов. Я быстро одеваюсь. По привычке аккуратно заправляю койку. Солдат следит за моими действиями, переминаясь с ноги на ногу.

— Пожалуйста, идите. Я сейчас же приду.

— Приказано вместе с вами.

— Со мной так со мной! — Я достаю пачку папирос, закуриваю и протягиваю папиросы солдату. — Курите.

— Не положено. Приказано поторопиться.

Я выхожу на улицу. Солдат слегка отстает и шагает сзади.

— Идемте рядом. — Я слегка замедляю шаг.

— Не положено.

«Ну и черт с тобой! Иди где хочешь!» — Больше я о солдате не думаю.

В штабе один старший лейтенант Руднев, начальник СМЕРШа[6] полка. При моем появлении он одергивает гимнастерку и садится за стол командира.

— Садитесь, — приглашает он меня, показывая на стул, стоящий у стола. Я оглядываюсь. Зачем я понадобился Рудневу? Ничего не понимаю!

— Фамилия, имя, отчество? — спрашивает Руднев. Опять невольно оглядываюсь. У двери все тот же одинокий солдат. Значит, вопрос задан мне.

— Вы сами прекрасно знаете, не так ли?

— Здесь вопросы задаю я! Ваша фамилия, имя, отчество?

— Слушайте, Руднев, перестаньте валять ваньку.

— Встать!

Я поднимаюсь со стула.

— Повторяю! Здесь вопросы задаю только я! Сдать оружие! Я демонстративно засовываю руки в карманы брюк. Продолжаю молчать.

— Товарищ боец! Приказываю обезоружить! Солдат тяжко вздыхает рядом со мной и стучит о пол прикладом винтовки.

— Сдавай, старшина.

Отстегиваю ремень и отдаю его вместе с пистолетом солдату. Он передает его Рудневу, тот достает пистолет, вынимает из него обойму и тщательно пересчитывает патроны. Пересчитав,

опускает пистолет в ящик стола, а мне возвращает ремень.

— Садитесь! Рассказывайте, с каким заданием прибыли, кто вас послал?

— Откуда прибыл? Какое задание?

— Молчать! Отвечать только на вопросы! С каким заданием прибыл? Сколько тебе заплатила немецкая разведка? Как думал осуществлять связь?

У меня вертится на языке одно-единственное слово — «дурак»! Но, кажется, если произнесу его, я не окажусь в выигрыше. Уж лучше молчать. И я молчу.

— С каким заданием прибыл?.. — монотонно бубнит Руднев и что-то пишет на отдельных листочках бумаги.

Еще со студенческих лет во мне выработалось умение в случае необходимости отключать свой слух. Я могу внимательно глядеть в глаза собеседника, но, если разговор мне неприятен, мой слух изолируют спасительные заслонки, и тогда я могу думать о чем угодно, продолжая изредка кивать головой или поддакивать. И теперь я, отключив слух, только думаю. О, если бы Руднев мог узнать мои мысли!..

И снова:

«Чистосердечное признание облегчит твою участь.

С каким заданием прибыл?

Признавайся. Иначе расстрел.

Какую задачу поставила немецкая разведка?

Признавайся!..

Молчание усугубляет твою вину!

Говори всю правду!»

И так до утра.

* * *

Сегодня при моем появлении в общежитии штурман Шмаков недвусмысленно произнес:

— Почему мы должны терпеть шпиона?

Не знаю, кто влепил ему пощечину — Василий Вильчевский или Николай Пивень, но мне стало понятно, что клеймо «шпиона» пристало прочно. Что делать? Как доказать свою невиновность? И почему я должен доказывать? Почему требует доказательств заведомая ложь? Почему донос считается неоспоримым фактом?

— Возьми партизанскую справку и покажи ее Рудневу, — советует Маслов.

— «Филькину грамоту»? — Я горько усмехаюсь. — Вряд ли поможет. Еще обвинит в незаконном присвоении воинского

звания.

— А ты объясни, почему нас назвали майорами.

— Нет, Руднев не способен это понять. Может, попробуем вместе? Ты и Лыга?

— Я уже был у него, — говорит Маслов.

— Сам ходил?

— Приглашал…

— Тоже пришлось доказывать свое алиби?

— Нет… Это сделали вы с Лыгой, подтвердив каждый день моего пребывания за линией фронта. Вы же меня и отправили…

— Ну, а ты? Ты поможешь?

— Думаешь, он поверит мне? Ведь я улетел раньше… А что было потом?

— Значит, и ты сомневаешься?

— Дурак! Ему нужны доказательства! Доказательства, понимаешь? Где я их возьму?

— Негде… А ты, Лыга? Мы улетели вместе. Ты-то ведь можешь подтвердить каждый мой шаг.

— Не каждый. Ты куда-то отлучался.

— «Куда-то!..» На аэродром! Встречал и провожал самолеты! Упрашивал начальника авиации отправить сначала Федю, потом нас обоих! Ну, подтвердишь?

— А вспомни листовку… Я член партии и не могу ничего скрывать.

— Скрывать?! Вспомнил листовку?.. Сегодня ночью меня опять вызовет Руднев, и уж я ему скажу… Скажу, что младший техник-лейтенант Лыга встречался в немецком тылу с Гитлером!

— Глупо! Неприкрытая ложь!

— А ты попробуй, докажи! Чем глупее, тем правдоподобней…

Я еще пытаюсь шутить… Как доказать, что я не верблюд, что моя покойная бабушка не побочная дочь кайзера Вильгельма, дедушка не руководитель сигуранцы, а я все же не немецкий шпион?!

Что же мне делать?

С этим я пошел к комиссару полка. Я рассказал ему все: про себя, про Федора и Лыгу, про листовку и «филькину грамоту», про каждый день, проведенный там, в тылу у врага, и про Руднева…

Ничего не ответил комиссар, ничего не пообещал, только сжал мои плечи тяжелыми ладонями бывшего шахтера и заглянул в глаза. Внимательно и немного грустно. Да и что мог ответить мне комиссар Терещенко? Я и сам считал, что в такое тяжелое время лучше заподозрить десяток невинных, чем пропустить в ряды армии одного настоящего шпиона, одного предателя…

Ночью, как обычно, пришел солдат-посыльный:

— На допрос, старшина!..

— Послушай, скажи Рудневу, пусть катится к черту! И сам иди…

— Не могу. Старший лейтенант опять прикажут…

— К черту! Понял? К черту!

Я упал на койку, закрыл голову подушкой и, кажется, впал в какое-то забытье. Меня вернуло к действительности чье-то прикосновение:

— Вы больны, товарищ старшина?

Я отбросил подушку и открыл глаза. Возле моей койки стоял командир полка.

— Вас не было вечером на построении, — продолжал он. — Почему?

— И не только вчера, товарищ капитан. Вы сами все знаете…

— Я знаю, что вас не было в строю! Потрудитесь сегодня не опаздывать!

— Есть, товарищ командир!

Командир поворачивается и идет мимо коек к выходу. Я срываюсь с койки и догоняю его уже около двери, говорю с признательностью:

— Анатолий Александрович! Спасибо!.. Он проводит ладонью по моим непричесанным вихрам:

— Эх ты!..

Вечером я стою в строю вместе со всеми, слушаю слова боевого приказа и незаметным движением поправляю на ремне пистолет, который час назад принес все тот же солдат-посыльный.

А вскоре, после одного из боевых вылетов, я приношу парторгу эскадрильи заявление о вступлении в партию. Первую рекомендацию мне дает комиссар полка. А вторую… Вторую написал старший лейтенант Руднев! Позже у меня будет возможность убедиться в том, что он храбрый офицер, весьма выдержанный и умный человек. Наделенный наблюдательностью и проницательностью, обладающий способностью к аналитическому мышлению и смелым обобщениям, он сумел обезвредить не одного настоящего шпиона.

Простите мне, подполковник Руднев, мое первоначальное мнение о вас. Юности свойственна скоропалительность выводов и суждений…

И тут же узнаю о том, что выездная сессия Военного трибунала армии рассмотрела дело бывшего комэска-два и уже бывшего лейтенанта Брешко, обвиненного в трусости и еще кое в чем… Заседание проходило при закрытых дверях. В окончательной инстанции высшая мера наказания была заменена штрафным батальоном до окончания войны…

Командиром нашей эскадрильи назначен лейтенант Ширяев.

Ни шагу назад!

Каждую ночь полк улетает на боевое задание, и каждый раз в новый район действия. Два дня назад летали под Вязьму, вчера под Спас-Деменск, сегодня бомбим укрепления противника в районе Ржева. Каждый понимает, что такой большой район боевых действий отнюдь не потому, что наш полк обладает какой-то исключительной боеспособностью, — нет, все это из-за нехватки авиации.

Чтобы как-то сократить время, необходимое для полетов к цели и обратно, подбираем полевые площадки ближе к линии фронта, ближе к предполагаемой цели и перелетаем на них днем. Эти площадки получили название аэродромов подскока. И хотя здесь все временно: площадка служит одну-две ночи — готовим их солидно. Мы знаем возможности воздушного противника, и теперь о маскировке аэродрома и самолетов заботятся все. Вместе с нами к аэродрому подскока тянется команда ложного аэродрома, спешит автомашина с зенитным прожектором, зенитчики. Правда, их немного — два орудия. Но все же защита и охрана нашего аэродрома.

На нашем старте всего два фонаря типа «летучая мышь». Но летчики уже привыкли к этому и уверенно находят свой аэродром с помощью светового маяка и земных ориентиров. Порой сам удивляешься, каким чутьем, каким дополнительным зрением находишь в кромешной тьме эти едва мерцающие огоньки старта! Зато рядом, в десяти-двенадцати километрах сияет «настоящий» электрический старт. Его часто бомбят вражеские самолеты, но «аэродром» продолжает работать. И тоже приходится удивляться, когда команда ложного аэродрома успевает приводить его в порядок — бомбят-то каждую ночь! А вся команда ложного аэродрома состоит из сержанта, двух солдат-ополченцев и шофера старенького «газика».

Каждое утро после полетов — построение. Затем короткая политинформация и сводка Совинформбюро. У губ комиссара пролегла жесткая складка: фашистские войска все дальше продвигаются в глубь страны. Пал героический Севастополь, захлебнулось наше контрнаступление под Харьковом, оставлен Ростов, вражеские войска продвинулись к Северному Кавказу, захвачены Майкоп, Пятигорск, Нальчик. Что-то сообщит комиссар сегодня?..

Этой ночью мы бомбили железнодорожную станцию южнее Ржева. Теперь возвращаемся на свой аэродром. Неожиданно наваливается густой туман. Радиосвязи с землей мы не имеем,

нет у нас приборов для «слепой» посадки, да и какие, собственно говоря, пилотажные приборы на ПО-2?! Указатель высоты, скорости, плохонький компас и «пионер» — указатель кренов и скольжения (современный летчик с таким приборным оснащением не поднимется в воздух даже при ясном небе!). А тут ночь, туман… И на счету каждый самолет, каждый летчик…

Идем над туманом. Выдерживаю курс на аэродром. А если и он закрыт туманом? Что тогда? Ведь топлива в баке едва-едва по всем расчетам… В какое-то мгновение туман становится реже и где-то под нами мелькает световое кольцо. Это же наш «приводной прожектор»! Теперь до аэродрома рукой подать. Но радость преждевременна: туман опять становится плотнее.

— Что будем делать? — спрашивает Иван Шамаев, мой штурман.

— Что же делать? Надо садиться.

— Но…

— Давай искать аэродром, Иван. А там… Подсветишь ракетой.

— Подсвечу! Бери курс… Смотри, вон аэродром! Над туманом появляется пучок зеленого света — ракета! За ней вторая, третья.

— Подошли самолеты, — замечает Иван. — Подсвечивают с земли!

— Вижу сам. А вот как зайти на посадку?..

— Ты летчик — думай! Самолет справа!

Чуть отворачиваю влево и включаю навигационные огни. Тут уж не до маскировки, не хватает еще столкнуться с кем-либо из своих.

А с земли все взлетают и взлетают ракеты. Взлетают с одного и того же места. Если принять эту точку за начало посадочной полосы, то… Надо только точно выдержать посадочный курс.

Эх, если бы увидеть землю! Всего на одну-две секунды!

— Посадочный курс, Иван?

— Триста пять! Доверни чуть влево. Так! На посадочном!

Самолет со всех сторон окутан ватой.

— Следи за землей! Если увидишь, крикни!

— Есть!

Я смотрю на приборы. Как их мало! Недостает самых необходимых. Самолет идет в месиве тумана. Ниже. Еще ниже. Где же эта земля?

— Земля!

Смотрю вперед: что-то чернеет внизу. Включаю фару. Светлый диск ее света, отраженный от тумана, слепит глаза.

— Ракету!

Свет белой ракеты выхватывает на секунду темное пятно земли. Успеваю заметить выбитую колесами траву и убираю газ. Легкий удар колес о землю. Тут же выключаю зажигание, чтобы не загорелся самолет, если на его пути окажется какое-либо препятствие…

Лежим на влажной от туманной росы траве под крылом самолета и, нарушая все противопожарные правила и приказы по светомаскировке, курим. Сегодня мы победители. Мы победили саму природу! А ведь могло быть и не так. Как же это понимать — пришло ли к нам умение, мастерство, или просто везение? Не знаю. Пока не знаю.

На светлячки наших цигарок собираются друзья — будто мы не виделись вечность.

— Привет, старик.

— Иван? Здорово, друже! Закуривай.

Огонек спички выхватывает ладони Ивана, его чуть дрожащие пальцы. В другой бы раз не миновать ему насмешек, но сегодня… Нам даже лень говорить. Нет, это даже не лень. Просто мы еще там, в тесной кабине самолета, в ватном месиве тумана…

— Борис прилетел?

— Ага. Что ему станет? То ж Борис… — Казюра жадно затягивается дымом.

— А как остальные? Все сели?

— Не знаю.

— Пойдем на КП, узнаем.

— Нет, Ваня. На КП не пойду. Идем лучше поищем Бориса. Где его самолет?

— Попробуй, разыщи в таком тумане. Где-то на стоянке.

— Пойдешь?

— Нет. И ты не ходи. Ему надо побыть одному…

— Привет! С чего бы?

— Ты ж сам слышал: оставлен Майкоп…

У Бориса в начале войны погибли родители. В Майкопе осталась единственная сестра. И вот Майкоп уже у немцев. Чем мы поможем другу? Примет ли он наше сочувствие? Найдем ли мы нужные слова?

Казюра со своим штурманом остается у нашего самолета, а мы с Иваном Шамаевым бредем сквозь туман от одного хвоста самолета к другому, пока не натыкаемся на знакомый номер. Под самолетом тоже трепыхается светлячок папиросы. Я молча лезу под крыло и ложусь рядом. Вслед за мной опускается и Иван. Мы лежим молча, прижимаясь друг к другу. Может быть, тепло наших тел растопит холод в сердце Бориса? Мы не будем искать слова утешения. Мы просто помолчим. Вот так, прижавшись друг к

другу. Из тумана выплывают темные расплывчатые фигуры и, задержавшись у хвоста, переламываются под плоскостью, молча располагаются на земле, рядом с нами. Кто это? Ну, конечно же, друзья! И совсем не обязательно вглядываться в их лица — это можно определить даже по дыханию.

— Эх, ребята, знаете, о чем я думаю? — спрашивает Коля Кисляков. Это его голова, оказывается, пристроилась на моем животе. — Собраться бы нам всем вместе вот так лет через двадцать!

Николай Кисляков, ладно скроенный, черноволосый и темноглазый паренек, отличный штурман, неисчерпаемый кладезь анекдотов и ходячий справочник по любым вопросам. Он на память может прочесть длиннющую поэму Пушкина, может «выдать» любую формулу — от бинома Ньютона до площади захвата объектива любого фотоаппарата, может мгновенно рассчитать траекторию полета снаряда. Но при всем практическом складе ума Коля неисправимый мечтатель.

— Представьте, собрались мы все через двадцать лет. Борис уже генерал. Командующий военным округом, и не меньше. А вот Костя ушел из авиации. Работает в Москве. Знаменитый хирург.

— А Коля, простите, Николай Александрович Кисляков, — подхватывает Иван Шамаев, — к этому времени стал знаменитым поэтом!

— Пушкин? — спрашиваю я, вступая в эту игру.

— Куда там! Бери выше! Во всех учебниках только одна фамилия, только одно имя — народный поэт Кисляков!

— Издеваешься, Иван? Но и ты неравнодушен к поэзии. Не ты ли сочинил: «Мой ПО-2 в тумане «бреет», выхлоп гаснет на лету».

— Пустяк! Пародия! — перебивает Иван. — А вот хотите послушать?..

— Валяй!

И Иван «валяет». Дымят и светятся в темноте огоньки наших цигарок. Шумно вздыхает Борис, затаилась на моем животе беспокойная голова Николая.

…Чаще, чем именины,
Тризны мы стали справлять.
Фашистские рвутся мины…
Вот взорвалась опять!
Не где-то,
А близко, рядом.
Нежданно. Коварно,
Вдруг…
И на войне снарядом

Вырван из жизни друг…[7]

— Пессимист! Эти бы стихи да Шмакову. «Упаднические настроение у сержанта Шамаева! А не паникер ли наш Шамаев? От паники до предательства — один шаг! Так и запишем: сержант Шамаев вступил на путь прямого предательства, потому как сочиняет стихи».

— Брось, Коля! — Это голос Сергея Краснолобова. Он самый рассудительный из всех нас. Он наш комсомольский секретарь, и мы его очень уважаем. — Брось. Послушаешь тебя, и можно подумать, что солдату не нужна поэзия, не нужна мечта. Нужно. Все нужно и на войне… Но без уныния.

— Так я не про то, Серега. На войне и песня нужна, и радость. А вот что у некоторых не только глаза, а даже мысли в черный цвет окрашены, это уж точно!

— А у тебя в какой цвет глаза окрашены? — неожиданно вступает в разговор Борис. — В розовенький? Стихи, песенки? К черту поэзию! Понимаешь, к черту! Сволочи отхватили пол-России, а тебе все хаханьки?! Мы отступаем!.. Отступаем, а ты стишки, песенки!.. Другой раз аж невмоготу. Добыл бы винтовку и — пешком, навстречу всем этим гадам!.. Чтобы — штыком, чтобы — кишки наружу!.. Чтобы сам видел, своими глазами!..

— Печорин! Герой двадцатого века!.. — обрывает Сергей. — Мушкетер!.. Ты — советский солдат! Ты — комсомолец! Винтовку ему… Тебе дали оружие, вот и дерись им!

— Оружие!.. — не унимается Борис. — Фанера, перкаль и деревяшки? Эх, Серега! Видимость оружия! Вот поэтому и хочется с винтовкой — грудь на грудь. Иначе не выстоять! Понимаешь, каждому надо винтовку! Каждому! Пацану, женщине — всем! Всему народу!

— Ты есть хочешь?

— Нет… А ты, Серега, зубы не заговаривай! Не уводи в сторону!

— А я не в сторону, я по существу. Винтовку, говоришь, каждому? Да?

— Ну? Каждому.

— А кто их тебе сделает? Кто тебе завтра жрать даст?

— Ну, знаешь!..

— Я-то знаю! А ты дураком прикидываешься, Печорин! Эх, Борис! Не тебе ли знать, как достается хлеб, как достается каждая тонна железа. Война не забава, тут достается каждому. И в тылу, и на фронте. Только надо верить в победу. Надо верить!

— Верить!.. А немцы на Кавказе! Лезут к Волге! И ничего не

хватает. Бомб на два вылета — и ждите! Патроны — берегите! Вот у меня вчера «мессер» на хвосте висел. Что же я должен был беречь патроны и… отступать?! Когда же у нас будет чем воевать, Серега?

— Будет! Смогли же мы выстоять под Москвой, смогли их отбросить.

— Смогли. Но почему теперь опять отступаем? Отступаем, отступаем?..

Радостью захлебывается радио Германии: «Победа близка! Русские на грани краха! Дни Москвы сочтены!»

Вновь вытаскивается давний приказ фюрера о порядке воинского парада в Москве. Перечисляются подвиги дивизий с поэтическими названиями «Эдельвейс», «Нахтигаль» и откровенно зловещими — «Тоде кампф дивизион».[8] И опять лозунги, заверения, радостные прогнозы: «Русские будут прижаты к Волге и уничтожены! Впереди Волга! Русским отступать некуда!»

Отступать некуда. Это понятно каждому. Отступать нельзя. Ни в коем случае нельзя! И нельзя поддаваться настроениям, которые порождены горечью отступления, нашими неудачами под Харьковом и Воронежем, в Донбассе и Крыму…

— Всякая мысль, что отступать еще есть куда, что Россия велика и можно найти другой, более выгодный рубеж, — сегодня равнозначна предательству, — взволнованно и немного печально говорит комиссар. — Центральный Комитет партии обращается ко всем армейским коммунистам с требованием стоять насмерть. Защищать каждый метр советской земли. Этого же требует Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин в своем приказе.

Комиссар зачитывает слова приказа, суть которого предельно ясна: ни шагу назад!

«Ни шагу назад!» — клянется полк.

Приказом Ставки наш полк в числе десяти авиационных полков перебрасывается на Донской фронт. Где-то там, в степях между Доном и Волгой, начинается великая битва за Сталинград.

Где тебя искать, Таня?

Мы стоим неподалеку от речонки Медведица, что впадает в Дон на относительно «тихом» участке фронта. И дела у нас пока небольшие — контролируем дороги за Доном, в меру сил препятствуя продвижению по ним вражеских войск.

О нас не сообщают в сводках Совинформбюро, не пишут в газетах. Да и что представляют собой на фоне громадной битвы под Сталинградом два-три уничтоженных танка или пяток подбитых бронетранспортеров? И все-таки уничтоженный танк не прорвется к Сталинграду, а подбитые транспортеры не выйдут к Дону!

Днем стояла жара, а к ночи похолодало, и совсем неожиданно навалился туман. Отбой! Сегодня боевых вылетов не будет. Свободные вечера выдаются не часто, но и они в тягость. Вот хотя бы лейтенанту Герасимчуку. Зачем ему свободные вечера, если его любовь где-то за тридевять земель? Прямо из-за свадебного стола улетел лейтенант. Улетел по тревоге, когда враг только переступил нашу границу. Ох, как далеко от Дона до границы, до родной Беларуси! Далеко и до его то ли жены, то ли невесты… Поэтому каждый час без полетов, без боя в тягость горячему лейтенанту. Но «отбой» — куда тут денешься? И разрешено личному составу принять положенные сто граммов. Стало быть, еще на ночь, еще на сутки отодвигается долгожданная встреча с любимой.

— Эх, еще бы сто грамм! — вздыхает Герасимчук, ероша пальцами темные кудри. — Душа горит…

— Тревога! Экипажи Скворцова, Пономарева, Герасимчука и Обещенко на вылет!

Вот тебе и «отбой». Впрочем, армия должна знать о передвижении вражеских войск, армия не может без разведки даже в туман.

Один за другим взлетают самолеты. Тает рокот моторов в белесой мгле…

За Доном туман приподнимается, и уже отчетливо видно землю. Герасимчук ведет самолет по заданному маршруту на высоте двадцати-тридцати метров. Степь, степь. Черная мертвая равнина, громадная, как океан. Но что это? Один огонек, второй, и вдруг длинная цепочка огней…

— Старт! Фашистский аэродром! — кричит штурман Саша Логанчев.

Герасимчук делает круг над немецким аэродромом. Наверное, немцы принимают его самолет за свой: старт не

выключается.

— Самолеты!.. — Голос Герасимчука хрипнет от волнения. — Саша, бомбы!

— Высота, командир… Подорвемся сами.

— Бомбы!

Самолет подпрыгивает и накреняется на взрывной волне, а на земле разгорается дымное пламя.

— Живой, Сашок?

— Живой!

— Так давай, браток, из пулемета! Давай, Сашок!

И Саша пускает длинные очереди вдоль самолетной стоянки, не замечая, как рвутся снаряды в воздухе, как прополаскивается темное небо неисчислимыми нитями пулеметных трасс…

Днем у разбитого и изрешеченного снарядами самолета Герасимчука собирается наш «молодежный клуб». Борис перебирает струны неразлучной гитары и негромко напевает экспромтом сочиненную песенку. Автор ее, Иван Шамаев, нещадно фальшивя, подпевает:

На лонжеронах без перкали
ПО-2 с заданья приходил,
И все механики вставали,
Когда к лесочку он рулил…

А Герасимчук молчаливой тенью ходит вокруг самолета за техниками и каждому задает единственный вопрос:

— К ночи, братики, а?

— Отстань! — сердится инженер полка Косарев. — Два дня, и не меньше! На чем только прилетел?

И Герасимчук не скрывает слезы. На два дня солдат лишился оружия…

Мышей я не боюсь. Просто они мне противны. Давно. С самого детства. А цвет их серых шкурок чем-то напоминает мундиры немцев. И от этого вид паршивых зверьков вызывает неудержимую тошноту.

Село, где мы живем, наводнено мышами. Они повсюду. Бегают по полу, проникают в постели, попадают в одежду, в сапоги, копошатся в соломе матрасов, в подушках. Им наплевать на наш заслуженный отдых, и… словом, спокойно не может спать даже Иван Шамаев. А уж, казалось, что ему мыши! Однажды наш аэродром бомбили вражеские бомбардировщики. Налет был коротким, но жестоким. Бомбы падали не только на аэродром, но и на деревню, между домами. Все скрылись в убежища, только Иван, смертельно устав после боевой ночи, продолжал спать.

Вечером, когда его разбудили перед полетами, Иван, выйдя на улицу и увидев свежие воронки, страшно удивился:

— Интересно, когда же это нас бомбили?..

Но сегодня мыши довели даже Ивана. Он решил выколотить мышей из своей подушки… не открывая глаз. Первый удар кулака пришелся по подушке, второй — по голове соседа! И вот уже сосед, Дмитрий Тарабашин, награждает его ответным ударом, и по всему общежитию летают из угла в угол подушки.

Мы с Николаем Кисляковым натягиваем сапоги и влезаем в ватные комбинезоны: все равно уже не заснешь! Идем в столовую на ужин, оттуда — на аэродром. Пора готовиться к вылету.

Еще вчера прибористы вытащили из приборной доски моего самолета часы для ремонта, но так и не успели поставить их на место. Теперь вместо часов на приборной доске круглая дыра.

— Хоть бы заклеили, — ворчу себе под нос.

— Что? — интересуется Николай.

— Ничего. Поехали.

Мне понятно, что техникам недосуг, что у них есть куда более важные дела, чем наши самолетные часы, но почему-то именно эта дыра в приборной доске вконец портит настроение.

В полете нет-нет да и взгляну на эту злополучную дыру, и — что за наваждение? — из дыры выглядывает мышиная физия! Хлопаю ладонью, обтянутой кожаной перчаткой, по приборной доске — мышь пропадает с тем, чтобы через секунду вновь уставиться любопытными бусинками глаз. Тьфу! Я даже поеживаюсь от чувства брезгливости.

Наверно, движение тела передается на рули самолета, и он отклоняется от курса.

— Заснул? — интересуется Николай.

— Нет. Мышь.

— Что? — не может понять Николай.

Но ответить ему уже не могу, чувствую, как мышь, пробравшись где-то между сапогом и комбинезоном, медленно ползет вверх по колену.

— Танки! Приготовься к атаке!

— Есть! Разворачиваю самолет носом на голубые, приглушенные огни фар, мерцающие внизу.

— На боевом! Так держать!

Перед носом вспыхивают разрывы снарядов, проносятся лохматые брызги «эрликонов», но мне не до них: под комбинезоном ползет мышь! Вот она миновала колено, продвинулась на бедро. Даже спина взмокла противным, липким потом… Осторожно прижимаю ладонь к месту, где копошится эта противная тварь.

— Курс держи!

Я молчу. Ноги сами поворачивают самолет в нужную сторону. А под рукой бьется, трепыхается мышиная жизнь. Прижимаю ладонь сильнее, еще сильнее — и вдруг острые зубы впиваются в мою ногу. Нет, не от боли извиваюсь я на сиденье: стоит лишь представить длинную серую морду, как тут же поднимается тошнота.

На аэродроме Николай докладывает начальнику штаба:

— Обнаружили скопление танков противника, около двадцати машин. Атаковали. Один подорван прямым попаданием!

Медленно расстегиваю пуговицы комбинезона и осторожно — рука в перчатке — извлекаю злополучную мышь.

— Можешь добавить к сегодняшним трофеям… Николай садится на землю и захлебывается от смеха. Удивленно смотрит на нас начальник штаба. Сквозь смех Николай поясняет:

— А я-то думал… Я-то думал, тебя трясет от вида немецких танков! О-хо-хо! А ты! Ха-ха! Охотничек!..

С Димой Тарабашиным случаются самые удивительные истории. Как-то он не успел побриться перед построением, и командир полка, заметив его рыжую щетину, не без ехидства поинтересовался:

— Как же вы, товарищ Тарабашин, небритым и в строй? — и укоризненно покачал головой.

— Отпускаю бороду, товарищ командир! — нашелся Дима.

— Что же, — командир обернулся к начальнику штаба. — Отдайте приказ по полку: лейтенанту Тарабашину разрешено отпустить бороду.

Два месяца после того Дима плевался при виде своего изображения в зеркале и готов был выщипать по волоску злополучную, рыжую клочковатую бороду.

Вот и сегодня обычный полет с боевым донесением в штаб армии обернулся для Тарабашина неожиданностью.

Уже несколько дней полк стоит под Котлубанью, в непосредственной близости от линии фронта, от Сталинграда. С аэродрома видны дымные шапки пожарищ, слышна орудийная пальба. Разрывы снарядов и бомб сотрясают стены единственного дома, где расположился полк.

После посадки неподалеку от штаба армии Тарабашин оставил летчика, лейтенанта Руденко, у самолета, а сам направился в штаб. Чтобы легче было идти, Дима снял с себя комбинезон и остался в новом, недавно выданном мундире. Как известно, парадный мундир очень отличается от привычной гимнастерки, а тут еще рыжеватые Димины волосы…

Подозрительно! Так и решили двое солдат, которые шли навстречу Тарабашину.

— Стой! Кто такой? Куда идешь?

— Летчик. Лейтенант. Иду в штаб.

— Летчик? — искренне удивились солдаты. — В штаб, значит, идешь?

— В штаб, — подтвердил Дима.

— А где ж твой штаб?

— Да во-он. За углом.

— А ну, шагай! — И солдаты взяли на изготовку автоматы.

Десяток раз ходил Тарабашин по этой дороге. Но сегодня вместо здания штаба зияла огромная воронка…

— Ну, где твой штаб?

— Был здесь…

— Сволочь! Еще по-русски лопочет! А ну, гад, становись к стенке!

— Товарищи…

— Гитлер тебе товарищ!

— Товарищи! У меня же пакет в штаб! Вот он!

— А ну давай, что там за пакет?

— Не могу. Он секретный.

— Черт с тобой и с твоим пакетом! Сами возьмем!

— Погоди! — остановил ретивого товарища другой солдат. — А может, действительно свой?

— Да ты на рожу его взгляни! Фриц! Точно — фриц!

— В общем-то, похож. Вот что, говори по-честному — кто ты и куда идешь? Валандаться с тобой некогда…

Так и оборвалась бы Димкина биография у развалин дома в Сталинграде, если бы не явилось чудо в облике штабного майора, который спешил куда-то по своим делам.

— Товарищ майор! — бросился к нему Дима.

— Стой!

Солдаты проверили документы майора и, не очень поверив в их подлинность, проводили обоих к новому месту расположения штаба.

Их привезли вчера вечером. Крытая брезентом полуторка остановилась у штаба и простояла там до утра. Утром начальник штаба привел их на аэродром. Кажется, их было трое. Но я видел только одну. Только ее — Таню! А может быть, и не Таню. Я еще не знаю, как ее зовут, но мне почему-то хочется, чтобы ее звали Таней… Узкие, покатые плечи, слегка удлиненная грациозная шея, легкие завитки волос на затылке, чуть приоткрытые, влажные лепестки губ и мохнатые, как лапки шмеля, ресницы… Таня. Я вижу только ее. Она стоит у самолета и с опаской

поглядывает на крыло.

— Сюда?

— Да-да. Пожалуйста!

Узкая юбка мешает ей подняться на крыло. Девушка без смущения поднимает юбку, освобождая колени. Я подаю ей руку и провожу по губам пересохшим языком. Черт возьми, какие у нее стройные ноги! Какая маленькая ступня, какие… Изящный каблучок туфель протыкает непрочное перкалевое покрытие крыла.

— Ой!..

— Ничего, ничего. Пустяки. Теперь вам надо забраться в кабину. Это так просто. Только как же вам в юбке? Не девичье это дело — самолет.

— Я — лейтенант, товарищ летчик! Показывайте — как!

— Раз лейтенант — дело другое. Делается так. — Я влезаю на крыло и одним прыжком забираюсь в кабину. — Понятно? Так же и выходят на крыло. — Я показываю, за что надо держаться руками, куда ставить ноги. — Только прошу учесть, лейтенант, воздушная струя будет срывать с крыла… А в общем, тренируйтесь!

Я спрыгиваю на землю и решительно отворачиваюсь от самолета.

— Стойте! Младший лейтенант, вы должны посмотреть. Так?

Ну и дуреха! Неужели ей непонятно, что я не могу разглядывать ее обнаженные ноги под задранной юбкой, я… Это просто неприлично!..

— Младший лейтенант, помогите…

Ее нога застряла где-то между сиденьем штурмана и запуталась в привязных ремнях. С другой стороны фюзеляжа влезаю до половины в кабину. Мое лицо рядом с ее ногой. Под белой кожей где-то у щиколотки пульсирует голубая жилка. Черт возьми! Я еле сдерживаю желание поцеловать эту пульсирующую жилку. Трепещущие от волнения пальцы никак не могут справиться с запутанными ремнями…

— Повторим?

— Повторим!

Она уже уверенно влезает и вылезает из кабины, легко прыгает с крыла. Я учу ее надевать парашют, освобождаться от него, показываю, как собирать купол. Вместе мы собираем, укладываем и проверяем парашют — ей прыгать…

— Готовы? — спрашивает подошедший начальник штаба.

— Так точно, товарищ майор!

— До вечера свободны.

— Есть!

По колючей стерне пшеницы бреду в деревеньку, а в голове мелькают перепутанные образы — глазницы мертвой женщины, что лежала в сугробе возле нашей столовой, и серые глаза этой… лейтенанта. И пульсирующая голубая жилка под светлой кожей…

Сгущаются сумерки. Три самолета замерли на предварительном старте. Полк уже ушел на бомбежку, а мы ждем. Ждем условленного срока. И задание у нас другое: мы выбросим этих девчонок в десяти километрах западнее Калача. Это немецкий тыл… Эх, девчонки!..

На груди у меня под комбинезоном спрятаны новые хромовые сапоги. Комбинезон от них топорщится. Сапоги мне явно мешают. Ну, конечно, мешают! И я решительно направляюсь к стоящим в сторонке девчатам:

— Вот, лейтенант, надевай. А то в туфельках… Сама понимаешь…

— А вы?..

— Ты одевай. Портянки там внутри. Подмотай.

— Но…

— Потуже подмотай. Чтобы не свалились. Давай помогу.

— Спасибо.

Я смотрю на эту щупленькую девчонку, на то, как она неумело наматывает портянки, и вновь думаю о том, какая же это жестокая штука война, если она вынуждает такую прекрасную, нежную и беззащитную девчонку лететь черт знает куда, возможно, навстречу смерти. Смерти? Почему смерти? Она создана для жизни, для счастья! Я готов поднять ее на руки, прижать к груди и нести через все опасности, через всю жизнь!..

— Пора, лейтенант… Она молча поднимается на крыло. Ровно гудит мотор. Внизу чернота враждебной степи.

— Как тебя зовут, лейтенант?

— Таня.

Сердце готово выпрыгнуть из груди: Таня!

— Скажи, Таня, я увижу тебя? Где? Когда?

— После войны. Если…

— Не говори этого слова! Я должен увидеть тебя! Должен!

Таня стоит на крыле. Ее тонкие пальцы твердо обхватили борт моей кабины, а я не могу даже прижаться к ним губами.

— Пошел!..

Растворился в темноте белый купол. Эх, Таня! Танечка! Я не могу даже сделать над тобой прощальный круг, не могу выполнить традиционный ритуал расставания с другом.

Я планирую на приглушенном моторе до минимальной высоты и ухожу тихо-тихо. Чтобы не услышал враг. Чтобы еще раз заглянуть в твои глаза. Где тебя искать, Таня?..

Гвардия

Выполняя приказ Гитлера, 13 сентября 1942 года фашистские войска бросились на штурм Сталинграда. Сто семьдесят тысяч солдат при поддержке трех тысяч орудий и пятисот танков ринулись на части двух ослабленных предыдущими боями армий. Тысячи самолетов поднялись в воздух, неся на своих крыльях тысячи тонн смертоносной взрывчатки. Основной удар гитлеровские войска наносили в направлении Мамаева кургана и вокзала. К исходу следующего дня они овладели вокзалом, а южнее Сталинграда, в районе Купоросное, вышли к Волге.

Улицы и площади города превратились в арену кровопролитных боев, которые уже не затихали до конца битвы. Только вокзал тринадцать раз переходил из рук в руки! В конце сентября бои из центра города переместились на северные заводские окраины, где гитлеровцы предприняли попытку захватить тракторный завод. Враг неистовствовал, продолжая непрерывно атаковать защитников города. В начале ноября гитлеровцы попытались еще раз овладеть городом. На узком участке у завода «Баррикады» им даже удалось выйти к Волге. И — все! Сила и огневой удар бронированных полчищ врага разбились о невиданную стойкость советских людей.

Бои в городе не прекращаются ни на один день. Они идут за каждую улицу, за каждый дом, за каждую пядь родной земли. Наш полк получает задачу поддержать бомбовым ударом 138-ю дивизию, отрезанную от основных сил 62-й армии. Работа настолько ответственная, настолько ювелирная, что командир полка долго решает, кому из летчиков поручить выполнение этого задания. И неудивительно, что эта задача поставлена нашему полку — другой авиации она просто не под силу.

Мы тщательно изучаем обстановку по крупномасштабной карте-плану города. Вот этот дом занимают наши войска, а рядом — немцы. А дальше — половина дома у наших, половина у фашистов. Надо уничтожить фашистскую половину и не задеть своих. Действительно, требуется ювелирная точность и напряжение всего экипажа — летчика и штурмана. Запланировано всего два вылета: первый в сумерках перед наступлением темноты, второй — незадолго до рассвета. В эту пору относительно хорошая видимость для того, чтобы отыскать цель, и наименее вероятна встреча с вражескими истребителями. Вылет по одному, чтобы не мешать друг другу в поисках цели.

Мой штурман Николай Ждановский летает давно. До войны он был штурманом в отряде лесной авиации и еще тогда освоил

точечное бомбометание, которое применялось для тушения лесных пожаров. Так что я могу быть спокойным. С этим скромным, по-настоящему храбрым и не кичащимся своим умением человеком летать просто удовольствие. Все у него заранее рассчитано, все продумано. Вот и сейчас он точно выводит самолет в район нужной нам цели. Делаю круг для осмотра, затем захожу на цель. Самолет на боевом курсе. И пусть теперь рвутся снаряды, пусть пулеметные пули щелкают по обшивке крыльев — я не сверну с этого курса! Не смею дрогнуть! Так держать!

— Отваливай!

Круто разворачиваю самолет и успеваю заметить, как от взрыва наших фугасок обваливается угол дома. Со снижением, на повышенной скорости ухожу от неистового обстрела, веду самолет за Волгу, на свою территорию. На крыльях кое-где топорщатся лохмотья перкали. Да, придется техникам клеить и штопать…

— Гляди! Гляди! — кричит Ждановский, перевешиваясь за борт кабины. — Эх, мастер! Хорош! Однако хорош!

Я смотрю, куда показывает Ждановский, и на мгновение к сердцу подступает паршивое чувство зависти (почему это делает другой, почему до этого не додумался я?).

На светлом фоне предрассветного неба отчетливо виден самолет. Самолет легко и изящно выполняет фигуры высшего пилотажа. Одну за другой. Как на авиационном празднике в Тушино. Не случайно дымные шары снарядных разрывов и сверкающие огни трассирующих пуль показались в это мгновение праздничным фейерверком. Наверное, подняли сейчас головы солдаты, стерли пот с закопченных дымом лиц, и их лица осветились улыбками: «Вот дает!» Возможно, и фашисты, оторвавшись на секунду от прицелов, задрали головы в небо, пораженные дерзостью советского аса. А через секунду вновь обрушили на его самолет ожесточенный огонь зенитных орудий. А он, будто заколдованный, крутит себе «петли», «перевороты», «бочки».

— Однако мастер! — вздыхает Николай.

Я завистливо отмалчиваюсь…

На КП командир полка распекает лейтенанта Герасимчука. Командир — за столом, Герасимчук перед ним, переминаясь с ноги на ногу и скромно опустив глаза. Одно ухо его мехового шлема задрано, другое опущено вниз. В эти минуты Герасимчук напоминает собой нашкодившего кутенка, который, хоть и понимает свою вину, готов в любую минуту огрызнуться и оскалить зубы.

— Отлично выполненное задание, лейтенант Герасимчук, еще не повод к неоправданному риску!

— Товарищ командир! — вскипает Герасимчук. — Так они ж всю войну, гады, издевались над нами. Думают, что у нас и летчиков нет!..

— Вы советский летчик! Воздушное хулиганство…

— Так чтоб видели, гады! Чтоб знали!..

— За нарушение воинской дисциплины, за воздушное хулиганство объявляю вам, лейтенант Герасимчук, пять суток ареста!

— Товарищ командир!.. Так это… Пять суток не летать?

— И рад бы тебя посадить для твоего же успокоения, только… — командир полка вдруг озорно улыбается. — Только летать некому. И еще… — Командир встает из-за стола, притягивает к себе за ухо шлема голову Герасимчука и шепчет: — Только это по секрету. Жаль, должность не позволяет, а то бы я сам так сделал. Знай наших!

В другом углу штабной комнаты комиссар, прикрыв лицо широкой ладонью, вздрагивает от беззвучного смеха…

19 ноября 1942 года в 7 часов 30 минут мощные залпы советской артиллерии разорвали тишину донской степи и возвестили о начале второго периода битвы на Волге. Войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в наступление, взломали передний край обороны противника и устремились вперед. Сутки спустя начали наступление войска Сталинградского фронта.

Меньше чем за пять суток боев вражеским войскам был нанесен тяжелый урон, триста тридцать тысяч гитлеровских солдат и офицеров оказалось в «котле», в междуречье Волги и Дона.

Погода нелетная. Вся авиация на аэродромах. И это в тот момент, когда наши войска наступают. Досадно. Не может подняться в воздух и вражеская авиация. И вдруг командование фронта вспоминает о наших «всепогодных» тихоходах, и полк вылетает на штурмовку живой силы и техники противника. Вот и наши архаические «этажерки», наши «кукурузники» на какое-то время становятся штурмовиками. Правда, нам далеко до грозных Илов, но энтузиазма и отваги вполне достаточно. Под крыльями машины вместо обычных фугасок подвешены небольшие противопехотные бомбы АО-25, пулемет снабжен тройным боекомплектом, к тому же штурман Иван Шамаев, с которым я сегодня лечу, запасся трофейными бомбами — «лягушками».

Полет необычный[9] — «свободная охота». Это выражение применимо к истребителям, к штурмовикам, а нам оно кажется

странным. Летим на бреющем полете, высота десять-пятнадцать метров. Если подняться чуть выше, самолет зацепится за низкую облачность, и тогда совершенно пропадет видимость. А она и так не балует: пятьсот-шестьсот метров. Этого едва хватает для того, чтобы выдерживать курс. На заснеженных дорогах там и тут тянутся войска, и трудно разобраться, где свои, где чужие. Вот эти машут руками — явно свои! А эти? Темная колонна распадается на отдельные группы. Мне видно, как солдаты падают на землю и, прижав к животам автоматы, стреляют.

— Давай, Иван!

Взрывов мелких бомб не слышно. Разворачиваюсь обратно и вновь прохожу над рассеянной колонной. На дороге чернеют восемь воронок и разбросанные вокруг трупы вражеских солдат. Иван поливает дорогу из пулемета.

— Давай, давай, Ваня!

Но его не надо подгонять, не надо упрашивать. Он весь прикипел к пулемету, будто влил в него всю свою ненависть, всю горечь недавних отступлений.

— Все! Бери курс на аэродром.

— Так вон еще бродят фрицы. Давай, Ваня!

— Нечем! Весь боекомплект…

Опять же на бреющем идем к аэродрому, чтобы пополнить боекомплект и снова в бой.

На аэродроме, рядом с посадочным «Т», вижу чей-то неподвижный самолет. Сажусь рядом. Заруливаю на стоянку.

— Что там случилось? — спрашиваю у техника.

— На чем только прилетели?! — восклицает восхищенно Ландин. — Живого места нет! При посадке развалился.

— А чья машина?

— Гаврилова и Буйнова.

— Живы?

— Раз пришли домой, живы. Только отлетались на время: ранены оба…

Пока идет заправка и подвеска бомб, торопливо затягиваемся крепчайшим табаком из запасов Ландина. А со старта уже доносится голос заместителя командира полка старшего лейтенанта Бекишева:

— Не задерживайся! Живее, живее, орелики!

И опять летим над белой степью в белесой мути низкой облачности. Ищем врага.

Лишь к вечеру собираются самолеты на свой аэродром. Усталые и возбужденные, летчики направляются в столовую. А на старте остаются два техника — Коля Сафроненко и Валя Антифьев. Их самолеты не вернулись. Но они еще надеются на

чудо. Эх, ребята, ребята! Послушайте, о чем скупо перебрасываются между собой летчики:

— Над самой колонной загорелся мотор…

— Протянул бы немного в сторону! Там же можно сесть. Степь ровная, как стол.

— Ты не знаешь Герасимчука…

— Я видел, как он пошел на колонну, как крошил немцев. Винтом, колесами, крыльями! Пока не упал…

— Это Герасимчук. Точно!

— А второй взорвался. Выходит, Руденко?

— Наверно, он.

Да, чуда не будет. Потому-то Борис Обещенко устало поднимается из-за стола, держа в руке жестяную кружку с пайковым разбавленным спиртом:

— За тех, кто вот так погибает в воздухе! За то, чтобы не было фашистской погани на земле! Смерть — за смерть!

Чутьем опытного военачальника Паулюс понял, что в создавшейся обстановке необходимо отвести армию от Сталинграда, организовав в последующем прорыв на юго-запад. Мнение командующего 6-й армии разделили все командиры корпусов, срочно собранные на совещание. Командующий группой армий «Б», когда ему сообщили о решении Паулюса, согласился с ним. Но этого было мало, требовалось разрешение Гитлера.

А Гитлер и слышать не хотел об отходе. Он считал, что русские понесли слишком тяжелый урон и не способны к решительным действиям. Тем более командующий группы армии «Дон» фельдмаршал Манштейн заверил его, что вверенные ему войска смогут сильным ударом в короткий срок прорвать извне кольцо окружения, выйти на соединение с армией Паулюса и восстановить положение на Волге и Дону.

Для усиления группы Манштейна Гитлер приказал срочно перебросить десять дивизий из Западной Европы.

И все же советское командование еще надеялось избежать ненужного кровопролития…

Сегодня каждому уходящему на задание экипажу вместе с боекомплектом вручается пачка листовок с текстом ультиматума и обращения к немецким солдатам и офицерам. Во избежание напрасного кровопролития им предлагается сложить оружие.

Все это утро техники под руководством инженера по спецоборудованию капитана Петухова провозились с самолетом Николая Ширяева. Они установили на нем мощную радиостанцию, пропустив громадный рупор динамика через весь

фюзеляж, раструбом наружу к земле. Штурман Ширяева, капитан Лев Овсищер, довольно сносно владеет немецким языком, ему предстоит донести слова правды и благоразумия до немецких солдат.

Ширяев сбавляет обороты двигателя, рокот мотора стихает, и самолет планирует, медленно снижаясь к земле, на минимально допустимой скорости кружится над окопами и блиндажами, над дотами и дзотами, над зенитками, танками, над затаившимися фашистскими войсками.

— Ахтунг, ахтунг! Ди дойчен солдатен унд официрен!..[10]

Самолет кружится над заснеженной равниной, где закопались в землю обреченные гитлеровцы, о жизни которых беспокоится советское командование.

— Немецкие солдаты и офицеры! Дальнейшее сопротивление бессмысленно. Для сохранения вашей жизни советское командование предлагает безоговорочную капитуляцию!

Высота триста метров, двести. Над вражеской территорией едва слышный рокот мотора и металлический голос Овсищера, усиленный динамиком:

— Сопротивление бесполезно… Для сохранения вашей жизни…

Ширяев увеличивает обороты двигателя. Самолет набирает высоту. Молчаливая земля вдруг оживает вспышками выстрелов, расцвечивается голубыми щупальцами прожекторов. Они шарят по небу, разыскивая самолет-диктор. Ширяев отворачивает в сторону.

— Продолжим?

— Давай.

Опять приглушен двигатель. Опять голос Овсищера, многократно усиленный динамиком, несет слова правды, скрытой фельдмаршалом Паулюсом от своих солдат. Смолкают выстрелы. Немцы слушают обращение советского командования.

— Внимание, внимание! Немецкие солдаты и офицеры! Сопротивление бесполезно…

Советское командование… вам… жизнь…

Голос Овсищера слабеет, затухает.

— Что у тебя с аппаратурой? — беспокоится Ширяев и оглядывается назад. Голова штурмана прислонилась к борту кабины.

— Петрович! Лева! Что с тобой?!

— Ничего, Николай. Уже лучше.

Ширяеву видно, как Овсищер вновь подносит к губам микрофон.

— Прекращайте бессмысленное кровопролитие. Советское

командование… гарантирует… жизнь…

Умолк динамик. Хлопают разрывы зениток, ревет двигатель.

— Лева! Левка!!

Молчит Овсищер. Тело его обмякло и медленно сползает на пол кабины.

— Гады! — кричит Ширяев в темноту ночи, в сверкание выстрелов. — Гады! Как бешеных собак! Уничтожать! Собаки! Бешеные собаки!

12 декабря группа армий «Дон» перешла в наступление. Используя громадное превосходство в силах, гитлеровские войска сломали сопротивление ослабленных предыдущим наступлением дивизий 51-й армии и стали быстро продвигаться на север. Устилая путь трупами своих солдат, Манштейн прошел уже половину пути до окруженной группировки Паулюса, но тут перешли в наступление войска Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов. Таким образом, попытка гитлеровского командования выручить окруженные войска закончилась полным крахом. Теперь линия внешнего фронта проходила в ста двадцати — ста шестидесяти километрах от линии фронта внутреннего кольца окружения, и советское командование могло приступить к ликвидации окруженной группировки.

От аэродрома подскока Котлубань до линии фронта четыре километра. Голая степь. Два бензозаправщика и несколько автомашин с бомбами. А еще ветер. И сорокаградусный мороз. Сейчас бы кружку горячего чая! Но даже в нашей столовке на базе, кроме пшеничной каши из плохо очищенного зерна и непонятного происхождения темной похлебки, другого не увидишь. Голодно. Холодно. Не греют меховые комбинезоны, сырые унты на морозе задубели и оттягивают ноги пудовыми веригами…

Десять боевых вылетов за ночь — это двойное пересечение линии фронта. Это десять противозенитных маневров и столько же атак на цель. Это — негнущиеся, покрытые язвами от бензина и масла пальцы техников, обмороженные руки оружейников и лица летчиков.

— Тяжело, Петрович? — спрашиваю у Ландина.

— А тебе легче? — поворачивается техник. — Всем нам этот «котелок», как шило в заднице. Одно хорошо — бьем гадов! Слыхал, вроде наши на Ростов уже двинули.

— Пожалуйста, вылетайте. Бомбы подвешены!

Ох, уж этот Кильшток со своей сверхвежливостью!

— Покурил бы, капитан, с нами, а?

— После войны. В Берлине!

— А не врешь, капитан?

— А что? Закурю! Только, пожалуйста, вылетай. Ведь запоздаешь в Берлин, а?

— Успеем! От винта!

Опять я летаю с Ждановским и никак не привыкну к его окающему и певучему архангельскому говорку. В Архангельске осталась его семья, и воспоминания о ней заставляют лучиться теплом удивительно светлые и по-детски чистые глаза Ждановского. Но теперь мне не видны глаза Николая. Вообще ничего не видно — ночь! Ночь. Прожекторы и зенитки. Где-то под снежной белизной скрылись вражеские доты, которые мешают продвижению нашей пехоты. Мы должны обнаружить их и уничтожить.

Темнеют длинные цепочки извилистых ходов сообщений, едва заметны тропинки, протоптанные солдатами противника. А вот какой-то холм. Дот? Возможно. Конечно, дот! Вон к нему тянутся голубые пунктиры пулеметной трассы с нашей стороны. Наверное, пехота слышит гул нашего мотора и пытается помочь, указывая цель. Спасибо, друг пехота!

— Так держать!

Черными султанами вздымается поднятая взрывами земля. Из укреплений появляются темные точки — фигурки солдат.

— Пулеметом их, Николай, пулеметом!

Длинные очереди пулемета Ждановского прижимают вражеских солдат к земле.

Возвращаясь к себе, недоумеваем, почему погашены огни на аэродроме. Темноту ночи рассекает только короткая очередь трассирующих пуль.

— Может, немцы прорвались? — спрашивает Ждановский.

— Вроде не должны. Захожу на посадку.

— Заходи. Однако я приготовлюсь…

Мне видно, как Николай разворачивает пулемет на левый борт и вставляет новую ленту. На старте нас встречает одинокий Ландин.

— Что случилось, Петрович? Где оружейники, заправщики?

— Вон, к фрицу понеслись. Видишь, на пузе лежит? Втроем идем к чернеющей поодаль громаде фашистского самолета. Летел он на аэродром «Гумрак», который находится в двенадцати километрах от нашего.

Видимо, увидев огни старта и ракеты с земли, поданные командиром полка (они совпали с условным сигналом!), экипаж совершил посадку на нашем аэродроме и подломал «ноги» своему «Кондору». Летчики даже не имели представления об окруженной группировке — на их карте линия фронта по Волге!

«Кондор» до отказа забит посылками для офицеров и какими-то картонными коробками. Кто-то освещает коробки фонариком, кто-то достает из них банки с консервами…

— Братцы! А союзнички-то на два фронта работают!

— Тушенка — американская!..

Вот вам и бизнес. Говорят, у американцев бытует пословица: «Деньги не пахнут!» Нет, господа, пахнут! За эту тушенку — пахнут кровью!

Перехвачена шифровка, в которой Гитлер предлагает Паулюсу специальным самолетом прибыть в Берлин. Уж не этот ли «Кондор» спешил за вновь испеченным фельдмаршалом? Наше командование решает: Паулюс не должен улететь! Ему отвечать за безрассудное кровопролитие, за неоправданную жестокость. Для этого принимаются соответствующие меры.

Днем над немецкими аэродромами висят «Петляковы», «Ильюшины», «Яковлевы» и «Лавочкины». Ночь отдана нам — небесным тихоходам.

Самолеты парами по часу барражируют над каждым аэродромом противника. Интервал между сменами — полчаса. Таким образом, в воздухе постоянно находятся четыре самолета, которые ходят по большому кругу в постоянной готовности к атаке.

Мы со Ждановским барражируем над аэродромом в районе Большой Россошки.

— Осталась одна минута, командир! — докладывает Ждановский.

Я смотрю на часы. Да, время нашего барражирования истекает, можно брать курс на свой аэродром.

— Коля, давай сбросим бомбы вон на те зенитки!

— Однако, можно, — соглашается Ждановский. Неожиданно внизу вспыхивают желтые и зеленые огни старта.

Разворачиваю самолет на курс, пересекающий посадочную полосу. Внизу отчетливо виден идущий на посадку «Юнкерс-52». Вот он включает посадочные фары, и от них бегут по снегу светлые эллипсы.

— Коля, бомбы!

Тусклыми вспышками лопаются фугаски перед носом фашистского самолета. Откуда-то из темноты к нему тянется длиннющая пулеметная очередь. Гаснет старт. «Юнкерс» уходит на второй круг.

— Доверни вправо! Так! Хорошо!

Ждановский короткими очередями бьет по темному силуэту «Юнкерса». Он яростно отстреливается. Но вот к нему еще с нескольких сторон тянутся огненные трассы, и «Юнкерс» вдруг

устремляется к земле, оставляя за собой дымный шлейф.

— Готов! — радостно кричит Николай.

А в небе беснуются немецкие прожекторы и зенитки. Я вижу в луче прожектора светлую точку самолета, к которой тянутся густые пучки трассирующих снарядов, и чуть доворачиваю машину, чтобы Николаю было удобно стрелять.

— Помоги товарищу, Коля!

После первой же очереди лучи прожекторов перебрасываются к нам. Я смотрю только на приборы. Смотреть по сторонам нельзя — мгновенно ослепнешь. Но Николаю не пилотировать самолет, и он отстреливается, направляя очереди пулемета прямо по лучу прожектора. От рева мотора, близких разрывов и треска пулемета Ждановского почти глохну. И вдруг пулемет смолкает. Страшная мысль.

— Коля?! Жив?

— Однако, жив.

— Так давай! Давай!..

— Пулемет оторвало!

— Как — оторвало?

— Просто. Снарядом из рук вышибло. И турель оторвало. Дырка на ее месте…

— Большая?

— Однако, я пролезу…

Я не могу ничего ответить: меня трясет беззвучный смех.

Десять вылетов за ночь — много. Очень много. А меньше нельзя: необходимо возможно скорее подавить сопротивление гитлеровцев в «котле» и двинуться на запад вслед за наступающими войсками остальных фронтов.

И мы летаем, хотя измотаны вконец. Спать хочется даже в воздухе. Наш полковой врач Элеонора Дибич, используя женское очарование и волю солдата, выбивает прибавку к скудному пайку в виде тоненькой плитки шоколада, который выдают раз в неделю. Командир полка, в свою очередь, отдает приказ: ежедневно в эскадрильях один экипаж освобождается от полетов. Один день без войны. Как это оказывается много!

Сегодня выходной экипаж лейтенантов Мягких и Мочалова. Целый день они будут отсыпаться на деревянных нарах общежития в тепле деревенской избы, а вечером отправятся в сельский клуб на танцы. Танцы в клубе почти каждый вечер. В селе штаб дивизии, штаб полка и батальон аэродромного обслуживания, состоящий в основном из девчат.

Каждый из нас мечтает о том, чтобы хоть раз в месяц сбросить с себя опостылевшие унты, освободиться из тяжеленного комбинезона и налегке — в сапогах и шинели — пробежаться к

манящему теплу клуба. А там… Эх, девчонки и в военной форме остаются девчонками! Всех нас влечет женское обаяние, каждому приятна милая, ничего не значащая болтовня, многозначительные взгляды и улыбки. Близость девчат заставляет учащенно биться сердце и переполняет все существо каким-то необъяснимым волнением, от которого немножко страшно и в то же время радостно.

Веселье царит в клубе. Люди приходят сюда, чтобы забыться от страшной действительности, вспомнить милые довоенные годы и помечтать. Да, помечтать! Какими сказочными красавицами кажутся наши девчонки из БАО в мерцающем свете коптилок, в легком шуме веселых голосов, в чарующих звуках музыки. От них исходит волнующий, только им присущий тончайший аромат — смесь запаха духов, свежескошенного сена и еще чего-то непонятного, но страшно приятного и волнующего.

Мы давно соскучились по тишине, элементарным понятиям уюта — по всему, что осталось там, в далеком мирном времени. Война владеет нашими мыслями, разговорами и делами. Ее железная рука подчинила себе все! И никакие не красавицы наши девчонки из БАО… У них такие же обмороженные руки с потрескавшейся кожей, такие же усталые глаза, и не запахом изысканных духов пропитан вокруг них воздух — разит военторговский одеколон «Кармен» в смеси с земляничным мылом. Но они так же хотят забыть на мгновение о служении кровожадному Молоху, хоть на мгновенье почувствовать себя просто человеком, не солдатом, а женщиной…

Поскрипывая и покряхтывая на ухабах, жалуется на свою нелегкую военную судьбу старенькая трехтонка.

Она ползет со скоростью черепахи, но летчики не замечают этого. Они спят. Спят сидя и стоя — кто как пристроился в кузове. И в столовой нет обычных разговоров и возбужденных рассказов о недавних полетах. У всех на уме одно: скорей проглотить немудрящий завтрак из кружки чая да двух черных сухарей и спать. Ох, как хочется спать!

В большой почти квадратной комнате общежития на грубо сколоченном столе, придвинутом вплотную к двухэтажным нарам, возвышается стул, на котором восседает штурман Мочалов. Вся его одежда состоит из пилотки, трусиков и сапог. Голый живот штурмана опоясан ремнем, из расстегнутой кобуры виднеется рукоятка «ТТ». Руки Мочалова скрещены на груди, выглядит он важно и величественно.

— Входите, входите, мои подданные! — произносит штурман, едва мы переступаем порог комнаты.

— Артист! Ошалел, что ли? Мы совсем не расположены к

шуткам — скорей бы спать!

— Кто смеет грубить мне, вашему королю?! — Вороненый ствол пистолета ползет по нашим лицам. — Кто смеет оскорблять своего монарха?! Ты? Или ты?

Ствол пистолета тычется в сторону одного, другого. Кто-то пытается проскользнуть в дверь.

— Стой! От двери! Вы забыли правила этикета, мои подданные. Король милостив, но он может быть и жесток…

— Готов, — шепчу я на ухо Борису. — Чокнулся.

Мы все стоим у противоположной стены под дулом пистолета Мочалова. В кого первого пошлет он пулю?

— Надо обезоружить, — шепотом отвечает Борис. — Пошли. С двух сторон.

— Кто там шепчется?

Опять ствол пистолета скользит по нашим лицам. Что стоит ему нажать спуск?.. Черное отверстие замирает на моей переносице.

— Не вы шептались?

— Нет… Я…

— Не забывайте добавлять «ваше величество»! Итак, вы шептались?

— Нет… ваше величество.

— Вы делаете успехи, мой лейтенант. Не исключено, что я подумаю о вашем производстве… Руки! Вы пытаетесь обнажить оружие?

Пистолет Мочалова нацелился в другую сторону. Мы с Борисом обмениваемся мгновенным взглядом и шагаем вперед.

— Стой! Один ко мне, остальные на месте! Пистолет вновь уткнулся в мою переносицу. По коже ползут неприятные мурашки.

— В трудах ты обрящешь счастье… Сыми сапоги, чадо!

Я кошусь взглядом на направленный в мою голову пистолет, шагаю к столу, протягиваю руки к мочаловскому сапогу и — недаром в училище столько часов было затрачено на самбо! — одним ударом выбиваю пистолет из его руки. В то же мгновение ко мне на помощь бросается Борис, наваливаются на Мочалова и остальные ребята.

— Анафема! Анафема! — вопит Мочалов. — Устал! Устал, дети мои! Уложите спать…

Мы укладываем его обмякшее тело на нары и укрываем одеялом. Мочалов вздрагивает мелкой дрожью и приглушенно бормочет:

— А вчерась жандармиха ездила с Коськой-буфетчиком за реку… Не унывай, жандарм!..

Кто-то советует сходить за врачом.

— Братцы, шоколадку бы, а? — неожиданно просит Мочалов. И тут мы замечаем на столе горку шоколадных плиток — паек летчиков эскадрильи.

— Здарылось же таке… — горько вздыхает Иван Казюра. — От лышенько! Як, хлопцы, усе оддамо?

— Весь! Отдавай весь!

Иван сгребает шоколад и сует его под одеяло Мочалову. До нас доносится шуршание бумажек и аппетитный хруст. Через минуту из-под одеяла высовывается улыбающаяся физиономия Мочалова.

— Отличный шоколад! — довольно говорит он. — Здорово я вас, а?

Первым в него швыряет подушку Борис. Следом летят комбинезоны, унты — все, что попадает под руки.

— От ж мастер! — восторгается Казюра. — Артист! Та ще який!

В это время распахивается дверь, и в клубах пара появляется комиссар полка.

— Смирно! — командует Казюра, ближе всех оказавшийся к двери. — Товарищ комиссар, вторая эскадрилья отдыхает после полетов…

— Ничего себе отдых! — смеется комиссар. — Бои местного значения! А еще говорят: летчики переутомились. Не перевелись силы, хлопцы?

— Не перевелись, товарищ комиссар!

— Тогда пять минут на сборы. Построение возле штаба. Форма — шинели и сапоги…

Полк выстроен широким каре: три стороны его — летчики, штурманы, оружейники и мотористы, четвертая — офицеры штаба. В середине стол, накрытый красным.

Командир полка громко командует:

— Смирно! Равнение на средину! Товарищ член Военного совета, шестьсот восьмидесятый авиационный полк выстроен по вашему приказанию!

— Здравствуйте, гвардейцы!

Ответ прозвучал разноголосо. Приветствие явно обращено не к нам.

— Плохо отвечаете! — улыбается член Военного совета. — Или думаете, я не к вам обращаюсь? К вам, к вам. А теперь… Смирно! Слушай: «Приказ Верховного Главнокомандующего…»

Застыли в строю летчики, штурманы, техники. Слушают приказ, в котором перечисляются недавние боевые дела. Вспоминают те дни, вспоминают товарищей, которым уже

никогда не встать в строй…

— «…Приказываю: за мужество и проявленный героизм шестьсот восьмидесятый авиационный бомбардировочный полк переименовать в сорок пятый гвардейский…»

Тяжелый бархат пурпурного полотнища знамени чуть колышется на ветру. Командир полка склоняет перед ним колено и целует край знамени. И все мы опускаемся на колено, повторяя за командиром слова гвардейской клятвы: «Ни шагу назад!»

Будто ничего и не произошло. Мы такие же, как и были час назад. Такие? Нет, мы другие! Мы выстояли! Впереди еще много боев. Мы не отступим. Мы — гвардия!..

За боевые отличия, стойкость и массовый героизм личного состава, проявленные в Сталинградской битве, приказом Верховного Главнокомандующего были не только преобразованы в Гвардейские некоторые полки и дивизии 16-й воздушной армии, но одновременно им были присвоены почетные наименования Сталинградских.

В феврале 1943 года после разгрома немецких войск под Сталинградом решением Ставки Верховного Главнокомандования был образован Центральный фронт во главе с генералом армии К. К. Рокоссовским. Войска фронта развернулись между Брянским и Воронежским фронтами и приняли участие в боях на орловском направлении, образовав северный фас Курской дуги. Сюда же из-под Сталинграда передислоцировалась и 16-я воздушная армия, в состав которой входили наша 271-я ночная бомбардировочная авиадивизия и наш 45-й гвардейский полк.

Задание будет выполнено!

Глубокий снег на полях в один день осел и пропитался до самой земли влагой. Веселые, звонкие ручьи устремились с холмов в низины, образуя недолговечные озера талой воды. Пришла весна, а с нею распутица, которая вывела из строя все полевые аэродромы. Фронтовая авиация получила кратковременный отдых от непрерывных боев.

Но мы летаем. Великими усилиями БАО и полкового технического состава на взлетной полосе сохраняется снежный покров. На день полосу прикрывают соломой от палящих лучей солнца, ночью солому сгребают в сторону, и взлетают самолеты, разбрызгивая лыжами воду и ошметки талого снега, перемешанного с грязью.

Взлетать с такой ограниченной полосы трудно. Поэтому на задания уходят самые опытные экипажи. Цель полетов — фоторазведка и «свободная охота».

Фоторазведка для нас — новое дело. Мне легче — это было в программе военного училища. Несколько занятий, проведенных с нами инженером по спецоборудованию Петуховым и офицерами из разведотдела дивизии, позволили нам получить общее представление об аэрофотосъемке. Теперь же надлежит овладеть практикой.

Основное внимание уделяем определению направления и интенсивности передвижения войск противника, изучению системы его зенитной обороны, концентрации техники и живой силы, расположению артиллерийских точек. Все эти данные суммируются затем в разведотделе фронта и, дополненные данными, полученными другими видами разведки, представляют цельную и развернутую картину дислокации войск противника и характеристику его огневой мощи.

А весна берет свое. Кое-где уже подсыхают и пылятся дороги, появились первые побеги зелени, и наша снежная полоска превратилась в длинную грязную лужу. Техники переставили самолеты с лыж на колеса, тяжелый тракторный каток прошелся вдоль поляны у леса, и уже готова новая взлетная полоса.

Откуда-то из тыловых заводов летчики специального перегоночного полка пригнали два десятка самолетов с усиленными двигателями, большей грузоподъемностью и скоростью. Прибыло и пополнение — летчики и штурманы, только что выпущенные из специального училища. Пока они учатся искусству дневных и ночных полетов, воздушной стрельбе и бомбометанию, наши шесть наиболее опытных экипажей,

прозванных полковыми остряками «двенадцатью апостолами», продолжают разведывательные полеты. Но учеба не обходит стороной и нас — изучаем эрэсы, которые техники-оружейники устанавливают на наших машинах, учимся пользоваться ночным коллиматорным прицелом. И опять учебные полеты, учебные стрельбы… Реактивный снарядишко до смешного мал и на первый взгляд не внушает никакого доверия, но при более близком знакомстве вызывает восхищение. Окутанный снопом багрового пламени, он сходит с балки с таким ревом, что кажется, будто самолет от этого грохота не только останавливается, но даже пятится назад. Огненная дуга прочерчивает весь путь снаряда и, встречаясь с землей, далеко разбрасывает стог прошлогодней соломы — цель. Что и говорить, «катюша» в миниатюре — грозное и совершенное оружие!

Наконец после длительного перерыва полк получает боевую задачу уничтожить железнодорожный разъезд южнее Брянска. Разъезд до того мал, что на наших картах даже не имеет названия. Однако, по данным партизанской разведки, на этом разъезде концентрируется боевая техника и живая сила противника, а в прилегающем лесу имеются значительные склады боеприпасов.

Нашему командованию уже известно, что гитлеровцы начали подготовку к операции «Цитадель», цель которой рассечь и окружить наши войска на Курской дуге. Перед тем как приступить к осуществлению такой значительной операции, немецкое командование решило разделаться с партизанами Брянщины. Боевая техника и войска, сосредоточенные на безымянном разъезде, предназначены для карательной экспедиции против партизан. Необходимо сорвать планы карателей.

С наступлении темноты полк поднимается в воздух. Небо затянуто плотными облаками. Темно, как только бывает в эту пору ранней весной. Даже в речонках и лужах нечему блеснуть, нечему отразиться — чернота земли слилась с чернотой неба, и самолет плывет в растворе туши.

— Ты что-либо видишь? — спрашивает штурман Николай Пивень.

— Приборы…

— Не густо.

— Но глаза штурмана — глаза кошки. Что же видят твои кошачьи глаза, Коля?

— Черный шлем моего командира, а под ним… Погоди, погоди! Кажется, под шлемом ничего нет! Пустота…

— Спасибо.

— Лопай на здоровье.

Обычный стиль нашего общения. С Колей нас связывает давнишняя дружба, рожденная еще в стенах училища. Сухой, поджарый, с тонкими, длинными пальцами скрипача, с аналитическим складом ума и недюжинными способностями к математическим наукам, Николай обладает еще даром острого слова, едкой шутки. Нет, он не принадлежит к сословию штатных полковых остряков, не терпит пустословия и глупости. Незнание и неумение, с его точки зрения, самые отрицательные качества человека. Сам-то он, помимо отличного знания штурманских обязанностей, хорошо разбирается в различных системах оружия, а при нужде может заменить моториста, но сейчас в этой кромешной тьме даже Николай не может отыскать цель.

Мой взгляд выхватывает из темноты световой конус САБа.[11] Но вспышек бомбовых разрывов не видно, не видно, чтобы стреляли зенитки немцев. Они понимают, что нам не удается обнаружить цель, и затаились, выжидая. А сбросить свои бомбы, чтобы подзадорить фашистских зенитчиков, никто не решается: рядом свои, партизаны…

Говорю Николаю, что горючего осталось только на обратный путь.

— Подожди минуту, сброшу САБы.

— Бросай.

Но и свет наших САБов освещает лишь клочок какого-то леса, болото, кусок невспаханного поля.

— М-мда, — вздыхает Николай. — Придется отбомбиться по огневым точкам на переднем крае.

Наверное, это самое разумное решение в данной ситуации и вылетать в дальнейшем надо будет чуть раньше, еще засветло. Правда, тогда труднее будет пересечь линию фронта, но другого выхода нет.

— Вот черт! — нарушает ход моих мыслей Николай. — Туман! Только этого еще не хватало…

— А как бомбы?

— Ты разберешься, где свои, где чужие?

— Ты предлагаешь везти бомбы на свой аэродром?

— А ты что предложишь?

— Кончай ты эти вопросы! Мы никогда не возвращались с бомбами. Стыд и позор!

— Разделим пополам. А ты еще вернись-ка на свой аэродром. Туманище-то какой…

Сегодня на аэродром не вернулось несколько экипажей. В том числе и экипаж Бориса Обещенко.

Если на полетной карте проложить прямую от нашего

аэродрома до этого злополучного разъезда, то линия разделит примерно пополам громадный выступ Курской дуги. Стоит отклониться от нее севернее хотя бы на пятьдесят километров, и самолет все время будет идти над территорией, занятой противником.

Экипаж Обещенко — Овсищер не смог обнаружить цели и также оказался в зоне тумана. В таких случаях инструкция по производству полетов предписывает экипажу идти в сторону своих войск до полной выработки горючего и, в случае невозможности произвести посадку, оставить самолет и выброситься на парашютах. Так гласит инструкция. Но как может солдат расстаться с оружием? Как может летчик бросить своего друга?

И они шли на восток. Горючего остается на тридцать-сорок минут. Неужели выбрасываться, неужели оставлять самолет?

— Земля! В разрыве тумана виднеется темное пятно земли.

— Давай САБ!

Световой круг ползет над туманом, выходит на разрыв, и Обещенко становится видна какая-то деревушка, овраг и кусок ровного поля…

— Площадка!

— Вижу! Приготовь ракеты. Перед землей подсветишь.

Борис круто разворачивается и заходит на едва различимый клочок поля. Гаснет САБ, роняя последние искры.

— Ракеты!

Овсищер выпускает ракеты. Одну за другой. Чтобы летчик мог нащупать землю и избежать препятствия. Толчок, затем удар…

— Приехали, — устало заключает Борис — Ну, штурман, где уселись?

— По расчетному времени, в районе Курска или еще чуть восточнее. Выключай двигатель, пойдем в деревню — узнаем.

— А ты уверен, что в районе Курска? Не запороли к немцам?

— Почти уверен. А для полной убедительности пошли в деревню.

— Пошли.

— А мотор? Выключай.

— Пусть работает. По звуку легче будет вернуться.

Вроде отошли совсем недалеко, но волны тумана успели скрыть самолет и растворить в себе тихое бормотание мотора. Тишина. Лишь где-то впереди едва слышный лай собак.

— Вот и деревня! — восклицает Борис. — Собаки лают.

— А мне это не нравится.

— Боишься собак? — смеется Борис.

— Немцев, — обрывает Овсищер.

— Скажешь!

— Стой!

Лай то приближается, то удаляется. Слышны людские голоса.

— Пошли! — торопит Борис. — Наверное, разбудили людей — такой фейерверк устроили перед посадкой! Наверно, нас ищут.

— Тихо! — Овсищер прислушивается. — Борис, кричат немцы…

— Назад! К самолету!

Они бегут назад. Людские голоса и собачий лай все ближе. Они бегут. Останавливаются. Пытаются услышать звук работающего двигателя. Туман смешал землю и небо, скрыл в себе очертания предметов, растворил все звуки… Только собачий лай слышен все отчетливей с каждой секундой. Он уже совсем рядом! Борис оглядывается и видит искаженную туманом, увеличенную до неестественно громадных размеров овчарку. Он вскидывает пистолет и стреляет в ее ощеренную пасть. Как треск разрываемого холста, вспыхивают короткие автоматные очереди.

— Руссише флигер! Фоер! Фоер![12]

И уже виднеются темные силуэты вражеских солдат. Обещенко и Овсищер бросаются в сторону. Безразлично куда, лишь бы укрыться в тумане от преследователей. Тонко тренькают пули над головами, грохочут близкие выстрелы. И вдруг впереди вырастает их темная птаха, спокойно пофыркивающая мотором.

— Скорей!

Борис уже на крыле. За ним — Овсищер. Пристегиваться, надевать парашют некогда: из тумана показываются немцы. Борис дает газ. Фигурки немецких солдат уже позади. Овсищер выпускает в них длинную очередь.

— Курс на юг, Борис! Только на юг!

Двигатель тянет последние литры горючего. Стрелка бензомера подошла к нулю и остановилась. А внизу все тот же туман. Мотор булькает, всхлипывает и замолкает. Только свист ветра в расчалках крыльев. Борис гасит скорость. Самолет входит в туман. Овсищер упирается руками в борт кабины. Ему видно, как из-под шлема Бориса выползают капельки пота и стекают по напряженной шее, и он ничем не может помочь другу.

Мягко шуршат колеса. Самолет замедляет бег и останавливается. Овсищер приникает к пулемету. Борис достает пистолет и гранату…

— Хлопцы! Эй, хлопцы! «Кукуруза» прилетела!

Овсищер перебрасывает пулемет в походное положение, Борис достает папиросы. Почему-то ломаются и гаснут спички…

Командир дивизии генерал Борисенко приехал днем. Прошел

в штаб и, ни с кем не здороваясь, приказал построить полк.

— Полк не выполнил задания! — бросил он гневно. — Это равносильно отступлению! Привезли бомбы назад, на свой аэродром, не поразив цель. Понятно, не справились бы с задачей неопытные летчики, но… отступили гвардейцы! Несмываемый позор на вашем знамени. Партизаны задыхаются, гибнут под ударами карателей, а вы… Не достойны вы гвардейского звания. Унесите знамя!..

Мы стоим в строю, понурив головы, и провожаем глазами гвардейское знамя. В сердце каждого больно отдаются слова командира дивизии. Отступили… Не выполнили приказа… За это расформировывают полк… За это лишают гвардейского звания…

Если бы разрешили повторить вылет… Если бы разрешили!..

— Разрешите, товарищ генерал?

Перед строем командир полка. Он почему-то снял с головы фуражку и мнет ее тревожными пальцами.

— Разрешите, товарищ генерал, искупить свою вину. Разрешите повторить вылет?

— Не только разрешаю — приказываю! Поставленная задача должна быть выполнена. И прошу понять, товарищи, от вашего успеха зависит судьба партизанского края.

— Задание будет выполнено! — четко отвечает командир.

Задание будет выполнено. Для этого командир со штурманом полка Василием Гуторовым вылетают первыми. Вылетают еще днем, с таким расчетом, чтобы в сумерках выйти на цель. Вслед за ними поднимается полк. Интервал между самолетами — одна минута.

Гуторов прихватил в кабину два ящика трофейных зажигалок. Эти килограммовые бомбы горят пять минут. С наступлением сумерек ведущий сбросит зажигалки и обозначит световыми ориентирами всю трассу до цели.

И пусть ощерится вспышками зениток, желтыми гирляндами «эрликонов»[13] линия фронта.

Самолеты все равно не свернут с трассы, проложенной командиром!

Быстро сгущаются сумерки, темнота постепенно окутывает землю, размывает ориентиры. Но горят внизу зажигалки, полк выходит на цель. В небе повисает один огонь САБа, второй, третий. Это штурманы высвечивают разъезд. И на земле рвутся первые бомбы. К нашим самолетам тянутся лучи прожекторов, подбираются разрывы снарядов, но полк наращивает удар. Одна за другой летят в цель бомбы, на земле разгорается дымное пламя. К взрывам бомб примешиваются многочисленные взрывы снарядов, занимается какая-то емкость с горючим, и языки

громадного костра полощут небо. Уже отбомбилась одна эскадрилья, другая, заходит третья, а первые самолеты спешат на аэродром за новым боекомплектом для повторного удара. Как маяк в ночи полыхает и бушует пламя…

Последние самолеты заруливают на стоянки. Стихает рокот моторов.

— По-олк! Становись! Смирно! Равнение на знамя! — Плывет перед строем, трепыхается на ветру крыльями дивной птицы пурпурное полотнище святыни полка — его честь, его слава, его клятва «Ни шагу назад!».

— Спасибо, гвардейцы!

— Служим Советскому Союзу!

Донесение из разведотдела воздушной армии: «По сообщению штаба партизанского движения, бомбовым ударом вашей авиации уничтожено и повреждено 12 танков, 6 самоходных орудий, более 20 автомашин, уничтожены склады с горючим и боеприпасами. Установить точно количество убитых и раненых не представляется возможным».

Гвардии Шурочка

Полк, кроме экипажей-разведчиков, отдыхал. Днем шли занятия с новым пополнением, осмотр и ремонт самолетов, вооружения, а вечером летчики собирались в сельском клубе на танцы. Задумчивые звуки вальса сменял веселый ритм фокстрота, усталый Николай Ширяев передавал баян Володе Мехонцеву и тут же лихо отплясывал цыганочку.

Полк отдыхал. И каждый стремился забыть о войне, хотел уйти от нее хотя бы в своих мыслях.

Но война рядом.

За ближним лесом, в десяти километрах от нас, каждую ночь работал ложный аэродром: вспыхивали огни посадочных прожекторов, загорались посадочные фары «самолетов», двигались по клеверному полю разноцветные светляки АНО. Лучи автомобильных фар выхватывали из темноты светлые силуэты «самолетов» и неуклюжие короба «бензозаправщиков».

Команда ложного аэродрома всерьез приучила немцев к мысли о существовании «большого действующего аэродрома». Приучила до того, что вчера с самолета-разведчика были выброшены два диверсанта. Один погиб в перестрелке, второй, с компактной радиостанцией в рюкзаке, показал на допросе, что немецкое командование серьезно обеспокоено наличием такого крупного аэродрома и его радиостанция предназначалась для обозначения этого аэродрома. Командир полка приказал отвезти ее на ложный аэродром. Сегодня армада фашистских самолетов целый день утюжит клеверное поле. Но к вечеру «аэродром» вновь оживет. А наши самолеты надежно спрятаны под густыми кронами цветущих яблонь. Они как бы растворились в весеннем аромате цветов, в деловитом жужжании пчел, в свободном дыхании теплой, прогретой солнцем земли. И невдомек врагу, что так насоливший ему полк ночных бомбардировщиков притаился под мирной кроной цветущих яблонь, что взлетно-посадочной полосой служит проселочная дорога.

За колхозным садом, где стоят наши самолеты, течет безымянный ручей. В давние времена перегороженный земляной гатью, он образовал неглубокое озерцо, поросшее по берегам густыми зарослями камыша. В камышах нашли себе приют бесчисленные соловьи. Вечером или ранним утром они рассыпают вокруг разнообразные трели или задумчивое чоканье. Чок-чок! Чок-чок!.. Какая музыка сравнится с соловьиным пеньем? Разве только голоса наших девчат. Соберутся они вечерком на взгорке около озера и затянут песню, да такую, что сам не знаешь

— то ли смеяться, то ли плакать. Даже соловьи от зависти умолкают. Или хотят перенять мелодию девичьих песен?

Много у нас тогда в полку было девчат — оружейницы, техники, прибористки.

Среди них как-то незаметно появилась Шурочка. Маленькая, щупленькая, с тяжелым узлом русых волос на затылке, с неброской красотой русской женщины. Нет, ничем не выделялась среди наших девчат Шурочка. А вот голос ее!.. Несильный такой, но задушевный, ласковый. Будто и не поет, а берет нежными руками прямо за сердце и заставляет забыть все — только слушай! И сидел бы до утра рядом с ней на взгорке, и слушал бы ее, слушал.

Но каждый вечер нас вызывают на КП.

Шесть экипажей, двенадцать парней. И каждый вечер начальник штаба полка Кудрат Джангиров докладывает командиру:

— Товарищ гвардии майор, экипажи-разведчики готовы для выполнения задания!

Готовы… А нам бы тоже послушать песни, посидеть у озера…

Перед строем плывет развернутое знамя и застывает на правом фланге, рядом с входом в землянку КП. Там оно будет стоять под охраной молчаливых автоматчиков до тех пор, пока последний самолет не вернется с задания и не скроется под защиту яблоневых ветвей. Пусть сегодня уходят в небо только наши шесть экипажей, это ничего не значит, все равно в небе — гвардия! Шесть экипажей, двенадцать человек ушли в бой, и трепещет взволнованно на ветру знамя Родины. Помни о нем, гвардеец!

— Смирно! Слушай боевой приказ!..

Слова приказа известны на память, так же как известны и маршруты разведки. Память надежно хранит конфигурацию всех перелесков, линии дорог, излучины. Малейшее изменение в знакомых картинах должно обратить на себя внимание, насторожить, заставить понять, разгадать. По любым кажущимся мелочам мы должны определить главное — передвижение и дислокацию войск противника.

Наш маршрут прост: от линии фронта по прямой до Карачева, от него поворот вдоль шоссейной дороги в сторону Орла, затем от Орла параллельно железной дороге на юг к линии фронта.

Последние дни мы отмечаем усиленное движение автотранспорта противника даже на проселочных дорогах. Но есть в этом движении что-то для нас непонятное: машины в основном направляются в тыл.

— Неужели собрались драпать? — высказываю свои сомнения.

— Что-то странно, — отвечает Николай. — Давай поглядим. Подумаем.

— Может, швырнем по бомбочке?

— Погоди.

Я и сам знаю, что тратить боекомплект на отдельные автомашины не имеет смысла. Вот встретилась бы большая колонна, тогда можно не только бомбы сбросить, но и спустить с балок эрэсы, пошуметь пулеметами. Но мне непонятно происходящее в стане врага, а все непонятное требует определения.

Неожиданно впереди по курсу в небо упираются голубые лучи прожекторов.

— Орел, — докладывает Пивень. — Пора менять курс.

Впереди должна быть железная дорога, скрытые темнотой, настороженные и следящие за нами станции Змиевка и Глазуновка. А еще дальше, это уже за линией фронта, на нашей территории — Поныри.

— Коля! Смотри, вроде паровоз!

— Спокойно, старина! Ноль один десять. Высота тысяча. Станция Глазуновка. — Это Николай вслух комментирует свои записи — условные значки на карте, призванные рассказать о виденном, указать точное время и высоту, с которой производилось наблюдение.

Внизу клубится белое облачко.

— Паровоз! Эшелон! Точно!

— Тебе не кажется?

— Если тебе кажется — крестись! Помогает. Но Николай против обыкновения уклоняется от обмена остротами.

— Заходи на фотографирование! Боевой курс сто восемьдесят градусов! Заходи! Я молча разворачиваю самолет на заданный курс.

— Обиделся? Разведка — наука точная! Без твоих эмоций. Доходит?

Меня подмывает непреодолимое желание бросить в ответ какую-нибудь колкость, но команды Николая сдерживают едва не прорвавшееся «красноречие».

— Правее! Еще пять градусов! Так держать!

Теперь пусть рвутся снаряды по сторонам, пусть дымные шары разрывов расцветают облачными шапками перед самым носом самолета. Пусть! Я должен держать так, а не иначе, чтобы проявленные, поднятые и дешифрированные снимки легли на стол разведотдела армии и помогли разгадать планы противника.

Кто знает, может быть, снимки, сделанные нами, спасут не одну солдатскую жизнь.

— Так держать!

Как близко ложатся разрывы. Совсем рядом проносятся огненные хвосты «эрликонов». От напряжения ноет спина, с трудом сдерживаю желание отвалить в сторону, свернуть, уйти от гремящего огня.

— Так держать!

Только бы не попали в бензобак или в мотор. Пусть уж лучше — в крылья. Кажется, я их ощущаю, как собственное тело. И не думаю о страхе, о возможной смерти. Странно. Я ощущаю радость. Будто каждый пролетевший мимо снаряд подарил мне жизнь. До следующего снаряда. Ожидание мгновенного удара, смерти и… радость! Я опьянен этим необычным смешением чувств и уже не могу молчать. Мне хочется поделиться своим открытием с Николаем, хочется услышать его голос.

— Не засветят пленку, гады?

Но Николай прозаик. Он занят делом. Мне видна его голова, приникшая к прицелу, видны его тонкие пальцы на бомбосбрасывателе.

— Так держать!

Вспышки ФОТАБов[14] на миг выхватывают из темноты белые станционные постройки и красные коробки двух эшелонов. Где-то за станцией поднимаются и неумолимо движутся на нас грозные мечи прожекторов.

— Отваливай! Заходи на бомбометание!

Самолет уходит в сторону от разрывов, от жадных щупалец света. Разворот, еще разворот.

Хищные клювы взрывателей фугасок нацелены на эшелоны.

— На боевом! Так держать!

И опять это приподнятое, радостно-бесовское чувство опьянения боем. Опьянения? Нет.

Трезвого расчета и уверенности — задание будет выполнено!

— Не забудь сосчитать батареи! — кричу Николаю. — Разведка — наука точная!

— Подсчитал. И еще двадцать прожекторов. Доволен? А курс держи. Не на танцах. Чуть лево. Так держать!

Ага, бомбы оторвались! Узнаю об этом по легкому вздрагиванию самолета. В пустынном небе еще злобствуют зенитки и пытаются дотянуться до нас лучи прожекторов, но мы уже идем на юг, к линии фронта.

— Теперь тебе понятно направление движения транспорта?

— Будут драпать? — наивно подзадориваю Николая.

— Наивность! Подтягивают технику и резервы, а в тылы

гонят порожняк. Очень торопятся фрицы. Потому и не маскируют порожний транспорт. А зенитная оборона? Такого здесь еще не было…

— Профессор!

— Не язви! Считаю, что удар готовится где-то в районе станции Поныри. И скоро. Очень скоро. Согласен?

— Вижу. В разведдонесении подчеркни: готовится удар в районе станции Поныри!..

* * *

…После Сталинграда и зимней кампании 1942/43 года перед блоком фашистских государств встала мрачная перспектива проигрыша войны. Чтобы поднять дух своих сателлитов и изменить ход войны, Гитлер начал готовить крупное летнее наступление, хвастливо заявив, что зиму он отдает русским, а лето существует только для немецких побед.

По плану операции, названной гитлеровским командованием «Цитадель», наступление должно было развернуться в районе Курской дуги. Одновременным ударом с севера и юга гитлеровцы рассчитывали окружить находящиеся внутри дуги советские войска, уничтожить их и нанести стремительный удар в тыл Юго-Западного и Брянского фронтов.

В течение нескольких месяцев Германия усиленно готовилась к этой операции. Немецкая армия получила огромное количество танков новых систем — «пантера», «тигр» и самоходных орудий с мощными пушками и усиленной броней. Кроме этого, здесь, на Курской дуге, были сосредоточены очень крупные воздушные силы.

В это время расположение войск было такое: группа фашистских армий «Центр» и приданный ей шестой воздушный флот стояли против Центрального фронта, нацелив свой удар от Орла на Курск, в стык Центрального и Брянского фронтов. Группа армий «Юг» и приданный ей четвертый воздушный флот стояли против Воронежского фронта, готовые нанести удар от Белгорода на Курск, в стык Воронежского и Юго-Западного фронтов.

Советское командование, заранее разгадав маневр противника, создало многолинейную систему обороны, имея в своем тылу армии резервного Степного фронта.

Командование Центрального фронта (генерал Рокоссовский), оценив обстановку и определив направление возможного удара противника, сконцентрировало свои главные силы на правом крыле фронта. «На участке протяженностью 95 км было

сосредоточено 58 процентов стрелковых дивизий, 70 процентов артиллерии и 87 процентов танков и САУ. Здесь же расположился второй эшелон и резерв фронта (2-я танковая армия, 9-й и 19-й танковые корпуса). На остальном 211-километровом участке фронта осталось 47 процентов стрелковых дивизий, до 30 процентов артиллерии и 20 процентов танков и САУ. Это было смелое решение, связанное с огромным риском. На такое массирование сил и средств в обороне можно было пойти только твердо убежденным в том, что именно здесь, а не в другом месте враг будет наносить удар. Для этого нужны были точные данные о противнике. И наши славные разведчики добыли такие сведения». [15]

Все это станет известно позже. И эти строки из «Краткой истории Великой Отечественной войны» мне доведется прочесть много лет спустя после описываемых событий, но и тогда мы чувствовали, что готовится что-то важное, что до начала решительных действий осталось совсем немного времени.

Днем заботливые руки старшего техника звена Ландина ощупали и заштопали каждую пробоину. Затем он проклеил эмалитом куски белой перкали и теперь закрашивает светлые места зеленым лаком. Неподалеку, за длинным дощатым столом, сидят оружейницы, набивая патронами металлические звенья пулеметных лент. Возле них вертится Шурочка. Какое-то время она помогает им, потом отходит и останавливается у нашей «семерки». Наблюдая за ловкими движениями Ландина, Шурочка проводит ладонью по свежим заплатам на крыльях.

— Здорово! — не то удивляется, не то восхищается Шурочка.

— Бывает. Это же война, Шуренок! — И откуда только берутся эти небрежнопокровительственные нотки в моем голосе? Пижон…

Карие глаза Шурочки, не мигая, смотрят на меня, и под этим взглядом тускнеет моя напускная развязность. А Шурочка поворачивается и уходит по тропинке, которая ведет к озеру. Я гляжу ей вслед и не могу сдержать глупую, виноватую улыбку.

С деревьев медленно спадают лепестки яблоневого цвета, потому тропинка, по которой ушла Шурочка, кажется усыпанной снегом.

— Э-эй, приехали! Спустись на землю, командир! — Рука Ландина опускается на плечо. — Хороша девчонка! Ох, хороша! Только учти — с мужем летает.

— Какое мне дело, с кем она летает!

— Да так, — ухмыляется Ландин. — К сведению некоторых военных.

— Поди ты к черту! — Я хочу сказать ему еще что-то, но

зычный голос Джангирова доносится к нам на стоянку:

— По-олк! Становись!

В строю сегодня все: и ветераны полка, и недавно прибывшее пополнение. Наверное, утром фотоснимки районов нашей разведки, дешифрированные, поднятые и снабженные кратким пояснительным текстом, со стола начальника разведки дивизии майора Желиховского перекочевали в штаб воздушной армии, а оттуда — в штаб фронта. Теперь в обратном порядке в полк пришло боевое задание:

— «Частям девятой гвардейской Краснознаменной Сталинградской дивизии бомбовым ударом уничтожить склады противника, что северо-западнее станции Глазуновка».

— Наш район, — шепчу через плечо Николаю.

— Угу, — так же тихо отвечает он. — Зениток там… Командир дивизии снимает фуражку и вытирает носовым платком лоб.

— Товарищи! — Голос его звучит тихо и по сравнению с тем, как он зачитывал боевой приказ, как-то по-домашнему, задушевно. — Вашему полку, товарищи, выпала честь первыми нанести удар. Поразить цель трудно. Почти невозможно. Об этом знает командование армии, командование фронта. Но… вы гвардейцы, и приказ должен быть выполнен! Станцию прикрывают восемнадцать прожекторов, около двадцати батарей. Трудно! Очень трудно! Мы с вашим командиром полка обсудили обстановку и пришли к определенному решению. Так ведь, Анатолий Александрович?

— Да, другого пути не вижу, товарищ генерал.

— Вот и я не вижу… Одним словом, нужен экипаж добровольцев. Его задача — отвлечь на себя огонь батарей. Только один экипаж!

Замер в молчании строй.

Кто рискнет сделать один-единственный шаг вперед, выйти из строя, отчеркнуть прошлое, настоящее, перешагнуть черту небытия? Кто?

Тихо вздыхает земля — раз-два.

Вновь замирают шеренги летчиков. Командир дивизии проводит рукой по глазам. Он не пытается скрыть слезы.

— Спасибо, гвардейцы! Я так и знал. Спасибо!

И снова два маленьких едва слышимых шага.

— Младший лейтенант Полякова. Разрешите моему экипажу, товарищ генерал!

Удар кулака Николая чуть не сшибает меня с ног. Мы оба стоим перед строем рядом с Шурочкой.

— Кому, как не нам, лететь, товарищ генерал! — восклицает

Пивень. — Наш район разведки. Все зенитки нам знакомы. И прожекторы опять же только вчера поклон передавали.

— Разрешите, товарищ генерал! — присоединяюсь я к просьбе Николая. — Нам этот район известен лучше, чем другим. Разрешите?

— Действительно, это ваш район. Решено — идете вы!

— А ты… — рука генерала опускается на плечо Шурочки. — Ты, Шура, пойдешь вместе со всеми.

Генерал слегка поворачивает Шуру за плечи и подталкивает к строю.

Ревут моторы. Самолеты один за другим скрываются в ночной темноте, растворяются в мерцании звезд. На земле остается только наш экипаж. Мы вылетим через час. За это время головной полк дивизии углубится в тыл врага, стороной обойдет цель, ляжет курсом на юг. За десять минут до подхода полка к цели над нею появимся мы. Полк подойдет на приглушенных моторах и с большой высоты, прикрытый темнотой ночи, нанесет удар. А до этого десять минут наши. Десять минут, пока отбомбится полк, пока не будет накрыта цель. Десять минут, и в каждой — шестьдесят секунд. Какой незначительный миг в жизни человека — секунда. И как это много!

— Пора, — Николай втаптывает в землю окурок.

Заботливые руки техников подают лямки парашютов. Защелкиваем карабины и поднимаемся на крыло. В камышах у озерца неудержимо квакают лягушки.

— К дождю, — замечает Николай.

— Ага, — соглашаюсь я и устраиваюсь удобней в кабине.

Надо мной склоняется лицо Ландина.

— Поскорей возвращайся, старик!

Милый, заботливый. Ландин! Ты будешь стоять на аэродроме и вслушиваться в любые звуки, лишь бы уловить далекий гул нашей «семерки». Ты будешь ждать чуда даже тогда, когда всякое ожидание станет напрасным, но ты все равно еще будешь на что-то надеяться и ждать, ждать… Мой старый и проверенный товарищ, ты ведь знаешь, что чудес не бывает. И все равно ты жди! Жди!..

Восемнадцать прожекторов вытянули голубые щупальца, шарят по небу, сходятся, перекрещиваются, ищут, ждут.

— Сколько до цели?

— Одна минута. Если хочешь больше — шестьдесят секунд.

— Хочу больше.

— Мог не лететь.

— Мог. Если бы не ты! Кулаком в спину!.. Отсутствие элементарной вежливости, наконец, уважения к своему

командиру, товарищ штурман!

— А долг коммуниста?

— Жмешь на патриотизм?

— Нет, на твою слоновью шкуру.

— Запомню, Коля!

— Для этого и говорю.

Этой болтовней мы заполняем пустоту ожидания. Самое страшное — это ожидание неизвестности. Когда враг ощерится зенитками, когда на первый взгляд даже не будет выхода из замкнутого круга огня, все же легче: ты будешь драться. А от пассивного ожидания до ощущения обреченности — всего один шаг! Даже в пылающем самолете летчик не испытывает чувства обреченности — в нем еще не сломлена воля к победе, он еще чувствует себя солдатом. А неизвестность, пассивность рушат внутренний мир летчика, и воля его может дойти до распада. Тут важен даже пустяковый разговор. Одно-единственное слово, в такое мгновение оброненное другом, не допустит ослабления воли. Пусть не сказано ничего значительного или очень важного, но летчик услышал голос человека и знает — рядом друг…

Все ближе наплывают прожекторные лучи. Ввожу самолет в пологий вираж и включаю в кабине полный свет, чтобы как-то нейтрализовать слепящий огонь прожекторов. А еще включаю бортовые огни — пусть видят нас немцы!

— Нате! Берите! Стреляйте!

Свет, ослепительный свет режет глаза, давит, слепит. От него не уйти, не укрыться. Пилотирую только по приборам. Самолет описывает над целью замкнутую кривую. Надо продержаться десять минут. Целую вечность! И надо так увлечь немцев, чтобы они видели только нас. Только нас!

Уголком глаз кошусь на Николая — он тянется к бомбосбрасывателю.

— Придержи, Коля. Через каждые две минуты — по одной!

— К чему этот цирк? Шарахнуть залпом, чтоб дым столбом!

— А моральный фактор? Надо держать их в напряжении.

— Психолог! А впрочем, согласен.

Где-то внизу лопается разрыв бомбы, будто кто-то откупорил бутылку.

— Две минуты, — ведет немудреный счет Николай. — Осталось восемь. Огненными головешками проносятся снаряды. Рвутся где-то выше, слева, справа.

— Отверни маленько, — советует Николай. — Ведь собьют, гады. А нам еще надо держаться…

Я не отвечаю. Самолет треплет, подбрасывает из стороны в сторону, а я не могу оторвать взгляд от приборов. Из огненного

круга, кажется, нет выхода: кругом свет, вой и свист. Дымные шары разрывов тяжелых снарядов болтают самолет, осколки прошивают обшивку крыльев.

Николай прижимается к пулемету и направляет первую очередь в сгусток света.

— Вот вам, гады! Вздрагивает и пытается вырваться из рук штурмана пулемет.

— Давай, родимый!! Только не закуси, не замолкни! Давай! — приговаривает Николай, сам того не замечая, а заодно не замечая, как слабеет огонь зениток.

— Спокойно, старик! — кричу ему. — Наши над целью!

Где-то выше нас идет в атаку полк. Еще несколько вражеских батарей посылают в небо желтые пучки снарядов. Круто разворачиваюсь на летящие светляки и ввожу самолет в пикирование.

— Давай, Никола!

Самолет вздрагивает, освобожденный от груза. Я направляю нос на сверкающие пасти зениток и нажимаю гашетки эрэсов.

Мне видно, как раскалывается земля, видно дымное пламя пожара.

В эту ночь, пропитанную волнующим ароматом июльских трав, с задания не вернулась Шурочка.

Шальной снаряд заградительного огня врезался в мотор, и вражеский прожектор проводил пылающий факел почти до земли. Но самолет не упал. Шура смогла посадить его на поле, покрытом молодой зеленью. Вдвоем со штурманом они осмотрелись. Короткая летняя ночь уже уступала свои права утру, уже посветлел небосвод и в сиреневых сумерках раннего утра виднелся неподалеку небольшой лесок. К нему-то и бросился экипаж самолета, ища спасения. Но навстречу ударили автоматы. Тогда Шурочка и штурман повернули в другую сторону. И оттуда полоснула длинная очередь, затем донеслись крики:

— Нихт шиссен! Руссише флигер! Нихт шиссен!

Кто-то приказывает не стрелять… Значит, их хотят взять живыми… И Шура повернула к горящему самолету.

— Пулемет! — коротко приказала она штурману.

Они сняли его с турели и залегли в борозде. Стреляли расчетливо, короткими очередями, экономя каждый патрон. А когда патроны кончились, Шура передала штурману запасную обойму от своего «ТТ».

— Последняя, — предупредила она.

Они выстрелили еще по семь раз из своих пистолетов в расплывчатые, серые тени фашистских солдат. Кто-то истошно взвыл, и пули вражеских автоматов взметнули перед их лицами

комья горячей земли.

— Сдавайс, рус!

И они поднялись во весь рост. В десятке шагов от них чернели фигуры немцев с направленными на них автоматами. Они обняли друг друга, и губы их слились в поцелуе.

— Сдавайс! — вопил все тот же голос. — Хенде хох!

Они подняли руки, и два выстрела слились в один… Два последних патрона они израсходовали на себя. В наступившей тишине стали слышны птичьи голоса…

Кавалер ордена Красного Знамени

Нам уже известен день и час, когда начнется наступление гитлеровцев. И, несмотря на это, медленно текут часы ожидания. Короткая летняя ночь, кажется, не имеет конца. Где-то на переднем крае артиллеристы уже заняли места у орудий, в готовности танкисты и летчики. Каждый командир и солдат живет ожиданием предстоящего боя.

В километре от нашего аэродрома проходит какая-то, возможно, десятая или двенадцатая линия обороны, она находится на большом удалении от линии фронта, и вероятность прорыва немцев на такую глубину почти исключена, однако артиллеристы выжидающе замерли у пушек, из глубоких окопов не доносится к нам ни единого звука. Фронт замер в ожидании удара, готовый отразить, выстоять и не отступить.

Наш полк тоже получил задание — всего два вылета. В первом мы нанесли удар по лесу, что в пятнадцати километрах от линии фронта, где замечено скопление танков. Теперь уже перед самым рассветом нанесем удар непосредственно по переднему краю гитлеровцев. Наш удар, так же как и артиллерийская подготовка, которая начнется за час-полтора до того, как немцы перейдут в наступление, должен дезорганизовать и нарушить порядок фашистских войск, ослабить их силу.

Вновь, как в дни сражения за Москву и Сталинград, бойцам зачитывается обращение партии, наказ народа — «Ни шагу назад!». И вновь солдаты принимают клятву — «Стоять насмерть!».

А у нас в первом полете кто-то дрогнул. Мы с Николаем видели, как взорвались на нашей территории две сотки, видели вслед за этим голубую трассу пуль, несущихся к земле. Такие трассы только у наших ШКАСов. Бомбил и обстреливал наши войска кто-то из нашего полка, из нашей дивизии. Кто?!

О происшествии знает командир, знает весь полк. Нас вызывает комиссар — кто?

В дивизии около ста экипажей, попробуй, ответь на этот вопрос, укажи на кого-то пальцем.

Ясно одно: это свой… Мы буквально приходим в состояние бешенства от беспомощности: узнать подлеца невозможно. Одно дело, если он ошибся, а вдруг среди нас враг? Тогда он и впредь будет творить свои темные дела. Каждый самолет скрыт темнотой ночи, отделен от другого невидимым барьером. Кто?..

— Надо следить за каждым, — произносит Николай.

— Значит, и подозревать каждого? — возмущаюсь я.

— Каждого! — жестоко обрубает он.

— Выходит — и меня и тебя?

— Да!

— Но это просто глупо! Еще большая глупость закрывать глаза и молчать.

— Допустим. Каким образом ты осуществишь контроль? Уж не прикажешь ли включать над целью бортовые огни и мигать: мол, это бросаю бомбы я, а не кто-либо другой?

— Вот это действительно глупость. — Николай поворачивается ко мне спиной. — Товарищ комиссар, предлагаю каждую ночь менять экипажи. Каждую ночь летчик летает с новым штурманом и наоборот.

— Вы думаете таким способом выявить… этого? — Комиссар так и не находит нужного слова.

— Хотя бы обезопасить. Экипаж — двое все-таки разных людей.

— Пожалуй, в этом что-то есть. Я посоветуюсь с командиром.

Мы выходим от комиссара удрученные и недовольные друг другом. Я понимаю, что Николай прав, но подозревать каждого! Значит, и мне не будут верить, значит, рухнет наша дружная семья. И это накануне предстоящего наступления, накануне боя.

— По самолетам!

Николай смотрит на часы:

— Взлетаем через десять минут. Я забираюсь в кабину и никак не могу найти удобного положения на своем парашюте.

— Запускай!

Над аэродромом плывет гул двигателей, самолеты один за другим рулят на старт.

Цель, по которой наносит удар наша дивизия, — узкая полоса переднего края обороны противника неподалеку от станции Поныри буквально покрыта взрывами бомб. И почти тут же начинается артиллерийская подготовка. Но все это уже не может остановить немецкую военную машину. В пять часов тридцать минут противник переходит в наступление. Под прикрытием огня тысяч орудий и минометов, при поддержке множества самолетов к переднему краю нашей обороны устремляются массы фашистских танков и штурмовых орудий. За ними следует вооруженная до зубов и ободренная шнапсом пехота. Началось! Ну, теперь держись!..

Зря мы грешили, подозревая кого-то в преднамеренной подлости. Никакого предателя среди нас нет, да и быть не могло. Все мы знаем в полку друг друга, и, окажись среди нас враг, разве мог бы он остаться незамеченным. А виновником того происшествия, как удалось установить через год, оказался

штурман лейтенант Тарабашин. Перепутав ориентиры, он принял заросли кустарника вдоль какой-то речушки за укрепления фашистских войск и, не согласовав с летчиком, сбросил бомбы. И только начав обстрел цели, Тарабашин понял роковую ошибку. К счастью, бомбометание и стрельба обошлись без человеческих жертв. Димка Тарабашин молчал целый год.

Молчал и его командир. Молча переживали, наводили справки и, даже выяснив, что бомбы разорвались на пустыре, не причинив никакого вреда нашим войскам, решили молчать, чтобы не попасть под суд, чтобы, оставшись в строю, исправить ошибку и до конца драться с врагами, продолжая служить Родине.

Летние ночи коротки, мы едва успеваем сделать один вылет. На день тщательно маскируем свои самолеты и после короткого отдыха не можем оторвать взгляда от неба, где проносятся наши скоростные бомбардировщики и истребители. И, что там говорить, завидуем! Никогда я так не досадовал на свой тихоходный ПО-2. В небе идет неравный жаркий бой, сталкиваются воздушные армады, а мы за сутки совершаем один-единственный вылет. Две стокилограммовые бомбы, четыре эрэса и лента ШКАСа! И еще неизвестно, нанесло ли все это какой-либо ущерб врагу. Ах, как хочется драться на настоящем самолете!.. А тут еще, как назло, команда срочно перевести самолеты лейтенанта Мартынова, Ляшенко, Обещенко и мой в транспортный вариант. Этой ночью полк уйдет бомбить обнаруженную днем танковую колонну фашистов. А мы? Куда прикажут лететь нам, какие везти грузы? О предстоящем полете даже не хочется думать.

Вечером нас вызывают на КП. Вокруг стола командира стоят какие-то люди в штатском.

Заметив среди них бородатого священника, толкаю Бориса локтем:

— Видал? — шепчу ему на ухо. — Интересно, в какой монастырь придется лететь?

— Успокойся, — так же шепотом отвечает Борис. — Во всяком случае, не в женский. Я едва сдерживаю готовый вырваться смех.

— Внимание, товарищи! — жестом приглашает нас к карте командир. — Вам предстоит лететь вот сюда. — Палец командира скользит по карте, пересекает Брянскую и Смоленскую области и останавливается на большом лесном массиве в восточной части Белоруссии.

— Здесь партизанами подготовлена посадочная площадка. За ночь успеете добраться, днем замаскируйте самолеты, а с наступлением сумерек — обратно. Сигнал — три костра в одну

линию. При подходе сделаете круг. Зажгутся еще два костра, таким образом, образуется обозначенная посадочная полоса. Костры на границе аэродрома. Садиться по центру. Старшим группы назначаю лейтенанта Мартынова. С ним пойдет штурман старший лейтенант Семаго. Вопросы есть?

— Полет на полную дальность, товарищ командир, а как с заправкой на обратный путь?

Командир вопросительно смотрит на бородатого мужчину в домотканой свитке.

— Будет заправка, — сдержанно отвечает тот. — Хлопцы две бочки бензина у фрицев отбили. Хватит?

— Вроде должно хватить, но запас карман не тянет. Метеорологического обеспечения фрицы нам не дадут, а я не бог, чтобы угадывать погоду, да еще на завтра!

— Не богохульствуй, вьюнош! — неожиданно густым басом замечает священник.

Мартынов удивленно хлопает ресницами, и мы неудержимо хохочем…

Днем у опушки, где замаскированы наши самолеты, выстраиваются партизаны. Оказывается, пассажир в свитке является представителем Центрального штаба партизанского движения. Он рассказывает партизанам об обстановке на фронтах, о боевых делах различных партизанских соединений и в заключение вручает боевые награды. Первым получает орден Красного Знамени уже знакомый нам священник — отец Иоанн.

Выйдя из строя, он принимает орден, подносит его к губам и отвечает совсем не по-уставному:

— Благодарю вас. Готов и впредь служить тебе, народ мой православный, служить тебе, Отчизна моя!

Вот тебе и батюшка! Позже нам рассказали удивительную историю, связанную с отцом Иоанном.

Во время оккупации Курска отец Иоанн предложил бургомистру открыть на окраине города церковь. Предложение понравилось не только бургомистру, оно было одобрено военным комендантом и начальником гестапо. На открытие церкви и большой молебен по этому поводу приехали высокопоставленные лица из армейских штабов, СС и СД. Были здесь и представители берлинской прессы и радио, были репортеры, фотографы, операторы кинохроники. Проповедь отца Иоанна и молебен «во славу германского оружия» засняли на кинопленку и расписали не только в центральных газетах фашистского рейха, но и в националистических листках различных оттенков, транслировали ее и по радио. Словом, личность «патера Иоанна» стала популярной для геббельсовской агитмашины. Церковь отца

Иоанна процветала. Частые молебны, недурной хор и проповеди самого батюшки привлекали прихожан, любопытствующих немецких офицеров и солдат. Даже самые изощренные переводчики не могли уловить, чьему же оружию поет отец Иоанн славу. И никто, наверно, не догадывался о другой стороне деятельности священника. Однажды с маслобойного завода среди белого дня был угнан транспорт с готовой продукцией. Обнаружить его гитлеровцы не могли, транспорт будто провалился сквозь землю. И это было так на самом деле. Масло хранилось в церковных подвалах до тех пор, пока его не вывезли партизаны. Так же исчез обоз с отобранными у населения для нужд фашистской армии теплыми вещами. А отец Иоанн продолжал громить «отступников» от истинной веры, призывал «служить» на благо великой Германии и жертвовать деньги на разгром «власти антихриста». И все же гестапо что-то пронюхало.

Однако неожиданная облава и обыск в церковных подвалах ничего не дали. Ни денег, ни продовольствия, ни одежды там не обнаружили. Зато были найдены обрывки окровавленных бинтов. Уж не священник ли причастен к побегу большой партии пленных?

Бросились искать отца Иоанна, но его и след простыл. Гитлеровцы назначили за его голову награду в десять тысяч марок, но Центральный штаб партизанского движения перебросил отца Иоанна к новому месту «работы». Из партизанского края в белорусских лесах ему еще предстоит пробираться куда-то на запад. Где, в каком городе или деревушке завладеет новым приходом отец Иоанн? Будут ли его называть прежним именем или же он станет «отцом Федором»? Дай бог тебе сил и выдержки, святой отец, кавалер боевого ордена Красного Знамени!

Вдоль линии фронта горят деревни. Так бывает всегда, когда враг отступает.

Армии Центрального фронта, выдержав бешеный натиск гитлеровцев, сами перешли в наступление и отбивают у немцев одну позицию за другой.

Гитлеровское командование, раздраженное неудачами на фронте, приказало войскам уничтожать за собой все, что можно уничтожить. Так гитлеровцы мстят за свое поражение.

С лица земли стерты многие населенные пункты, расстреляны тысячи ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, на каторжные работы в Германию угнано много молодежи.

Солдаты Красной Армии, воочию увидев зверства фашистов, неудержимо рвутся вперед, чтобы скорее освободить занятые противником города и села, вызволить из неволи и спасти

советских людей. Наступательный порыв советских воинов нарастает день ото дня. Уже взят Орел, освобожден Белгород. Уже столица нашей Родины Москва впервые салютовала двадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати орудий войскам Западного, Центрального, Брянского, Воронежского и Степного фронтов в ознаменование их большой победы, и наступление наших войск все ширится.

Начальник оперативного отдела штаба полка капитан Мосолов каждый час перекалывает булавки с красными флажками, обозначая на карте линию фронта, которая неудержимо движется все дальше на запад.

Теперь мы уже почти не снимаем с самолета подвесные люльки, задания на транспортировку грузов поступают почти каждый день: подвезти горючее выдвинутому далеко танковому корпусу, перебросить боеприпасы, срочно перебазировать все службы истребительного полка ближе к сегодняшней линии фронта… Мы понимаем, что все это необходимо для общего дела победы, но самим нам охота бомбить, уничтожать и неотступно преследовать врага. Особенно тяжко перебазировать авиационные части и видеть, как еще необстрелянные юнцы, прибывшие только вчера из ЗАПа,[16] уже дерут нос и считают себя заправскими истребителями. С каким пренебрежением смотрят они на наши самолеты, на нас самих! Очень уж трудно все это сносить. Кажется, Константин Симонов назвал нас «чернорабочими авиации». Да, мы чернорабочие! И мы не гнушаемся своего дела. Ведь и наша работа направлена к одному — к победе.

И вот мы опять на аэродроме истребителей. На стоянках с десяток «яков». Остальные, по-видимому, в воздухе, ведут бой или патрулируют над нашими войсками. Пока наш командир договаривается с командиром истребительного полка о порядке перебазирования, мы, поставив свои самолеты в одну линейку, томимся ожиданием. И уже достал Борис свою неизменную гитару и тихо перебирает струны. Постепенно к нам подходят хозяева: техники и летчики-истребители. Судя по их чересчур бравому, воинственному виду, — молодые. Наверно, им еще не доверяют ведение боя, наверно, они оставлены здесь для перегонки самолетов, вот этих «яков». Тем не менее — истребители!

— Ребята, «кукурузники» прилетели!

— Рус-фанера!

— Этажерки!

Но мы упорно «не замечаем» насмешек. Рокочут струны гитары, а Яков Ляшенко подпевает Борису:

Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы к родной подлетаем земле.
Бак пробит, хвост горит,
Но машина летит
На честном слове и на одном крыле…

— Ой, мамочка! Послушайте, что «кукуруза» поет! — не унимается какой-то штатный остряк из истребителей. — Вы-то хоть слыхали, как пушки стреляют? Транспортники!..

Борис зажимает струны ладонью и небрежным движением сбрасывает с шеи тесемку гитары. От этого движения распахивается на груди тонкий комбинезон и обнажаются привинченные к гимнастерке два ордена Красного Знамени и краешек погона. Борис расправляет плечи:

— Эх, ты…

— Извините, товарищ лейтенант, — смущенно оправдывается истребитель. — Я не знал… я думал…

— Килька! — обрывает оправдания Борис. — Килька в томатном соусе!

Дружный хохот всех присутствующих заставляет неудачливого остряка спрятаться за спины товарищей.

— Становись!

Сейчас скажут, кому, на каком самолете лететь, и в люльки усядутся «пассажиры».

— Запускай!..

У меня под правым крылом сидит тот самый остряк.

Время от времени бросаю на него взгляд. Позеленевшее лицо, в глазах страдание. Понятно — жара и болтанка изрядная. От его мертвенно-бледного лица мне и самому становится тошно. Эх ты, истребитель!

Передовые части нашего фронта уже в междуречье Десны и Днепра. Вышли так стремительно, что за ними не успевают тылы. И опять мы снабжаем танкистов горючим и боеприпасами. Танкисты подошли уже почти к самому Днепру. Они отыскали в лесу большую поляну и выложили на ней посадочное «Т». А вокруг еще бродят не уничтоженные группы фашистских солдат.

Идем на бреющем. Впереди — ведущий, командир эскадрильи старший лейтенант Ширяев. С ним штурман Кисляков. У нас, ведомых, штурманов нет. Вместо них — ящики с боеприпасами. Идем звеньями по три самолета. Поглядываю вперед — на хвост ведущего, изредка — на землю, почаще — в небо: не исключена встреча с истребителями противника, передний край сразу же за посадочной площадкой. Справа от

меня, в хвосте Ширяева, висит самолет Валентина Боброва. Пришел он в наш полк под Сталинградом из армейского звена связи. Стройный, подтянутый весельчак, он сразу пришелся по душе нашей компании, вошел в наш узкий круг дружбы. Мы знаем, что где-то в Белоруссии у него остались родные и ему не терпится скорее попасть в эти места. Потерпи, Валька! Еще немного — и сбудется твоя солдатская мечта, прижмешь ты к сердцу своих стариков. Больше ждал. Осталось совсем немного. Вот пополнят танкисты запасы горючего, зарядят пушки привезенными нами снарядами и — вперед! Эх, Валька, не забыть бы сказать тебе эти слова. Вот сядем, и я их обязательно выскажу. Я же сам знаю, как нелегко ждать. Но что это? Я вижу, как на левом крыле длинной строчкой вспухает обшивка, а прямо перед моими глазами разлетается стекло компаса. Я сдвигаю со лба очки и смотрю вниз. Там, на дороге, копошатся серо-зеленые фигурки — фрицы! А впереди — клинышками — звенья полка. Оглядываюсь назад — кудрявая поросль леса, синь безоблачного неба и гул мотора. Больше ничего. Валька! Где ж ты, Валька?..

* * *

Он не погиб. Раненого, его взяли в плен немцы. Он бежал, был схвачен вновь и бежал опять. Путь длиной в год вновь привел его в наш полк. И невдомек было молодым летчикам, почему мы, ветераны полка, украшенные многими орденами Родины, так тепло встретили этого худощавого лейтенанта, почему мы отдавали ему свои пайковые папиросы. Нас, ветеранов, осталось в живых совсем немного, и мы очень обрадовались, что среди нас снова был Валька Бобров. Израненный, избитый, но живой. Чудесная это штука — жизнь!

Где ты теперь, Валентин Бобров?

Бомбы, товарищ генерал!

Освобождены Карачев, Брянск, Смоленск. Передовые части фронта уже ведут бои на земле Белоруссии. И надо же, чтобы в это самое время наше звено было откомандировано в распоряжение штаба 16-й воздушной армии. Обидно до слез, а пожаловаться некому.

Лейтенант Казюра и младший лейтенант Тесленко развозят офицеров штаба, я закреплен за членом Военного совета армии генералом Виноградовым. Ему-то и высказываю свою боль, вся суть которой проста — хочу в полк, хочу сражаться!

— Солдат, — доказываю я генералу, — обязан драться.

Генерал отвечает односложно:

— Отстань!..

Мы перелетаем с ним с аэродрома на аэродром, нанося визиты частям воздушной армии. В одной части генерал торопливо вручает ордена отличившимся летчикам, в другой учиняет разнос за те или иные недостатки.

А передовые части уже форсировали Днепр в районе Лоева и, постепенно наращивая силы, расширяют плацдарм. Немцы не щадят сил, стараясь ликвидировать этот плацдарм и уничтожить наведенные саперами переправы.

Истребительный корпус генерала Ярлыкина, где мы оказались в это самое время, прикрывает плацдарм и переправы. Летчики непрерывно в воздухе. Лишь когда кончается горючее или боеприпасы, они возвращаются на аэродром, чтобы заправить машины и пополнить боекомплект. Кто знает, сколько атак вражеских бомбардировщиков приходится им отбивать. Я завистливым взглядом провожаю каждый поднимающийся в небо самолет и хожу молчаливой тенью за Виноградовым: может, поймет, может, отпустит?

Генерал Ярлыкин поднимает в воздух новые и новые пары, четверки, шестерки. Над плацдармом не затухает воздушный бой. В репродукторе полевой рации слышны голоса наших летчиков, немецкая речь вперемежку с обрывками музыки, выстрелы зениток и трескотня пулеметов.

Близится вечер. Солнце уже утомленно склонилось к горизонту, сиреневой пастелью окрасился нижний край небосвода. С наступлением ночи прекратятся налеты вражеских бомбардировщиков, летчики истребительного корпуса смогут немного отдохнуть, а техники — осмотреть самолеты и подготовить их к завтрашним боям. Ярлыкин поглядывает на часы. Наверно, он тоже устал и мечтает об отдыхе, но сквозь

хрипы и треск разрядов в динамике слышны голоса летчиков, и командир корпуса весь внимание.

— Миша, прикрой хвост…

— Тройка, тройка! Отверни влево. «Фоккер» заходит…

— «Беркут-Один», я «Беркут-три»! На огород ползут тракторы. Штук двадцать! Горючее на исходе. Поднимите запасных игроков…

Я уже знаю, что это голос командира эскадрильи, Героя Советского Союза, стройного и очень скромного летчика с белесыми, выгоревшими на солнце бровями.

— «Беркут», шлите запасных! Шлите запасных!..

— Черт возьми! — восклицает Ярлыкин. — Подняты все резервы! Давай ты, Коля! — Взгляд генерала останавливается на руководителе полетов, крепком, слегка полноватом майоре. — И ты, — обращается он к замполиту. — Давайте, ребята, больше некому…

Офицеры молча подносят руки к фуражкам и бегут к самолетам. Вслед за ними уходит генерал Ярлыкин. И тут же один за другим в небо взмывают три самолета. На старте появляется генерал Виноградов.

— Где генерал Ярлыкин? — спрашивает он у радиста.

— В воздухе! — не скрывая радости, отвечает радист.

— Э-эх! — только и произносит Виноградов. — Идем со мной! Я послушно плетусь за генералом.

— Ишь, придумал! Сам полетел! Последний резерв!.. Уж я его разнесу.

— Если вернется…

— Что? Вернется! Я его знаю!

Сгущаются сумерки. Воздух дрожит от рева истребителей. Один за другим они заходят на посадку, заруливают, рассредоточиваются по полевому аэродрому. Уже в темноте приходит последняя тройка.

Зарулив на место, генерал Ярлыкин сдвигает «фонарь». Он улыбается, вытирает ладонью вспотевший лоб. Он еще там, в воздухе, он еще в бою.

— Все атаки отбиты! Фрицы недосчитаются двенадцати самолетов. Неплохой результат?!

— Результат неплохой, — скупо отвечает Виноградов. — Но командир корпуса, генерал — и сам идет в бой! Где это видано?

— Простите, товарищ генерал! — сухо отвечает Ярлыкин. — Помимо того, что я командир, я еще и летчик. Я истребитель, товарищ генерал!

— А я бомбардировщик! — вступаю в разговор я.

Мне не хочется, чтобы Виноградов разносил вернувшегося из

боя генерала. Мне хочется, чтобы у Ярлыкина в душе остался праздник боя, праздник победы. Пусть уж член Военного совета разносит меня.

— Разрешите сегодня же в полк, товарищ генерал?

— И ты?.. — Виноградов понял мой порыв. — Эх ты, бомбардировщик! Арестовать бы тебя суток на пять за такое, да уж ладно. Мне и самому сегодня надо быть в вашей дивизии. Иди, готовь самолет!

— Есть!

Я тороплюсь к самолету. Пусть себе генералы поговорят по душам, этот разговор не для лейтенанта. И вообще мне радостно: мы летим в полк!

В ночное небо уходят самолеты, уходят товарищи, друзья, а я стою у входа в землянку КП, курю и стараюсь не попадаться никому из своих ребят на глаза. «Как же, нашел теплое место! — вправе сказать любой из них. — Кому война, а кому… Эх!»

Такой оборот мыслей заставляет меня спуститься в землянку. Здесь командир полка подполковник Меняев и все офицеры штаба. Они сгрудились вокруг члена Военного совета и заместителя командира дивизии полковника Рассказова и на мое появление не обратили внимания. Но я пришел сюда не молчать.

— Товарищ член Военного совета, разрешите обратиться?

— Что у тебя? — Усталые и по-доброму прищуренные глаза Виноградова смотрят на меня, в уголках его рта затаилась теплая усмешка. — Опять пришел меня агитировать? Все в полк просится, — поясняет он Рассказову. И вновь обращается ко мне: — Ну, вот ты и в полку. Что тебе еще надо?

— Разрешите сделать боевой вылет, товарищ генерал!

Брови Виноградова смыкаются в одну жесткую линию.

— Всего один вылет, а, товарищ генерал?

— Да, нет у тебя подхода к начальству! Вместо того чтобы начать осторожненько, издалека, ты сразу: «разрешите, товарищ генерал!». Не дипломат, нет! Правильно я говорю, Константин Иваныч?

— Да уж как сказать… — не находит что ответить Рассказов. — Я ведь тоже не из дипломатов.

— Во-во! Яблоко от яблони недалеко падает. Уж твой-то характерец мне во как известен! — И Виноградов энергично проводит ладонью по шее. — Волжанин, горьковской! — нарочито окая, поддразнивает Виноградов. — Что на уме, то и на языке, а в твоем-то звании, Константин Иваныч, иногда необходимо быть и дипломатом.

— Не обучен, товарищ генерал! — не поддерживает шутливый тон Виноградова Рассказов.

— А раз не обучен, тогда вопрос прямой: разрешим ему вылет?

— Не возражаю.

— А ты, Анатолий Александрович, не возражаешь?

— И разрешил бы, да нет у меня свободных штурманов, товарищ генерал.

— Стало быть, в принципе согласен. А штурмана… Возьмешь меня в качестве штурмана, командир? — спрашивает Виноградов меня. Но ответить я не успеваю.

— Не позволю, товарищ член Военного совета! — возмущается Рассказов. — Не могу позволить. Если дойдет до командующего… Нет, не могу позволить!

— Командующему ты не сообщай, Константин Иваныч. При случае сам расскажу, — суховато отвечает Виноградов. — Ну-с, командир полка, показывай цель.

Генерал готов уже склониться над картой, разложенной на столе, но, заметив мой недоуменный взгляд, весело произносит:

— Что стоишь? Прикажи готовить самолет к вылету!

— Есть, товарищ генерал! Я выбегаю из штабной землянки и радостно кричу в темноту ночи:

— Техники! Оружейники! «Семерку» к боевому вылету!..

Обычный полет. И обычная цель — предмостные укрепления противника у реки Сож, на окраине Гомеля. И так же вокруг самолета мечутся ищущие лучи прожекторов и рвутся зенитные снаряды. Словом, все, как всегда. Постой, постой. Как это — «как всегда»? Неужели у тебя в каждом полете на месте штурмана сидит генерал, член Военного совета армии? А цель?.. Я бомбил укрепления фашистов в Ржеве и Вязьме, в Смоленске, Орле и Сталинграде — повсюду, куда только посылали полк. Но Гомель!.. Это же город моего детства и юности, город самых теплых воспоминаний и надежд, растоптанных войной… Цель — это враг. Враг, которого надо уничтожить. Враг, которого я ненавижу всеми клетками тела, умом и сердцем. Но Гомель!.. Бомбы должны угодить только в укрепления врага, только в доты и блиндажи! Почему непривычно вздрагивают на педалях ноги, почему вдруг пересохло горло и так тяжело сказать короткую фразу: «К атаке!»? А, понятно. Я не уверен в бомбардирских способностях генерала.

Чтобы лучше видеть цель, свешиваю голову за борт и перевожу самолет на снижение.

Внизу под крылом плывут извилистые нити окопов, ходов сообщений. Пора!..

— Бомбы, товарищ генерал!..

— Есть!

Вижу, как из-под крыла устремляются во тьму ночи «сотки», тут же заваливаю крен, и перед моим взором вспыхивают бомбовые разрывы. Еще больше свирепеют зенитки, темноту ночи секут огненные хлысты пулеметных очередей. Веду самолет со снижением на город, в тыл немцам, пытаясь по очертаниям определить названия улиц…

Так уже однажды было. Да, было на экзаменах в Гомельском аэроклубе. Мне тогда досталась пилотажная зона над излучиной речонки Ипуть, недалеко от места ее впадения в Сож. За плечами у меня был опыт нескольких самостоятельных полетов, первые навыки пилотажа. И от всего этого, от послушной податливости рулей и ощущения самолета, четко выполнявшего фигуру за фигурой, мне стало вдруг необыкновенно радостно. И мне захотелось поделиться этой радостью с любимым городом, показать свое умение людям. Незаметно для поверяющего я стал отклоняться к городу. Тогда мое своеволие стоило «тройки» за осмотрительность — один из элементов, определяющих качество техники пилотирования. А чем окончится теперь?

Уголками глаз наблюдаю за генералом. Он склонил голову на борт кабины и неотрывно следит за плывущими внизу улицами. Кажется, он не заметил отклонения, не замечает огня зениток. Тогда — ниже! Еще ниже!..

Вот внизу появляется громада здания управления железной дороги. Поворачиваю вправо. Иду над Ленинской, потом над Госпитальной, делаю виражи, и внизу уже Подгорная!.. Где-то здесь, под сенью старых яблонь, притаился в темноте наш дом. Живы ли сестренки и отчим? Делаю доворот вправо, нахожу улицу Парижской Коммуны, потом Волотовскую. Здесь живет мой дед, Константин Семенович. Впрочем, жил, а жив ли теперь, я не знаю…

— Решил советского генерала немцам показать, командир? — возвращает меня к действительности голос Виноградова. — Пора домой.

— Простите, товарищ генерал. Здесь мои родные…

— Понимаю, но все же — пора…

Я беру курс на восток.

После посадки на аэродроме молча иду вслед за генералом к КП. У двери он останавливается, поворачивается и неожиданно обнимает за плечи:

— Вот так, сынок! Такая она, война. И не мы ее хотели. Погоди, мы еще и в Берлин придем! И самого Гитлера за горло возьмем! За все он нам ответит… за все!

— Разрешите еще один вылет, товарищ генерал!

— Нет! Иди отдыхать.

— Я не смогу…

— Отдыхать! Это мой приказ. И не вешать носа! Завтра полетим с тобой в Москву. Доволен? А штурм города без нас не начнется. К этому времени мы поспеем. Это точно!

* * *

И опять я в Москве. У меня пять абсолютно свободных дней! Пять дней жизни в столице подарено мне.

Останавливаюсь на Таганке, у родителей Димы Тарабашина. Эта квартира служит постоянным прибежищем всем командировочным и отпускникам из нашего полка. Все гостиницы, как обычно, переполнены, а ехать через Москву и не задержаться в ней на пару дней — непростительная глупость. И почему-то никому не приходит в голову, что своим присутствием можно стеснить Димкиных родителей, внести какое-то неудобство в их и без того нелегкую жизнь…

Милые старики отдали в мое распоряжение Димину комнату. Из-за неплотно прикрытой двери ко мне доносятся звуки осторожных шагов и приглушенный разговор. Старики разговаривают очень тихо, наверно, боятся меня разбудить. А я не сплю. Лежу на постели, застланной свежими простынями, лениво перевожу взгляд со стены на окна и все еще не могу поверить, что сию минуту не прозвучит голос дневального: «Подъем!», не прибежит посыльный из штаба с приказом строиться, и мне не надо никуда спешить, не надо никуда лететь. За окном Москва! В раскрытую форточку слышны звонки трамваев, истошные вопли автомобильных гудков, шуршание шин по асфальту, шаги. Мирные, спокойные звуки. Может быть, и впрямь закончилась война?

> *«От Советского информбюро. Передаем утренние сообщения. После кратковременного перерыва войска Прибалтийского, Калининского, Западного и Центрального фронтов перешли в решительное наступление, — нарушает мои размышления Левитан. — Несмотря на упорное сопротивление врага, передовые части наступающих фронтов продвинулись на двадцать пять — тридцать километров. Освобождено от немецко-фашистских захватчиков около тридцати населенных пунктов. По предварительным данным, нашими войсками уничтожено и подбито двести три танка противника. Зенитной артиллерией и в воздушных боях сбито*

семьдесят шесть самолетов. Наши потери двадцать три самолета. На остальных участках фронта существенных изменений не произошло…»

Нет, война не закончилась! Мне известно, что скрывается за словами «существенных изменений не произошло». Одна, две, десяток человеческих жизней, конечно, не решают судьбу сражений, не делают решительной победы, но у человека одна жизнь. Только одна!

Наш фронт перешел в наступление. Значит, всю вчерашнюю ночь полк бомбил ближние тылы противника.

Значит, кто-то из ребят не вернулся с задания, кто-то уже не встанет в наш дружный строй. А я нежусь в постели, а я наслаждаюсь столичным комфортом. Надо что-то предпринять. Но что? К генералу Виноградову я должен явиться через пять суток. А если прийти сегодня, сейчас, прийти и сказать, что фронт перешел в наступление и мое место там… Прогонит. Безусловно, прогонит. А может, все-таки позвонить по телефону?

Быстро натягиваю брюки, сую ноги в Димкины шлепанцы и бегу в коридор.

— Нет, генерала нет дома, — отвечает милый женский голос. — Два часа назад он уехал на совещание в штаб. Оставил телефон. Запишете?

— Спасибо. Простите… Я… я думал… Наши перешли в наступление… Генерал знает об этом?

— Об этом передавали еще вчера. Он знает…

— Спасибо. Извините. Если я понадоблюсь генералу, запишите мой телефон…

Вот и все. Наверное, на фронте обойдутся без нас обоих. Печально, но факт. За завтраком старики не сводят с меня глаз.

— Как там на фронте? Как Дима?

— Живой. И не ранен. Воюет, как все.

— Хоть бы письмишко прислал, — вздыхает мать. — Один он у нас остался. Один единственный… Старший-то в прошлом году погиб…

— Тихо, мать, — вступает в разговор отец. — Война!..

Погибший сын — камень на сердце. Его не сбросишь, его не забудешь. В родительском сердце он остался навечно. И отец хочет увести воспоминания матери в сторону — от мертвого к живому.

— Слыхал, вчера наши опять перешли в наступление?

Я молча склоняю голову.

— Ваш-то фронт, какой? По полевой почте не узнаешь… Или секрет?

— Центральный.

— Вот, мать, Центральный! О нем передавали по радио. А ты — письма! Некогда Дмитрию, вот и не пишет. Слышала, воюет!

— Господи…

— Он напишет вам, — заверяю я. — Обязательно напишет…

…Пяти дней будто и не было. Музеи, кино, театры, московские улицы… Кажется, мозг неспособен вместить все увиденное, настолько я переполнен столичными впечатлениями. А чтобы выглядеть вполне по-столичному, регулярно посещаю парикмахерские. Не столько по необходимости, сколько оттого, что мне приятно бездумно сидеть в кресле перед зеркалом и наслаждаться комфортом, о котором мы во фронтовых землянках уже забыли.

— Массаж? Освежить? Компресс? «Шипр» или «Мак»? — Какими только запахами не пропитан мой видавший виды китель! А что — столица!

— Ну, брат, от тебя как от гусара лейб-гвардии его императорского! — смеется генерал Виноградов, встречая меня в прихожей своей квартиры на Басманной.

— А что, разве я не гвардеец? — поддерживаю предложенный шутливый тон. Но с лица генерала исчезает улыбка.

— Наша гвардия пропахла порохом, сынок. И рождена не для парадов. Вникаешь в разницу?

Мне становится мучительно стыдно: ишь как вырядился!

— Ну-ну, — добродушно ухмыляется Виноградов, заметив мое смущение. — Нужны и нам будут парады, будут и праздники. А теперь слушай. Я поеду поездом: погода дрянь, вылет не разрешат, а ждать нельзя. При первой возможности вылетай. Ясно?

— Вылетать в полк?

— Ишь ты, хитрец! Вылетать в штаб армии…

Чуть свет добираюсь до метро «Сокол». Дальше уже пешком — в Тушино. Предъявляю удостоверение часовому у ворот и прохожу на аэродром. Иду вдоль летного поля, вдоль стоянок самолетов. Вроде вот здесь оставили мы свой самолет, а где он теперь? На конец нахожу его на самой дальней стоянке. Почему его сюда пригнали? — недоумеваю я. Замечаю неподалеку часового, пожилого, в мешковатой шинели, наверное, из ополченцев.

— Что за самолеты, дядя? — скрывая заинтересованность, скучающим тоном обращаюсь к часовому.

— А ты кто ж будешь, племяш? Аль уставу не знаешь? С часовым разговоры вести не положено.

— Я с фронта прилетел. Отвык от тыловых порядков. Так что извини, если не так обратился.

— Да ничего, это для порядка, — охотно вступает в разговор часовой. — А самолетики — заарестованные. Вишь, есть которые сами в Москву прилетают, без разрешения или еще как. Вот и собрали их сюда.

— Интересно!

— А говорят еще, — продолжает часовой, — это про меж нас слух прошел, будто, ежели ловят летчиков с этих самолетов, так тут же заарестовывают и по этапу, с охраной обратно в часть. Знамо дело — не балуй! А в части, бывает, и судят. Вот как.

— Прямо уж и судят? Загибаешь, дядя.

— Истинный бог! За самовольство как не судить?

— За что ж судить? Вот, к примеру, я. Прилетел в Москву, генерала привез, а мой самолет вот он. Зачем, спрашивается, сюда затащили?

— Ты сурьезно?

— А то нет! Вот он, мой самолет.

— Отыди! Стой, кто идет! Часовой неумело перехватывает винтовку на изготовку.

— Эх ты! Дядя… Надо было раньше спрашивать, кто идет.

— Стой, говорю!

— А я не бегу. Что же дальше?

— Надо бы дежурного позвать али разводящего, — рассуждает пожилой солдат. — Тебя-то задержать положено.

— Ну и задерживай, раз положено.

— А пост на кого кинуть? Опять не положено… Вот закавыка! Как же быть, а, лейтенант?

— Соображай сам. На то ты и солдат. А я пошел.

— Стой! Стой! Стрелять буду!

— Стреляй.

— Стрелял бы, да отделенный спросит, куда патрон извел. Еще на губу угодишь… Эх, свалился ты на мою голову!.. Иди-ка отседа с глаз долой!

У дежурного по аэродрому выясняются некоторые неприятные для меня подробности:

— Были случаи самовольных прилетов в Москву. Отсюда и приказ вышел — тщательно проверять и регистрировать всех прибывающих, а кто без разрешения…

— Но я-то прибыл по заданию члена Военного совета!

— Рад верить, но где ваше полетное задание?

— Бумажонка? Кто этим занимается на фронте? Или прикажете у генерала брать письменное подтверждение его приказа?

— Прежде всего здесь не фронт. Без документов в Москве…

— Бюрократия!

— Спокойно, лейтенант! Не мы с вами издаем приказы.

— Так вот мое удостоверение. Проверяйте! И позвольте мне улететь на своем самолете! Надеюсь, в удостоверении не написано, что я немецкий шпион!

— В столицу стремятся и шпионы. Война далеко не окончена.

— Так я не в столицу стремлюсь. Как раз наоборот, на фронт! В штаб своей же армии! Это-то хоть вам понятно?

Дежурный отворачивается. Все мои доводы на него не производят впечатления. Ну как еще с ним говорить? Что делать? И вдруг появляется шальная мысль — уведу-ка я самолет!.. А на месте со своими легче разобраться. Тут же меняю тон:

— Послушайте, товарищ дежурный. Я согласен с вашими порядками. Проверяйте, регистрируйте, докладывайте командованию. Пусть они решают сами, как нам быть. Но мы с вами будем в ответе, если заржавеет мотор. Уже месяц его не прогоняли, — вру я, не краснея. — Надо бы отгонять двигатель, а?

— Техники! — кричит дежурный, — Кто свободен, с лейтенантом на стоянку, опробовать двигатель!..

Ура! Кажется, мой план сбудется! Я неторопливо, сдерживая волнение, направляюсь к выходу.

— Чемоданчик-то можно оставить, лейтенант, — говорит вслед дежурный. — Кстати, что в нем?

Помимо своей воли, отвечаю хриплым шепотом:

— На, возьми. Только осторожно — заминирован!

— Пожалуйста, откройте.

Щелкаю замками, отбрасываю крышку и вываливаю все содержимое на стол перед дежурным:

— Любуйся!

Дежурный неторопливо укладывает в чемодан сначала фуражки, потом новенькие погоны, папиросы и берется за мой старый кожаный шлем. Мне этот шлем очень дорог. Нет, это не такое уж уникальное творчество безымянного меховщика — обыкновенный стандартный шлем летчика ВВС. И мех на нем кое-где уже вытерся, и греет-то он не очень, но все равно я не сменяю его даже на самый лучший, на самый модный!..

Я протягиваю руку, беру шлем и сую его в карман.

— Оставь! — предупреждает дежурный.

В сердцах швыряю шлем на стол и шагаю к выходу.

Ревет двигатель на полных оборотах, на средних, на малых. Техник пробует его на всех режимах. Сбавляет газ и высовывает голову из кабины:

— Хорош! — кричит он. — Выключаем?

— Погоди! Проверю еще сам!..

— Проверяй, командир, да пойдем, — произносит техник.

— Хорошо, сейчас.

Я прыгаю на крыло, с крыла перебираюсь в кабину, бросаю взгляд на приборы, затем на летное поле. Самолеты, кругом самолеты — по сторонам, впереди… Но другого выхода нет! Даю полный газ, и самолет рывком трогается с места. Что-то крича, бежит техник, часовой стаскивает с плеча винтовку. Отворачиваю от бегущих навстречу самолетов, ныряю под провода высоковольтной линии, и вот я уже в воздухе. До Малоярославца иду на бреющем. Моя полетная карта осталась у дежурного вместе со всеми вещами, оказавшимися в чемодане. Теперь вся надежда на зрительную память. Свистит в ушах ветер, голову стягивает стальными обручами холода. Моя новенькая фуражка лежит на полу кабины и равнодушно поблескивает лакированным козырьком, а ветер треплет и рвет волосы…

В вечерних сумерках приземляюсь на площадке возле штаба армии и тут же спешу к Виноградову. Еще не успев отогреться, докладываю ему о перипетиях сегодняшнего дня. Генерал улыбнулся:

— Значит, вместо самолета чемоданчик в залог оставил?

— Шлем там. — Я тру обмороженные уши. — Фуражки ребятам в подарок вез, погоны…

— Сколько фуражек-то?

— Четыре.

— Завтра получишь со склада. И погоны тоже. А сейчас — чай с коньяком и спать! Раз уж прибыл — завтра полетишь в полк.

Здравствуй, родной город!

Штурм Гомеля начнется с рассветом. Об этом мне сказали досужие штабники. Вечером полк уйдет на обработку переднего края обороны противника, а к утру нанесет удар по ближним тылам и дорогам, чтобы помешать отступлению немцев. А у меня отпуск на сутки. Нет, это не отдых — я должен войти в Гомель за штурмующими войсками. Там мой старый дед, мой отчим, названые сестры. Мне дорого в этом городе все: улицы, дома, старинный парк над Сожем, школьные друзья и память о них… И воздух над Гомелем, и каждый клочок земли. А особенно тот, под сенью густого вяза, за кладбищенской часовней, где покоится моя мама. Мама, мама! Слишком рано ушла ты из жизни, и никогда уже мне не суждено прижаться губами к твоим теплым рукам, заглянуть в бездонную синеву глаз. Мама, милая мама!..

Командир полка дал мне свой «Виллис». Штурм начнется на рассвете, и я должен успеть.

Бежит, прыгает на ухабах по разбитой воронками дороге верткий «Виллис», зарывается колесами в широкие колеи, оставленные танковыми траками. Скупые пучки затененных фар выхватывают ядовитый блеск луж, подернутых фиолетовой пленкой мазута, изумрудные пятна кустарников, коричневые глыбы развороченной земли. Я тороплю шофера, но нашего Мыколу вряд ли кто в состоянии расшевелить. Машину он бережет и гнать не буде т. И уже бесполезно смотреть на часы: штурм начался час назад…

— Эх! Молоко тебе только возить, Мыкола!

— А шо! Возыв. Ось послухайтэ. Колысь у нашим колгоспи…

У Юрченко, как и у Швейка, на все случаи жизни припасены поучительные примеры, но мне сейчас его байки ни к чему. Мне нужна скорость. Ох, как нужна скорость, чтобы быстрей попасть в город.

— Слыхал! — невежливо перебиваю Мыколу. — Разве ты военный шофер? Одно название! Другие носятся как черти, а ты… Молочник!

Мыкола умолкает на полуслове и сопит обиженно носом. Но скорость не прибавляется, и я не унимаюсь:

— Ну прибавь газку! Докажи, что и ты солдат! А еще в авиации служишь, командира полка возишь! Тихоход!

— Ось што, гвардии лейтенант!.. Може, вы пеши пидыте?

— И то быстрее! — обижаюсь я. — На кой черт с тобой связался!..

Недовольные друг другом, надолго замолкаем. Автомобиль

неторопливо катится по разбитой дороге. Впереди из-за леса на посветлевшем небе клубится густой черный дым. Это горит мой город. Вид клубящегося дыма подстегивает неторопливого Мыколу. Он ведет машину уже на предельной скорости, ловко объезжая воронки и выбоины. «Виллис» скатывается к реке и останавливается.

— Все! Мабуть приихалы…

Где-то южнее, рядом с разрушенными мостами, наведены переправы, по которым переправились танки и пушки, а здесь, напротив парка, имеются только штурмовые мостики для пехоты шириной в одну-две доски. Я подхожу к воде, короткие, злые волны перекатываются через доски хлюпких мостков.

— Выдержит? — спрашиваю у пожилого солдата-сапера, который возится у понтона на берегу.

— Пехоту выдержали. А тебя… — Сапер критически оглядывает меня с ног до головы. — Это, паря, не воздух, шагай смелей, выдержит!

— Сибиряк?

— Томские мы…

— Спасибо. Мыкола, жди!

Я ступаю на танцующие доски.

— Я з вами, гвардии лейтенант! Разрешите?

Хлюпают волны через доски. За спиной слышно покряхтыванье Мыколы. Иду, не останавливаясь, не смотря на воду. Вперед! Скорее вперед!

Мостки обрываются у крутого берега парка. Неподалеку, почти у самой воды, в свежеотрытых окопах, видны брошенные карабины, искореженный взрывом гранаты пулемет, чуть подальше громоздятся патронные ящики, коробки, консервные банки — все это еще совсем недавно было необходимо стоявшим здесь в обороне гитлеровским солдатам. А где они теперь? Бежали на запад? Не всем это удалось. Те, что лежат сейчас на дне окопов серо-зелеными глыбами, уже не возьмут в руки оружия.

Идем наверх по аллее, поскрипывающей мелким гравием, туда, где дымятся стены старинного замка князей Паскевичей — творение великого Растрелли. До войны этим замком владели дети, на закопченных стенах еще сохранилась надпись «Дворец пионеров». Помнится, перед замком с давних пор красовались декоративные кустарники — сирень, жасмин, розы. Между их живописными шпалерами виднелись клумбы с азалиями, каннами, пионами, гладиолусами и тюльпанами. Кустарник и цветы создавали неповторимый по красоте и аромату лабиринт, где днем весело щебетала детвора и коротали время на тенистых

скамейках старики, а вечером влюбленные поверяли друг другу извечные тайны. Теперь нет этого сказочного уголка парка. Вместо него — проутюженная тракторами площадь, ровная, симметричная, вымеренная на сантиметры. И ровные, под линейку, ряды березовых крестов. Сколько их? Сотни, тысячи? Представители «сентиментальной нации» нашли свой покой на древней земле Белоруссии под сенью березовых крестов.

— От гады! — возмущается Юрченко. — Серед такой красоты та така погань! Скики их тут? Мабуть, тыща?

— Мало! Все равно мало! Они еще на нашей земле!.. Чума! Коричневая зараза! Уничтожать ее, чтоб не водилась на земле!

Идем по Советской. Знакомый с детства город кажется чужим. С укором глядят мертвые глазницы выгоревших окон, в молчаливом крике ощерили кровоточащие пасти разбитых подъездов кирпичные коробки домов и обдают зловонным дыханием пожарищ улицы. Запомни! — шелестит опаленная листва деревьев. Отомсти!.. Отомсти! — гудит под ногами асфальт.

Я не могу смотреть по сторонам. Я стыжусь кирпичных ран города. Родной город. Родная страна. Мы не уберегли тебя. Мы еще и не освободили тебя. Не залечили раны на твоем старом теле. Ты прости своих сынов, Родина-мать! Прости! И поверь — мы отомстим! Мы никогда не забудем ни одной твоей раны. На месте уничтоженных городов вырастут новые, еще более людные, более прекрасные, но и в этих новых городах мы оставим памятники-раны. Что бы это ни было — стена разрушенного дома или просто груда обгоревших кирпичей, — это кровавая рана на твоем теле, Родина! Мы сохраним ее и не забудем. Придет время, мы покажем твои раны своим детям и скажем им:

— Смотрите и запомните! Это следы фашизма. Берегите от него свою Родину!

Мы идем по Советской. Прыгаем через воронки, взбираемся на груды битого кирпича. Уже связисты тянут провода к каким-то штабам, уже появились на улице первые горожане, и пылят кирпичной пылью грузовики мимо стоящей на перекрестке девушки-регулировщицы. Мы ступаем по сорванной со стены ненавистной надписи готикой «Гебитскомиссариат», по валяющейся в дорожной пыли ядовито-желтой табличке с названием улицы — «Гитлерштрассе». Черта с два, окончилась «штрассе» — мы идем по Советской!

Ах, до чего медлителен Мыкола! Еле переставляет свои громадные ноги. Здоровый парень, выше меня на целую голову, а приходится замедлять шаг.

— Скорей же! Ты, оказывается, и ходишь в том же темпе, что

и ездишь! Сидел бы уж в машине!..

— Та я ж швыдко. Це вы, гвардии лейтенант, як на пожар!

— Да, на пожар! Ты понимаешь, горит мой город! Поднажми, Мыкола. Еще немного, до конца улицы. Там мой дом!

Нет, мы не пойдем в конец улицы. Вот здесь свернем в тупичок, перемахнем через забор и пройдем садом, знакомым садом, что не раз подвергался нашим мальчишеским набегам. И выйдем уже на другую улицу — нашу!

— Ну, скорей, скорей, Мыкола!

— Та зацепывсь.

Мыкола подает мне ремень своего автомата и освобождает полы шинели, которые зацепились за доски забора.

— У-ух! — больше я сказать ничего не могу. Действительно, зачем я взял с собой такого недотепу?

Еще прыжок через забор, еще десяток шагов…

Сейчас я увижу с обрыва улицу. Нашу улицу. Она идет мимо речного порта, мимо громады элеватора. Наша улица — улица мастерских и заводов. Но нет нашей улицы — лишь дымятся внизу развалины. И нет нашего дома, где остался отчим и мои маленькие сестренки…

Почему я не ухожу? Что я ищу на пепелище среди развалин? Разве закопченные кирпичи и обгорелые бревна могут рассказать о том, что произошло здесь, о моих близких? Я просто не в состоянии идти, у меня нет сил. Откуда такая слабость. Почему ноги подгибаются, будто ватные? Нет-нет, надо собраться с силами, это пройдет. Вот отдохну минутку, и станет легче. Ох, ноги… Совсем не держат…

Я присаживаюсь на груду кирпича. Юрченко услужливо протягивает зажженную спичку. Почему у него дрожат пальцы? Ведь сгорел наш дом, не его. А где сестренки, отчим? Где их искать? У кого спросить? Может быть, лучше не спрашивать, не искать? А вдруг!.. Нет, нет! Они должны быть живы! Только где их искать? Сестренки…

Мне почему-то вспоминается последний год жизни в Гомеле, когда я одновременно заканчивал десятый класс и аэроклуб. Летал в первую смену, чтобы к двум часам успеть в школу. Уставал страшно, и единственная возможность выспаться приходилась на воскресенье, когда и в школе и в аэроклубе был выходной. Но и в этот день выспаться не удавалось. Старшая сестренка, шестилетний карапуз Алька, просыпалась первой, сползала со своей кровати, взбиралась ко мне, толкала, тормошила и делала большие глаза:

— Скорей вставай! Ты проспал!

— Алька, отстань! Дай поспать!

— Вставай, вставай, лежебока!

— Алька! Шлепка дам!

— Не дашь! Маме пожалуюсь!

Какой уж тут сон. Я соскакивал с постели, подхватывал на руки Альку, и мы шли с ней на реку. Из дому выходили потихоньку, крадучись, чтобы не заметила мачеха. Она страшно боялась реки. Алька сидела на моем плече, многозначительным шепотом прямо в ухо поверяла свои детские тайны и тут же заливалась беззаботным смехом. Ах, Алька, Алька!..

— Гвардии лейтенант, а, гвардии лейтенант! — Юрченко положил руку на мое плечо. — О ця подлюка от усих хвороб. Спытайте?

Из своих бездонных карманов Мыкола достает лимонно-желтую трофейную флягу. Поперек нее черная надпись.

— Фоергеферлих, — читаю я вслух. — Огнеопасно. Что там у тебя?

— Та вы ж сами сказали — огнеопасно! Це горилка. У кумы разжывсь. Добра горилка. Горыть! Мицна, як роднянска упада!

— Ох, дипломат! Самому выпить захотелось?

— Та ни! Це ж я за вас… Пробачте. Я ж бачу — гирко вам…

Ловкими движениями фокусника Мыкола извлекает из карманов носовой платок, расстилает его на кирпичах, достает хлеб, кусок сала, вслед за этим появляется маленький граненый стаканчик. Мыкола наполняет его доверху и подает мне.

— Будь здоров, Мыкола.

— Спосыби. Шоб вы знайшлы своих! Та хай Гитлер сказытся!

— Точно!

Мы сидим на кирпичах и молча жуем. Пронзительный ветер нагнал низкие облака, и они сочатся мелким, надоедливым дождем. Дождь прибил дым, увлажнил пепел, смочил развалины, и они вдруг заблестели, будто покрытые лаком.

Немногочисленные люди, которые копошились в дальних развалинах, что-то растаскивая и отыскивая под грудами обгоревших бревен, оставили свое занятие и теперь проходят мимо нас, устремив вдаль отрешенные взгляды и понуро опустив плечи, будто согнутые непосильной ношей. Оно и понятно — люди несут свое горе. А горе не красит человека, оно обрушивается нежданно и оставляет неизгладимые следы. Как у того вон мужчины, что остановился неподалеку от пепелища нашего дома и обнажил седую голову. Я смотрю на полы его серой солдатской шинели, и что-то неуловимо родное, близкое чудится мне в этом незнакомом человеке. Вот он повернул голову и посмотрел в нашу сторону. Я вскакиваю на ноги и бегу к нему:

— Отец!

— Сын!

Я обнимаю отчима, прижимаюсь к его колючему, давно не бритому лицу, торопливо провожу ладонями по его седым волосам, плечам, рукам… Я еще не могу поверить, что это действительность, что это не сон…

— Папа…

Мне хочется рассказать ему так много. О пройденных годах. О горечи отступлений. О радости побед. Мне хочется расспросить его о всех днях с того самого, когда он проводил меня в военное училище, и до сегодняшнего, но я вижу на его плечах погоны, понимаю, что у него так же нет времени, как и у меня, и я спешу:

— Где сестренки? Где… мама?

Я никогда не называл так мачеху — только «тетя Лена». Я уважал ее, может быть, по-своему любил, но назвать мамой… Мать бывает одна.

— Мама с девочками эвакуированы на Урал.

— А ты? Ты же путеец. Почему на тебе форма?

— Железнодорожный батальон. Вот начали ремонт моста.

— Тебе тяжело, отец? Ты…

— Как всем. Да, я не молод. Но война для всех. Для всей России.

— А дед? Он уехал со всеми?

— Ты не знаешь нашего дедушку? Остался. Сколько я его ни уговаривал… «Здесь могила моей дочери, здесь все, что у меня осталось…» Он не хотел даже слушать об отъезде.

— Так идем к нему! Что же мы стоим?

— Мы не пойдем.

— Отец! Он все враждует с тобой? Ох, суровый мой дед! Идем! Он будет рад нам обоим!

— Его нет, сынок…

— Как — нет?

— Месяц назад его расстреляли немцы. За связь с партизанами. Так рассказали соседи… Его тайком утащили ночью и похоронили на огороде…

— Ты видел это место?

— Нет.

— Почему? Ты же был там?

— Был. Но тех, кто хоронил, тоже нет…

— Немцы?

— Да…

Я прижимаюсь лицом к плечу отчима. Ах, этот дождь! Какая мокрая у отчима шинель…

Он мог не лететь

Как обычно, в период между наступательными операциями полк ведет разведку, лишь изредка нанося бомбовые удары по оборонительным сооружениям и скоплениям техники противника. Относительное затишье на фронте командование полка использует для тренировок летчиков нового пополнения.

Но в начале марта 1944 года пришел приказ о нашем перебазировании на новое место — ближе к линии фронта. Это всегда верный признак близкого наступления. И сразу же оживились летчики, собранней стал весь личный состав полка.

Не помню уже теперь, какие причины задержали меня на месте прежней дислокации, на новый аэродром близ деревни Щитня мы прилетели со штурманом Кулидой, когда наши однополчане уже основательно там обжились.

— Вовремя появились! — встретили нас в эскадрилье. — Ваш черед заготовлять дровишки. Пила и топор в сарае, а ручки — ваши! Инструкция к пользованию инструментами отсутствует! Есть предложение: после приобретения соответствующего опыта штурману Кулиде составить таковую и прикрепить надежным способом в районе рабочего места!..

— Всё? — Кулида презрительно шмыгает носом. — Ораторы! Столько трепа из-за пустяка. Пошли, командир!

Мне осталось одно — следовать за ним. Тут не отвертишься.

Сарай как сарай. Поленница саженных березовых плах, козлы, пила и топор. В дальнем углу пегая корова пережевывает жвачку и, глядя на нас, презрительно кривит влажные губы. Или мне так кажется?

Кулида быстро укладывает плаху на козлы и протягивает мне пилу. Ровно звенит стальное полотно, летят белые брызги опилок.

— Вжик-вжик! Вжик-вжик!

Соскучились руки по работе. Ходят под гимнастеркой упругие мускулы. Звенит в руках пила: вжик-вжик!

— Му-уу!

— Вы недовольны чем-то, буренушка? Звук пилы вам не нравится?

— Му-уу!

Му! Мычит и гребет землю копытом в своем углу корова. Это ее личное дело. На то она и корова.

— Вжи-ик! — последний вскрик пилы, и падает полено, распиленное пополам. Кулида нагибается ко второй плахе. И тут удар коровьих рогов едва не сшибает его с ног. Э-э! Удар запрещенный — ниже пояса!

До двери два прыжка. Я предпочитаю удалиться, но… дверь заперта снаружи. В щелях между досок успеваю заметить чьи-то любопытные глазищи.

— Черти! Откройте!

Молчание. А Кулида и корова уже состязаются в спринтерском беге. Замечаю, что на противоположной стене вынуты два верхних бревна. Если разбежаться… Что значит лучший игрок баскетбольной команды! Молодец, Кулида! Вот это прыжок! Только сапоги мелькнули под крышей. Но ситуация осложняется, теперь уже я становлюсь объектом пристального внимания этого двурогого существа. Жалобно канючу в дверные доски:

— Братцы, пустите! Век не забуду! Табак отдам! Боевые сто грамм в рот не возьму. Пустите, черти! Я ж не тореадор!

— Будешь!

— Возьми полешко вместо шпаги…

— Снимай гимнастерку, заменит плащ. И опять же — легче бегать!

— Тореадор! Смелее в бой! — Это голос Бориса. Тоже мне друг. Но полешком вооружаюсь и стараюсь держаться ближе к коровьему хвосту. А за стеной вопят, как на стадионе:

— Давай! Давай!

— Смелей, тореро!

Мне отвечать некогда. С тоской поглядываю на спасительную дыру под крышей, прикидываю, что мне такую высоту не одолеть, и бегу. Не поймешь, кто за кем гонится — то ли корова за мной, то ли я за коровой. Подхватываю одно полешко и бросаю его у стены, где недостает двух верхних бревен. Второе полешко ложится на первое. Так. Теперь сильный рывок. Коровьи рога ударом в мягкое место помогают приобрести достаточное ускорение, и я шлепаюсь в снег по ту сторону сарая. У-ух!

Рывком распахиваю дверь общежития. Бешено стучит сердце, и дыхание, как у загнанной лошади. Дневальный отрывает нос от книги.

— Т-с-с! — предупреждающе поднимает он палец. — Эскадрилья отдыхает перед полетами.

— Отдыхает? — невольно перехожу на шепот и оглядываюсь: действительно, все лежат на нарах.

— Отдыхают?.. А я… я у вас тореадором выступаю?

Дневальный молча прикладывает палец к губам. Я тоже молча достаю пистолет и восемь раз стреляю в потолок.

— Салют, камарадос!

— Привет, старина! — Борис притягивает меня за руку к себе на койку. — Не сердишься, друже?..

Разве можно сердиться на друга? Тем более что он…

Эх, Борис, Борис! Я-то знаю, почему все реже и реже рокочут струны твоей гитары. Уж если ты и берешь ее в руки, то совсем не для нас. Знаю, почему ты все чаще уходишь к широкому плесу Днепра и что за беспокойная чертовинка появилась в твоих серых глазах. Впрочем, ни для кого уже не секрет, зачем вечерами появляется у самолетов тонкая, как днепровская тростинка, фигурка Тоси. Нет, не меня провожает она в полет, не мне навстречу распахиваются ее глаза, которые не в состоянии скрыть тревогу.

Эх, Борис, Борис, любит Тося тебя, черта!..

С Борисом мы друзья. Пришел он к нам в полк больше года назад вместе с Иваном Казюрой. Оба они окончили истребительное училище, летали на И-15 и на «Чайке»,[17] и на первых порах во всем их поведении чувствовалось нескрываемое пренебрежение к нашим тихоходам. Как же — летчики-истребители! Но первые же полеты на бомбежку показали, что и на наших «стрекозах» надо уметь летать, надо осваивать тактику ночного боя.

Вначале между мной и Борисом, назначенным в нашу эскадрилью, пролегло было скрытое соперничество, которое обычно возникает между молодыми летчиками. Мы оба были младшими летчиками в звеньях, то есть находились на первой ступени продвижения по воинской службе и ревниво следили за успехами друг друга. Если командир эскадрильи хвалил на разборах полетов Бориса, я принимал это как упрек в свой адрес. Если командир отмечал мой успех, Борис с трудом сохранял равнодушие. Но все это в прошлом. Теперь мы оба командиры звеньев. Позади сотни боевых вылетов, сотни боев. От былого соперничества не осталось и следа. Зато налицо симпатия, привязанность и искренняя дружба — ненавязчивая, спокойная, настоящая мужская дружба, в которой нет места недомолвкам и мелочным копаниям в душе. Мы понимаем друг друга без слов, нам стоит только взглянуть друг другу в глаза.

Однажды в свободный от полетов вечер, накануне Нового года, Борис пригласил меня в общежитие к девчатам из нашего БАО. До этого вечера я как-то не обращал внимания на них. Одетые в одинаковую мешковатую зеленую форму и кирзовые сапоги, все они выглядели на одно лицо. Недаром острые на язык солдаты называли их не иначе как «Воен-Машами». На этот раз девушки были в платьях. В обыкновенных гражданских платьях. Каждая в своем, и каждая — разная! И от этого все их лица стали тоже не похожими друг на друга. И вообще, я увидел вдруг в наших девчонках женщин. Это открытие настолько озадачило

меня, что я весь вечер просидел в дальнем углу комнаты, так и не решаясь вступить в общий разговор.

Зато Борис сразу овладел вниманием девчат. Он знал уйму песен, хорошо аккомпанировал на гитаре и к тому же обладал довольно приятным баритоном. И Тося весь вечер не отходила от него. Рядом с ним, статным красавцем, она казалась еще меньше, еще стройнее и выглядела скорее девчонкой-школьницей, а уж совсем не солдатом. Что их влекло друг к другу, таких разных, таких непохожих? Музыка? Песни? Только позже я понял, что это была любовь. Та самая любовь, что всегда приходит неожиданно, не считаясь даже с войной.

Любовь… А измученная земля за Днепром задыхается в огне пожарищ, в смрадной вони трупов. Изрытая шрамами окопов, разорванная бомбами, залитая кровью, она хочет мира и покоя. Над линией фронта повисла обманчивая тишина. С наступлением темноты под мерным топотом солдатских сапог вздыхают дороги. С наступлением темноты приглушенно урчат моторы, лязгают танковые траки. Фронт подтягивает резервы, сосредоточивает силы для будущего удара.

В ночной тишине растворяются запахи полевых цветов. Запахи любви.

Полк отдыхает. Но на аэродроме техники готовят самолеты, подвешивают бомбы и набивают патронами металлические звенья пулеметных лент.

Эх, любовь…

В землянке КП, под накатом из неошкуренных бревен, выстроились шесть экипажей. Проверенных, опытных, обожженных пороховым дымом и спаянных боевой дружбой, единством взглядов и мыслей. На правом фланге лейтенанты Обещенко и Зотов, за ними капитаны Семаго и Швецов, старший лейтенант Мартынов и лейтенант Шамаев, затем лейтенанты Казюра и Краснолобов, Гаврилов и Кисляков и, наконец, я со своим неизменным штурманом лейтенантом Пивнем.

Командир полка вполголоса зачитывает боевой приказ. Маршрут Бориса на сегодня снят. Борис провожает меня к самолету, помогает натянуть лямки парашюта, а сам при этом нетерпеливо поглядывает в сторону землянки КП.

— Ладно уж, иди. Ждет!

— Угу. Ни пуха… Встречу!

— Поверил. Катись уж… Ромео!

Борис не знает, как я ему чертовски завидую. Да, завидую. Потому что он до краев заполнен любовью и живет только ею, живет только в настоящем времени — полностью и всласть.

Ландин проводит ладонью по крылу, и непонятно, кому

адресованы его слова — мне или самолету:

— Поскорей возвращайся, старик…

А из-за леса, под всхлипывание расстроенного баяна, доносится обрывок полковой песни:

Взлетишь ты в ночку темную,
Весеннюю, безлунную…
Идешь по огонькам к передовой:
Там ждут тебя зенитчики,
Там ждут тебя прожекторы,
А «мессеры» гуляют над тобой…

Я защелкиваю карабин парашюта и переваливаюсь через борт кабины.

— От винта!

— Есть!

Тугая струя воздуха отбрасывает назад огоньки старта. В их мерцающем свете мелькают чьи-то темные силуэты. Кто-то машет руками. Может, это Ландин? А может, Борис и Тося?

Эх, Тося! Сегодня растает, непременно растает льдинка тревоги в твоих глазах. Сегодня ты будешь смаковать, как старое вино, каждую минуту покоя и тишины — свое тревожное военное счастье…

…Над линией фронта нас встречает привычный фейерверк — вспышки ракет, мерцание огоньков выстрелов. Сквозь сверкание огненных трасс и разрывы зенитных снарядов входим в лагерь противника, чтобы узнать его тайное из тайных — передвижение и дислокацию войск.

Наверное, в эфире и по проводам полевых телефонов уже несутся тревожные предупреждения:

— Ахтунг! Ахтунг! Русские разведчики в воздухе!

Наверное, сворачивают на обочины автоколонны, прячутся в укрытия танки. А мы до боли в глазах всматриваемся в очертания знакомых перелесков, дорог, деревень. Напряженный взгляд отыскивает в редколесье у проселочной дороги какие-то бесформенные пятна. Вчера их здесь не было.

— Что бы это могло быть? — спрашиваю у Николая.

— Могут быть автомашины, а то и танки. Все может быть.

— Проверим?

Николай перебрасывает на борт турель пулемета, и к земле несется голубой пунктир короткой очереди. Несколько пуль рикошетят о темные предметы.

— Танки! Коля, танки!

— Разведчик не может предполагать — он должен знать! — наставительно замечает Николай.

— Заходи для фотографирования. Снимок — документ. Вникаешь?

— Профессор!

Пока я строю заход, Николай успевает произвести расчеты. Небо полыхает вспышками фотобомб. В их ослепительном свете успеваю заметить торчащие из-под наваленных ветвей длинные стволы пушек.

Немцы поняли, что обнаружены, и ощерились огнем зениток. Вокруг нашего самолета хлопают разрывы, проносятся огни пулеметных трасс.

Мы уклоняемся от выстрелов и идем дальше вдоль намеченного маршрута, не сбросив на головы врага бомбы: рисковать мы не имеем права, добытые сведения дороже одного подбитого или уничтоженного танка.

И опять всматриваемся в черноту ночи, опять стараемся увидеть, понять, разгадать.

Поворот, еще поворот, и мы ложимся на обратный курс. Николая явно беспокоят неиспользованные бомбы.

— Если ничего не обнаружим, ударим по огневым точкам на переднем крае. Поможем пехоте, — успокаиваю я его.

Наш маршрут проходит недалеко от Бобруйска. Где-то рядом в темноте затаился город, занятый врагом, на северной окраине которого большой вражеский аэродром. «Ударить бы по нему, — мелькает в голове мысль. — Сейчас на аэродроме, должно быть, полно бомбардировщиков и истребителей». О существовании этого аэродрома мы знаем давно, но почему-то до сих пор еще нет приказа об его уничтожении. Ну что ж, обойдем его стороной…

И вдруг темнота ночи раскалывается острыми мечами прожекторов, суматошно обшаривающих небо. В воздухе вспыхивают ФОТАБы, и тут же лучи вражеских прожекторов сходятся вместе на светлой точке самолета. Мгновенно включается вся зенитная оборона аэродрома. Снаряды, кажется, прошивают насквозь светлячок самолета. Решение приходит само собой. Увеличиваю обороты двигателя. Самолет послушно набирает высоту.

— К атаке, Николай!

— Есть!

Немцы, увлеченные боем, не замечают нашего приближения. Тем лучше!

Одновременно с разрывами наших бомб на земле на нас обрушивается шквальный огонь. Лучи прожекторов режут глаза, слепят, давят. Все внимание приборам! Только бы не потерять

пространственное положение. Тогда конец…

Беспрерывно маневрируя, стараюсь вырваться из гремящего огня, из ослепительного света. Но он повсюду. И вдруг — тишина. Разворачиваю самолет к востоку, и тут вновь проносятся огненные трассы. Только теперь они идут не с земли, а откуда-то сверху. Неужели я потерял пространственное положение и не заметил, как самолет перевернулся вверх колесами?

— Справа в хвосте истребитель! — кричит Николай.

Ага, все становится на свои места. Значит, на этом участке фронта у немцев появились ночные истребители, которых раньше не было.

Николай отстреливается от истребителя, но ослепительный свет прожектора мешает ему вести прицельный огонь, так же как мне пилотировать.

Уже почти теряя надежду вырваться из огненного плена, тяну штурвал на себя и одновременно даю правую ногу. Наш самолет кувыркается в какой-то замысловатой фигуре. Из фюзеляжа в лицо летит мусор, забытый техником гаечный ключ больно ударяет по голове.

А лучи прожекторов шарят уже выше нас. Чтобы опять не попасть в их коварный свет, продолжаю резкое снижение, но, опережая нас, вновь летят огненные трассы, выпускаемые вражеским истребителем. На какой-то миг замечаю выше впереди темный силуэт, задираю нос и нажимаю гашетки эрэсов. Истребитель шарахается в сторону и пропадает в ночи…

Жаль…

В эту ночь погиб Борис Обещенко. Это его самолет серебряным светлячком метался в лучах прожекторов, это к нему мы спешили на помощь…

Проводив нас, Борис вернулся в землянку КП, где пахло дымком и густым запахом свежескошенного сена, где у полевых телефонов сидела Тося. Его Тося! Борис пристроился на дощатых нарах, любуясь ловкими движениями ее рук, золотыми в отблеске электрического света локонами, разбросанными по плечам. Он весь отдался тому молчаливому, нежному созерцанию, на которое способны только влюбленные.

Когда пришла телеграмма с приказанием заснять вражеский аэродром у Бобруйска, Тося передала узкий листок бумаги командиру полка. Он внимательно прочел содержимое и молча протянул Борису.

Борис мог не лететь, его экипажу предоставили отдых. В своих мечтах он уже распланировал каждую минуту счастья, которое дарила им сегодняшняя ночь. Вот сменится Тося, и они уйдут в благоухание майских трав… Он мог не лететь, но в полку

не было лучших мастеров фоторазведки, чем экипаж Обещенко — Зотов.

Командир полка лишь пристально взглянул на Бориса, тот молча наклонил голову и взял в руки шлем.

— Борис! — взволнованно вскрикнула Тося, заставив его вздрогнуть.

— Спокойно, Тося, — ответил Борис, положив на ее плечо широкую ладонь. — Через пару часов встречай. Как раз к концу смены…

Тося на миг приникла щекой к его руке. Борис улыбнулся, и ответная улыбка скользнула по губам Тоси. Улыбка, скрывшая страх. Как тяжело провожать! А разве легче встречать, зная, что завтра он опять уйдет в это страшное небо? Но об этом Тося не скажет Борису. Она будет молчать. Только подушке на постели в девичьем общежитии доверяет Тося свои тревоги, свой невысказанный страх за него. А тут надо улыбаться, надо верить в свое счастье. Надо!

— Я «Луна». Слушаю вас, я «Луна», — улыбается Тося. — Двадцать первый, вас просит тринадцатый. Соединяю. Я «Луна»…

А слезы без спроса наполняют глаза.

Борис идет к самолету и, вспоминая добрую улыбку Тоси, тоже улыбается. Своей Тосе…

Самолет, загруженный только фотобомбами, легко набрал высоту, подминая под крылья темноту ночи. Ровно гудит двигатель, отблески голубого выхлопа веселыми зайчиками заскакивают в кабину, на мгновение освещая склоненное лицо штурмана.

— Считаешь? — интересуется Борис.

— Уже рассчитал, — отвечает Зотов. — Боевая высота тысяча пятьсот метров. Курс триста градусов. Пройдем под углом к посадочной полосе.

— Что же, задумано неплохо.

Медленно текут минуты полета.

Медленно скребет самолет высоту.

— Тысяча пятьсот.

— Добро. Так держать.

Внизу едва заметный свинцовый блеск. По нему угадывается река. Борис доворачивает к реке. Где-то там, на противоположном берегу, Бобруйск, на окраине которого цель — вражеский аэродром. Борис прибирает обороты двигателя, и рев сменяется негромким бормотанием. Николай Зотов приникает к прицелу.

— Десяток градусов влево! Так держать!

Борис смотрит только на приборы. Города, растворившегося в чернильной темноте, он не видит. Но Борис знает, что на звук

мотора уже поворачиваются чуткие уши звукоуловителей, и расчеты зенитчиков лихорадочно высчитывают скорость, высоту, дистанцию…

Надо успеть. Надо отснять цель до первых залпов, до ослепительного света прожекторов!

Надо!

Вспышки фотобомб следуют одна за другой — серией. Борису даже кажется, что он ощущает щелчки затвора фотоаппарата, — так натянуты нервы.

А земля уже изрыгает огонь зениток и протягивает к нему цепкие лучи прожекторов. Борис увеличивает скорость и со снижением уходит на запад, во вражеский тыл, чтобы сбить с толку, обмануть противника. Маневр удался. Лучи прожекторов шарят на востоке, в пустынном небе. Туда же направлен и заградительный огонь.

— Повторим с обратным курсом, — предлагает Борис. — Для гарантии.

— Снимки должны получиться, Борис, — отвечает Зотов. — Ты смотри, как фрицы злобствуют!

— И все же надо повторить заход. Завтра сюда пойдут штурмовики и истребители. Надо снять всю систему обороны. Наши снимки спасут не одну жизнь летчиков…

— Тогда заходи! Разворачивайся на курс сто пятьдесят градусов. Да набери еще двести метров высоты. Так! Хорошо! На боевом!

Огненные хлысты пулеметных трасс полосуют небо. Прожекторы мечутся из стороны в сторону, пока один из них не натыкается на самолет. Тогда к нему присоединяются остальные.

В ослепительном свете прожекторов теряется чувство самолета — особое чувство летчика, которое позволяет ощущать самолет как продолжение своего тела, — нарушается восприятие пространства и времени. Даже перед нацеленным объективом фотоаппарата каждый человек чувствует себя скованным и будто деревенеет. А в мертвящем свете прожектора к этому значительно усиленному ощущению прибавляется еще одно — летчику начинает казаться, что он, совершенно голый, выставлен на всеобщее обозрение земли. Вот почему считаные секунды полета в свете прожекторов превращаются в бремя часов, пронизанных к тому же взрывами снарядов. Что и говорить, ощущение не из приятных. И чтобы вернуться в реальный мир действительности, надо восстановить контакт с человеком, услышать хотя бы его голос.

— Вот гады! — кричит Борис. — Засветят нам пленку!

— Не засветят! — смеется Зотов. — Зато показали всю свою

оборону! Снимаю, Борис!

— Давай!

— Порядок! Можно отворачивать!

Борис не отвечает. А самолет почему-то идет по прямой, медленно теряя высоту. Уже остались позади лучи прожекторов, стих огонь зениток. И тут Зотов обращает внимание на плексигласовый козырек своей кабины: он покрылся темными пятнами.

— Борис!.. Николай Зотов хватается за второй штурвал и ощущает его непомерную тяжесть.

— Борис!..

Встречный поток воздуха размазывает по козырьку штурманской кабины темные пятна, и они превращаются в полосы.

Полосы струятся к краям козырька, и ветер забрасывает капли в кабину Зотова. Он ощущает на губах солоноватый вкус крови…

Борис мог не лететь, но он был коммунистом.

Сколько суровой беспощадности в слове «был»…

Полк в скорбном молчании выстраивается вокруг светлого холмика земли.

Рядом со мной, склонив голову на мое плечо, стоит первая и последняя любовь Бориса.

— Мы разобьем врага! Смерть — за смерть! Кровь — за кровь!..

Мы молчим, и наши глаза сухи. Плачет одна только Тося. Разве эти гневные слова вернут ей Бориса, разве спасут ее любовь? Плачь, Тося. Говорят, слезы снимают боль с сердца. А память? Как быть с нею? Но ты не думай об этом, ты плачь, Тося…

* * *

День и ночь идет подготовка к наступлению. Каждую ночь полк вылетает на боевое задание.

Узкий плацдарм на левом берегу Днепра острым клином вошел в линию фронта на стыке двух наших армий и не на шутку беспокоит командующего фронтом генерала Рокоссовского: ударят немцы в тыл нашим войскам и сорвут намеченное наступление. Для ликвидации плацдарма необходимо уничтожить мост — единственную артерию, питающую плацдарм, поддерживающую его живучесть. Уничтожение моста поручено

нашему гвардейскому полку.

Уже которую ночь, прорываясь сквозь плотный заградительный огонь, наши самолеты сбрасывают бомбы, но мост невредим, как будто его кто-то заговорил, и опять по нему идут эшелоны.

Полк теряет экипажи, самолеты, а мост цел. Бомбы либо проскальзывают в просветы между металлическими фермами, либо вырывают небольшие куски балок, и тогда саперы противника тут же наваривают новые.

Уничтожить мост во что бы то ни стало! Это приказ фронта. А как это сделать?

Неизвестно у кого — то ли у Николая Нетужилова, то ли у штурмана эскадрильи Владимира Семаго, с которым он последнее время летает, родился этот простой и донельзя дерзкий план. Но оба держат его в тайне даже от командира полка, которого чуть ли не ежеминутно теребит то штаб дивизии, то штаб армии с одним и тем же требованием — мост! И все же, узнай командир полка, что задумали Нетужилов и Семаго, их план потерпит крах. Вот почему они молча наблюдают за тем, как оружейники подвешивают бомбы под их самолетом. И только когда оружейники переходят к другим самолетам, Семаго переставляет взрыватели бомб с положения мгновенного взрыва на замедление, а Нетужилов скрепляет бомбы между собой припасенным для этого стальным тросом. Первая часть плана выполнена!

Взвивается зеленая ракета — сигнал к вылету, и самолеты один за другим уходят в ночное небо, за линию фронта, к злополучному мосту.

Для выполнения основной части плана Нетужилову и Семаго надо снизиться до предельно малой высоты и пройти точно над полотном дороги. Тогда бомбы, связанные тросом, запутаются в фермах, и общий взрыв разрушит мост.

Самолет на малой высоте подходит к цели. Нетужилов включает бортовые огни:

— Готов, Володя?

— Готов!

Самолет выходит на боевой курс.

Наверное, фашистские зенитчики озадачены необычным видом самолета, идущего на мост с зажженными огнями. На секунду стихает огонь, но тут же обрушивается с новой силой. Теперь зенитки ведут огонь по ясно видимой цели, по самолету, обозначившему себя бортовыми огнями.

А мост горбатится, выгибается навстречу. Опадают водяные столбы разрывов, и вроде бы слабеет огонь противника. Это

друзья-однополчане, поняв маневр Нетужилова и Семаго, прикрывают их своим огнем. Голубые пунктиры пулеметных трасс и яркие полосы реактивных снарядов исчерчивают небо в сторону зенитных батарей.

За хвостом самолета глухо ухают разрывы бомб. Взрывная волна догоняет самолет, и он подпрыгивает на ее упругом теле. Вновь сатанеют фашистские батареи. И вдруг страшная боль в ноге сдавливает сердце, затрудняет дыхание летчика.

Глаза затягиваются багровым туманом…

— Бери управление, Володя, — едва выдавливает короткую фразу Нетужилов. — Бери…

В землянке КП врач полка разрезает пропитанные кровью обрывки комбинезона. Нетужилов, сдерживая стон, скрипит зубами:

— Скажи, доктор, буду летать?

Врач не отвечает. Он пытается наложить жгут, пытается остановить кровотечение.

— Не молчи. Скажи… буду?

— Мужайся, Коля. Боюсь, что придется ампутировать.

Нетужилов закрывает глаза. Молчит в «санитарке», которая прыгает по выбоинам полевой дороги. Молчит и в госпитале.

И еще долго болит раздробленное снарядом колено, болит простреленная ступня… Если эта боль приходит во сне, Нетужилову кажется, что ампутации не было, что нога еще поболит немного и перестанет и тогда он пойдет на аэродром и будет летать… Но он уже не летал…. Без ног не летают.

Уже ближе к концу войны, в случайном разговоре о прошлых боях, Володя Семаго поделился этим тайным способом бомбардировки вражеских объектов. И удивительно, что тогда же эта авантюрная идея пришла в голову мне и штурману Николаю Ждановскому, а мой преданный Ландин где-то добывал куски стального троса и не раз крепил им две «сотки», подвешенные под фюзеляжем нашего самолета, впереди было еще ох как много мостов!..

На КП настойчиво пищат зуммеры полевых телефонов:

— «Венера», я «Ястреб»! — вызывает Тося штаб дивизии. — Товарищ гвардии подполковник, «Венера» слушает!

— «Венера»? Товарищ тридцать первый? Докладывает «Ястреб-Один». Цель накрыта! Нет, имена их неизвестны. Так точно. Все на базе. Тяжело ранен лейтенант Нетужилов. Есть! Хорошо. Передам. Служу Советскому Союзу!..

Командир осторожно, будто очень хрупкую вещь, кладет трубку на стол рядом с Тосей и легким движением пальцев касается ее волос:

— Вот так, дочка… Война. И спрячь слезы! Еще многие не дойдут до Победы. Нелегок к ней путь. Запомни, Тося, нелегок!..

Командир поворачивается к летчикам:

— Товарищи! За уничтожение моста командир дивизии всем объявляет благодарность. Сегодня утром войска Белорусского фронта переходят в наступление. Приказано ударить по переднему краю противника, проложить путь пехоте. По самолетам, друзья!..

Эта безвестная деревушка на берегу Днепра, приютившая полк на длинном пути войны, сохранилась в памяти навсегда. В Щитне могила Бориса. Вот уже много лет я собираюсь приехать в Щитню каким-либо погожим майским днем и не решаюсь. Нет, я не страшусь встречи с прошлым, я просто боюсь… Боюсь, что все покажется не таким, как это отпечаталось в памяти. Уже не раз было так, что, навестив какой-либо город или деревушку, что оказались на нашей тяжелой военной дороге, я не находил там ничего прежнего, знакомого, близкого…

Понимаю, что жизнь не стоит на месте, она изменяется. Меняется и лицо нашей страны. Возникают новые города, обновляются старые, и однажды знакомая с детства улица становится вдруг чужой. И в сердце откладывается какая-то горечь. Уж так устроен человек, что все прошлое ему всегда особо дорого. Не случайно он вспоминает свое прошлое с любовью. Может, это оттого, что с возрастом люди становятся сентиментальными. А может, люди дорожат своим прошлым потому, что оно связывает их, живых, с теми, кого уже нет. Так или иначе, но я никак не решусь посетить белорусскую деревушку Щитня, где похоронен мой друг Борис Обещенко. Ту самую Щитню, которая увековечена нашей памятью в немудреной песенке, сочиненной нашими полковыми поэтами Иваном Шамаевым и Николаем Кисляковым на музыку Володи Мехонцева и Николая Ширяева. Песенку, которую под звон гитары любили спеть Тося с Борисом:

На самой топкой местности
Забыта в неизвестности,
Стоит Щитня на берегу Днепра,
И там в лесу на просеке
Стоят друг к другу носиком
Старенькие скромные ПО-2.
Там полк стоял Меняева,
Джангирова, Гаврилова,
Семенова, Поветкина,
Кильшток.

Кричал на старте Бекишев:
Давай скорей выруливай!
А Гуторов давал нам ветерок.
Взлетишь ты в ночку темную,
Весеннюю, безлунную,
Идешь по огонькам к передовой…
Там ждут тебя зенитчики,
Там ждут тебя прожекторы,
А «мессеры» гуляют над тобой!..

«Фоккер» в хвосте

Не прошло и месяца со дня гибели Бориса, а мне кажется, что все уже забыли о нем и его место кем-то занято. Так оно и есть: уже другой летчик сидит на месте Бориса за общим столом и спит на его койке. А у меня в сердце все та же пустота. Друга заменить невозможно… Наверное, поэтому я чересчур пристрастно наблюдаю за Тосей. Ее улыбки мне кажутся слишком радостными, а взгляды, брошенные на летчиков, слишком многозначительными, обещающими.

Я потерял друга, потерял человека, которому мог доверить все: и пустую болтовню, и серьезные размышления о жизни.

Тося потеряла любовь. Не большее ли это чувство, чем дружба? Наверное, Борис доверял ей то, о чем не решался сказать даже мне. И все же дружба выше любви! Я в этом уверен. Рано или поздно Тося утешится, найдет замену. А я? Кто заменит мне старого друга, с которым пройдены сотни километров военных дорог и разделена не одна опасность? Уж мне-то нечего ждать: ушедший из жизни не возвращается. Но и жизнь не прекращается со смертью друзей, ни в коем случае не прекращается. Место мертвых в строю занимают живые. А в сердце?.. И все же не слишком ли много я хочу от Тоси? Да и вправе ли кто требовать от нее верности мертвому? Тем не менее я продолжаю смотреть на Тосю осуждающе. Едкая горечь утраты ржавчиной разъедает душу, точит мозг, не дает забыться. Нужна какая-то отдушина, надо встряхнуться, взять себя в руки, но здесь все напоминает о Борисе. Через несколько дней узнаю, что Тося уже служит в другом полку. Значит, не выдержала. Значит, ей было невмоготу. А куда попроситься мне? Да и можно ли уйти от самого себя? Нет, так дальше нельзя, надо немного расслабиться, а не то можно просто сойти с ума.

Сегодняшней ночью опять предстоят боевые вылеты. Где-то скопились танки противника, концентрируется пехота, и полку приказано нанести по ним удар. Вроде совсем недавно село за горизонт солнце, а в небе уже разлит лимонно-желтый свет луны, и потому кажется, что день еще не окончился, только стало немного темнее. Почему-то болят глаза, будто в них насыпали песок. Так уже было под Сталинградом, когда мы не имели времени выспаться.

— Как ты находишь видимость? — спрашиваю я у Ивана Шамаева, штурмана, который сегодня со мной..

— Отличная! Сто километров! И луна в полную морду! Как днем.

М-да! Но откуда взялась эта дымка перед глазами? Уж не предвестие ли тумана? Впрочем, надо отоспаться и выбросить все мысли из головы, решаю я.

— Почему тебя заинтересовала видимость? — настораживается Иван.

— Да так. При полной луне, если появятся перистые облака, будем видны как на ладони…

— А… Вроде сегодня синоптики не обещали облачности.

— Не обещали…

А откуда им знать? Немцы не дадут сводки погоды, а ветер с запада. С запада идет погода… Опять в моей голове начинают копошиться мысли, мелькают обрывки воспоминаний, и я ловлю себя на том, что все это связано с Борисом. Вот так же мы шли с ним к аэродрому через это поле и так же светила луна. О чем тогда говорил Борис? А, о своих предчувствиях! Черт возьми! Как я мог это забыть! Ведь он говорил тогда о недолговечности земной жизни человека, как будто предсказывал свою гибель. Сам! Помнится, я не прислушался к его словам, не придал им значения. А потом? Что было потом? А-а, этот разговор с прежним командиром дивизии генералом Борисенко. До сих пор не в состоянии забыть его гневное лицо и тот незабываемый диалог:

— Бери самолет Обещенко и вылетай на повторное фотографирование!

— Товарищ генерал, я полечу на своем самолете. На нем такой же фотоаппарат. Вот зарядят кассету, и я готов к вылету.

— Ты слыхал приказание? Вылетать на самолете Обещенко!

— На его самолете я не полечу!

— Что?! Ты отказываешься выполнить боевое задание? Да я!..

Интересно, что тогда торопливо шептал на ухо генералу командир полка, ожесточенно жестикулируя и показывая в сторону самолета Бориса? Наверное, о крови на козырьке штурманской кабины, а может, о штурвале, на котором лежали руки Бориса…

— Разрешите послать другой экипаж, товарищ генерал? — как сквозь вату, донесся глухой голос командира полка.

— Другой? Но невыполнение приказа!..

— Они были друзьями, товарищ генерал, — перебил Меняев командира дивизии. — В виде исключения, товарищ генерал?

— На войне не может быть исключений! Приказ командира — закон для подчиненных!

Конец этому неприятному для всех нас разговору положил техник по аэрофотосъемке.

— Снимки отличные, товарищ генерал! — доложил он.

И сама собой отпала необходимость в повторном полете. Но

интересно, понял ли генерал, что невозможно лететь на самолете, забрызганном кровью друга? Тем более что в этом не было особой необходимости.

Но откуда эта туманная дымка перед глазами? Наш самолет уже на старте, нацелен носом в туманное небо. Почему в туманное? Ведь вон как ясно видна луна. Наверное, это растворяются в ее свете огни старта и создается видимость тумана.

— Иван, как видимость?

— Далась тебе сегодня эта видимость! Лучше не бывает!

— Не нравится мне эта дымка… Как бы в туман не перешла.

— Какая дымка? Протри глаза. Что-то не узнаю тебя сегодня.

— Я сам себя не узнаю…

— Дрожь в коленках?

— Поди ты!..

— Так чего сидим? Бекишев зеленым фонарем уже, наверное, десятый раз машет! Взлетай!

Я даю полный газ, и мы взлетаем.

А все-таки дымка сгущается. Уже смазалась линия горизонта и начинают растворяться очертания плывущих вниз ориентиров. Но почему молчит Иван? Неужели он этого не замечает?

Стоп! Раз он молчит, значит… Погоди, погоди. Главное, не волноваться.

Я снимаю перчатку и опять — в который раз! — осторожно протираю глаза. Нет, видимость от этого не становится лучше. Пожалуй, наоборот… Туман. Туман обволакивает самолет.

Разве еще раз спросить Ивана о видимости? Пожалуй, не стоит. Перейду на пилотирование по приборам…

Я включаю кабинный свет и направляю лучики лампочек на пилотажные приборы. Так вроде лучше. Во всяком случае, отчетливо видны стрелки приборов.

— Чего это ты иллюминацию включил? — интересуется Иван.

— Тренируюсь в пилотировании по приборам.

— Циркач! Нашел время. Скоро к линии фронта подойдем. А там всего десяток минут до цели!

Я отрываю взгляд от приборов и осматриваюсь. Туман из серо-голубого превратился в багровый. Сгущается, темнеет. Переношу взгляд в кабину — туман проник и сюда! Уже еле видны стрелки приборов.

— Иван, сколько до линии фронта?

Только бы не выдал голос. Совсем пересохло горло.

— Минут пятнадцать.

— Как пройдем, скажешь…

— Сам увидишь. Смотри, вон какой фейерверк зажгли!

Наверно, наши к цели подходят. Да выключи свет, хватит тебе тренироваться!

— Я хочу выйти на цель вслепую.

— Цирк!

А туман все гуще. Он уже заволакивает приборы. Что же делать? Может быть, сказать Ивану? Сказать прямо: я ослеп!.. А потом выбрасываться на парашюте? Нет, сначала надо освободиться от бомб, а уж потом можно думать и о парашюте. Да, но самолет и без бомб может упасть на людей. На наших людей. Что же делать, что делать?

Липкие струйки пота стекают по моему лицу. Я их слизываю языком. А рубашка уже совсем прилипла к телу, и почему-то страшно хочется пить. Стрелки приборов уже почти неразличимы. Что делать?..

— Иван, возьми управление, потренируйся в пилотировании.

— Слушай, откуда у тебя сегодня такие фантазии? — недовольно отвечает штурман. — То сам тренируется, то ко мне пристает… Не мое это дело! Понятно?

— Ваня, ты должен уметь летать. Вдруг что-то случится со мной, и надо будет довести самолет домой. Бери управление.

Я демонстративно поднимаю локти на борт кабины.

— Ах, вот как! Товарищ командир принципиален! Принцип — на принцип. Я тоже не беру управление! Ты знаешь последний приказ — штурманам запретили лезть не в свое дело!

— Лейтенант Шамаев! Приказываю взять управление!

Я не могу сдержать крика. Нет, это не просто тупой животный страх за свою жизнь, за свою шкуру! В этом крике все: и желание спасти самолет, и боязнь за тех, в кого он может врезаться, неуправляемый, и в такой же степени боязнь за жизнь Ивана. Я ослеп. Я ничего не вижу. В моих глазах багровый туман и страшная резь. Но сказать об этом товарищу я не могу: он может испугаться ответственности за исход полета, его могут подвести нервы. Пусть лучше он сердится на меня, клянет меня за «самодурство», но как-то приведет самолет на аэродром. А там… Однако до аэродрома еще надо долететь.

— Лейтенант Шамаев, доложите о пролете линии фронта!

— Минуты две назад прошли, — недовольно отвечает Шамаев.

— Сбрасывай бомбы, Иван.

— Ты что! Не дойдя до цели? Не буду.

— Приказываю сбросить бомбы, лейтенант Шамаев!

Иван молчит. Я не ощущаю обычного толчка в момент отделения бомб. Левой рукой ощупываю секторы управления двигателем. Так, второй снизу — сектор высотного корректора.

Если его двинуть вперед, двигатель начнет хлопать, стрелять: ему не захочется работать на явно обедненной смеси…

— Ваня, сбрасывай бомбы. Мотор барахлит!..

Самолет чуть подпрыгивает вверх. Бомбы сброшены.

— Хорошо, Ваня. Теперь разворачивайся и бери курс на аэродром.

— Слушай, командир! Я уже устал от этих тренировочек! По прямой вести еще куда ни шло, а вот развороты. Я не умею!

— Ты должен, Ваня! Представь, что меня нет, что меня убили…

— Слава богу, передо мной твой затылок, и я еще не догадываюсь, какой сюрприз может выкинуть эта голова.

— Никаких сюрпризов. Это входит в боевую подготовку. Командир убит, штурман обязан привести самолет на аэродром.

— Кому это нужно?

— Когда убили Обещенко, Зотов привел и посадил самолет.

— Так то Зотов, он сам мечтал стать летчиком.

— Иван, прекрати разговоры! Выполняй тренировочное задание! Все! Я закрыл глаза. Ничего не вижу. Ты мне докладываешь всю обстановку!

Я прислоняю голову к борту: пусть видит Иван, что мое лицо отвернуто от приборов, что я ничего не вижу. А я и так ничего не вижу. Вестибулярный аппарат человека какими-то тонюсенькими нервишками связан со всеми другими органами чувств, их информация, их взаимосвязанное влияние друг на друга позволяют сохранять нормальное положение тела в пространстве. Сейчас я лишен главного — зрения, и мой вестибулярный аппарат напоминает гироскоп, в котором вдруг сломалась ось вращения, — он куда-то проваливается, падает…

— Не слышу доклада, Шамаев! Как высота, курс полета?

— Высота тысяча метров. Курс нормально.

— Хорошо. Докладывай через минуту.

— Чего докладывать — вон перед носом аэродром! Пожалуйста, бери управление и заходи на посадку!

— Лейтенант Шамаев, на посадку зайдете вы!

— Это… это издевательство! Я никогда…

— Лейтенант Шамаев, выполняйте приказ!

— Но я… Правда, я никогда не пилотировал самолет, не заходил на посадку!

— Ваня! Будем заходить вместе. Ты только докладывай все действия, а я подскажу, что делать. Убирай газ. Снижайся.

— Снижаюсь.

— Входи в круг, как обычно вхожу я. Левым разворотом. Иди параллельно старту.

— Так и делаю.

— Хорошо. Вижу, что так. Но… представь все-таки, что меня нет или я ослеп. Да, да, я ослеп… Дай красную ракету.

— Но это сигнал бедствия!

— Такое у нас тренировочное задание. Давай!

Что-то долго копошится Иван в своей кабине. Наконец слышу выстрел…

— Где проектируется крыло?

— Кончик подходит к «Т». Ого! Они нам весь старт зажгли!

— Хорошо. Где крыло?

— Отошло от «Т».

— На сколько?

— Примерно на ширину крыла.

— Начинай третий разворот!

— Выполнил.

— Высота?

— Триста метров.

— Снижайся до двухсот. Где проектируется «Т»?

— Градусов двадцать до линии огней. Ее отлично видно!

— Хорошо. Начинай четвертый разворот. Выходи на линию посадки.

— Вышел.

— Где проектируется нос самолета?

— Ниже «Т».

— Высота?

— Сто пятьдесят!

— Чуть подтяни! Так. Где «Т»?

— На носу.

— Убирай газ. Нет, не полностью. Снижайся положе. Еще положе!

Сдвигаю на затылок очки, закрываю лицо перчатками и в то же мгновение ощущаю удар. Самолет подпрыгивает. Придерживаю рукой штурвал. Еще удар. Какое-то время самолет катится, затем останавливается. Ну, вот и сели…

— Сели! Сели! — радостно вопит Иван. — Зачем выключил двигатель?

— Ваня, иди на старт. Проси кого-либо отрулить на стоянку. Я ослеп.

— Ты что?!

— Да, Ваня.

Вой «санитарки» замирает возле самолета.

— Что у вас произошло? — слышу я голос командира полка.

— Товарищ командир! Он… он ослеп! — задыхаясь от волнения, произносит Иван.

Кто-то взбирается на самолет — мне слышно, как он вздрагивает, — сильными руками поворачивает мою голову и проводит по лицу, стирая пот…

— Видишь?

Отрицательно качаю головой.

— Да-а… Помогите его в «санитарку»!

— Я сам. Я сам.

Выбираюсь ощупью на крыло. Спускаюсь ниже, придерживаясь за борт руками. Потом останавливаюсь. Меня подхватывают несколько сильных рук…

В полдень, когда все ребята нашей эскадрильи отсыпаются после полетов — я это узнаю по храпу Казюры, назначенного командиром второго звена после гибели Бориса, — мне видно окошко в нашей избе. Да и окошко ли — просто расплывчатое багровое пятно света сквозь резь в глазах. Это все, что я вижу.

Остальное время для меня не имеет границ — сплошная темнота. Такие же темные и мысли. Тягостные, беспокойные и, с чьей-либо точки зрения, наверное, глупые. Но я могу теперь мыслить только так утилитарно-примитивно: слепота уже неоспоримый факт. Если первые дни полковой врач, заходя ко мне, пытался как-то меня утешить, то теперь он даже не появляется.

Перебираю в памяти всех виденных слепцов. Согласиться на эту жалкую участь? Жить в зависимости от поводыря? Кому нужна такая жизнь? И вообще, разве можно называть жизнью животное существование, иллюзию жизни? Ничего не видеть, быть зависимым в полном смысле от всего и от каждого, прислушиваться, ощупывать, судить о мире не по его краскам, а с помощью осязания и быть обузой… Себе, обществу, родным. Нет, я сделаю так, чтобы никому не быть в тягость. Вот только дождусь, когда ребята уйдут на полеты…

Затаившись, лежу на койке и жду. Прислушиваюсь к малейшему шороху. Ага! Ребята уже поднимаются. Вполголоса переговариваясь, натягивают на себя комбинезоны и сапоги и по одному, по два покидают общежитие. Кажется, уже ушел последний. Я сажусь на койке, ощупываю развешанную на спинке стула одежду. На гимнастерке тихо звякают ордена. Я усмехаюсь: даже награды не нужны слепому. А пальцы шарят дальше. Ага, вот ремень, кобура… Легкая! Еще не дотрагиваясь до нее, понимаю, что пистолет исчез. Но я машинально ощупываю, расстегиваю — пустота!

— У-ух! Гады!

Падаю на пол и извиваюсь в приступе бессильной ярости и горькой обиды. Наверное, так воет в безысходной предсмертной

тоске раненый волк:

— О-о-о! О-о-о!

Я не слышу шагов и, только почувствовав чью-то теплую руку на своей шее, понимаю: в комнате кто-то есть.

— Спокойно, старина. Возьми себя в руки…

— Коля? Ты здесь? — узнаю голос штурмана Николая Кислякова. — Коля, будь до конца другом. Никто не узнает. Пойми, это выше моих сил!..

— Анатолий Александрович приказал забрать у тебя пистолет. А меня оставили присматривать за тобой…

— Так какого черта! Дай пистолет, а сам уходи! Тебя нет! Тебя не было! Дай пистолет!..

— Дурак ты, Костя. Завтра мы с тобой поедем в госпиталь. В специальный — глазной. Это в твоем Гомеле. Да, в твоем Гомеле, Костя. Врач полка добился места для тебя. Так-то вот. А сейчас берись за руку. Так. Ложись. Хочешь, почитаю тебе книгу. Интересная…

— Дай закурить и… иди к черту!..

* * *

Скрипучий, неприятный голос — у главного врача госпиталя, Якова Борисовича, мягкий, воркующий — у старшей сестры Вари.

Всякий раз во время утреннего обхода, едва заслышу шарканье многих ног и приглушенный шепот, меня охватывает волнение. Жаль, что раньше я так и не успел познакомиться с глазными болезнями и теперь не в состоянии понять, что скрывается за скупыми фразами, сказанными на латыни, — приговор или надежда? Как я устал от этого бесконечного ожидания. Скорей бы уж окончились все эти мучения.

Самые элементарные потребности для меня — проблема. Обо всем надо кого-то просить.

— Варя! «Утку»… Варя!

Я решаю отказываться от пищи и воды — так будет проще!

И опять на утреннем обходе вслушиваюсь в приглушенный шепот. Но до моего сознания доходит лишь одно слово — «снотворное…». Не знаю, сколько длится мой сон, но в нем проходит все мое прошлое и настоящее. И все в каких-то кошмарах, все неестественно искажено и… страшно! Не надо мне снотворного, Варя, не надо!

— Буйствуете? — слышу я скрипучий голос главврача. — Нехорошо, молодой человек! Нехорошо. Снотворное больше не давать. Завтра снимем повязку.

— Доктор! Яков Борисович! А я… буду видеть?..

— Конечно.

— Доктор! Варя!

— Доктор ушел. Чего тебе, миленький?

— Варя, скажи, какая ты?

— Завтра увидишь сам…

И вот оно, это завтра. Снята повязка..

— Откройте глаза, больной.

— Яков Борисович… боюсь…

— А еще летчик! Ну, смелей!

— Яков Борисович, а я смогу летать?

— Через два дня выпишу из госпиталя! Ну, открывайте же глаза!

Страшно… А вдруг… вдруг все по-прежнему? Делаю усилие и открываю глаза. В затемненной плотными шторами комнате седенький человечек в белом халате со смешной, как у д'Артаньяна, бородкой…

— Яков Борисович!..

Он радостно щурит глаза. А кто это рядом с ним? Различаю выбившиеся из-под белого колпака седые букли, и тут же воркующий, мягкий голос:

— Вы видите, миленький?

— Варя! Варвара… Простите, как вас по отчеству?

— А так и зови Варей, миленький!..

Я не нахожу никаких слов. Только молча прижимаюсь лицом к колючей щеке Якова Борисовича и целую руки Варе. Почему на ее глазах слезы? Впрочем, я и сам не могу сдержать рыдания… Яков Борисович сердито фыркает.

— Эмоции!.. — И продолжает спокойным голосом: — Летать будете при соблюдении двух условий: первое — избегать физических нагрузок и второе — беречь нервы. У вас последствие какой-то физической перегрузки и нервного срыва. Не забывайте хотя бы раз в неделю показываться полковому врачу. Все инструкции и медикаменты он получит вместе с вами. Варвара Васильевна! Пожалуйста, приготовьте больного к выписке назавтра. А вы, молодой человек, берегите себя!

И он обнимает меня за плечи.

Бобруйская операция

К середине 1944 года Красная Армия разгромила сильные группировки немецких войск на северо-западном и юго-западном направлениях. Этим были созданы условия для нанесения удара в центре — на кратчайшем пути к Германии.

Опасаясь этого удара, гитлеровское командование сосредоточило на территории Белоруссии крупную группировку войск — группу армий «Центр» — и создало глубокоэшелонированную оборону.

Для разгрома этой группировки и освобождения Белоруссии Советское Верховное командование решило провести операцию под кодовым названием «Багратион» силами Первого Белорусского фронта и войсками соседних фронтов.

После окончания зимних и боев в середине апреля 1944 года войска этих трех фронтов приступили к подготовке наступления, а авиачасти нашей 16-й воздушной армии начали систематическое наблюдение с воздуха за всеми дорогами, по которым шла перегруппировка наших войск, и за районами их сосредоточения.

Маскировка войск и активная борьба с разведкой противника не позволили ему разгадать замысел Советского командования.

Утром 24 июня 1944 года после ночной авиационной и артиллерийской подготовки войска 1-го Белорусского фронта начали наступление, первый этап которого получил название Бобруйской операции.

В первый день наступления войска северного крыла фронта овладели только первой и второй линиями траншей врага. Более успешно развивалось наступление войск южного крыла фронта: была прорвана вражеская оборона южнее Паричей на участке шириной 30 км, а введенный в прорыв 1-й гвардейский танковый корпус углубился во вражескую оборону на 20 километров.

Во второй день операции войска северной группы, встречая упорное сопротивление врага, медленно преодолевали его оборону. В полосе южного крыла фронта вслед за 1-м гвардейским танковым корпусом была введена в прорыв конно-механизированная группа, которая быстро стала продвигаться на северо-запад для образования внешнего кольца окружения Бобруйской группировки войск противника.

В ночь на 27 июня 1-й гвардейский танковый корпус перерезал все дороги от Бобруйска на запад и северо-запад.

Почувствовав угрозу окружения, враг начал отводить войска за Березину и готовился к прорыву на северо-запад, где

находились лишь бригады двух танковых корпусов, а стрелковые соединения еще не успели подойти.

Тогда командующий 1-м Белорусским фронтом Рокоссовский приказал поднять в воздух соединения 16-й воздушной армии, одновременно приказав всем частям обозначить себя — днем полотнищами, ночью — кострами.

400 бомбардировщиков и штурмовиков в сопровождении 126 истребителей обрушились на противника.

Сегодня дивизии, поднятой по тревоге, приказано провести площадное бомбометание в районе окруженной возле Бобруйска группировки гитлеровских войск. Площадная бомбардировка, определенно рассчитанная на авось, на случайное уничтожение техники и живой силы противника, — Василю претит. Ему нужна видимая цель! А если ее нет? Если весь лес, куда вонзаются огненные стрелы, пущенные с нашего переднего края, затянут дымом пожарищ, сквозь который тут и там вспыхивают светлые языки вспышек бомбовых разрывов?

Василий Вильчевский летает вместе с летчиком Иваном Казанцевым. Они проходят над массивом леса, над затаившимся врагом, упорно выискивая видимую цель, но под космами густого дыма трудно что-либо различить. Так они несколько раз пересекают «котел» в разных направлениях.

— Мы когда-либо сбросим бомбы, — нервничает Казанцев, — или вернемся с ними на аэродром?

— Пидожди. Не бачу, де противник!

— А ты смотри, где рвутся бомбы других! — в сердцах восклицает Казанцев.

— Другие нам не указ… Ось шось бачу!

— Шо? — невольно в тон Вильчевскому спрашивает Казанцев.

— Бачишь, немцы переправу налаживают! Мабуть, рвутся до Бобруйска.

— Где?

— Осьтамочки, на рички! — Василь рукой показывает куда-то в темноту.

— Не вижу. Наводи сам!

— Девяносто градусив у ливо. Ще трохи! Так держать!

Внизу вздымаются водяные столбы. Вспыхнувшее пламя расползается по воде, захватывает берег.

— Молодец, Василий!

— А ты казав, повезем бомбы на аэродром! Включи, командир, АНО. Хай хлопцы бачуть — переправа! А я ще своим САБом пидсвичу.

На взрывы, на свет САБа и на огонь необычного пожара на воде подтягиваются многие самолеты дивизии, и вскоре вода

буквально вскипает от разрывов бомб. Пулеметные трассы и оранжевые хвосты эрэсов расчерчивают небо, рвут землю, как бы издеваясь над злобствующими зенитками врага…

Едва запыленный «Виллис» остановился у штаба полка, из него выпрыгнул капитан в форме танкиста и взбежал на крыльцо.

— Штаб «кукурузников»? — весело осведомился он прямо от двери.

Подполковник Меняев, только что подписав оперативную сводку для доклада в штаб армии, собрался было отдохнуть после напряженной боевой ночи. Появление незнакомого капитана его несколько озадачило.

— Штаб сорок пятого гвардейского полка! — строго поправил он танкиста. — А вы, собственно, кто такой, по какому делу?

— Офицер связи первого гвардейского танкового корпуса! Могу я видеть командира полка, товарищ подполковник?

— Слушаю вас.

— Товарищ гвардии подполковник! — Капитан прищелкнул каблуками и лихо козырнул. — Вам пакет от командира первого гвардейского танкового корпуса генерала Панова!

— Давайте, — сказал Меняев, протянув руку за пакетом.

— Разрешите подождать ответ, товарищ гвардии подполковник?

— Сейчас, минутку… — ответил командир полка и углубился в чтение:

> «В ночь с 27 на 28 июня сего года внезапной атакой ночной авиационной части полностью уничтожена переправа через реку Березина. При этом первый бомбивший самолет точным попаданием взорвал бензозаправщик, находящийся на переправе. Загоревшееся горючее осветило концентрирующиеся для переправы войска, по которым другими самолетами был нанесен сокрушительный удар. Подбито до двадцати танков и самоходных орудий противника, сорвана переправа стрелковых частей, которые могли создать нежелательное осложнение на данном участке фронта. От своего имени прошу объявить благодарность всем летчикам-ночникам, принимавшим участие в этой операции. Прошу представить список особо отличившихся в данном бою для доклада рапортом командующему фронтом. Генерал Панов».

Через несколько дней стал известен приказ командующего Первым Белорусским фронтом: «За мужество, находчивость и инициативу, проявленные в боях под городом Бобруйск, старшего

лейтенанта Казанцева И. С. и лейтенанта Вильчевского В. К. наградить орденом Красного Знамени».

Наши войска неудержимо рвутся на запад, и, кажется, уже нет такой силы, которая могла бы приостановить их наступательный порыв.

Опять на наших самолетах установлены подвесные люльки Гроховского, и полк транспортирует горючее и боеприпасы. Летать приходится не только на передний край, но и в немецкий тыл, где конно-механизированная группа генерала Плиева громит гарнизоны противника, разрушает линии связи и коммуникации. Поначалу летали к конникам Плиева только по ночам, но все напряженнее идут бои, все больше боеприпасов и горючего требуется подвижной группе, и, чтобы справиться с поставленной задачей, экипажам нашей дивизии приходится летать уже и днем. Рассчитывать на прикрытие с воздуха истребителями по крайней мере смешно: ну кому придет в голову мысль прикрывать «кукурузник», хотя бы и идущий в тыл к немцам? Полеты плотным строем с использованием бортового оружия для групповой защиты тоже отпадают, и прежде всего потому, что большая группа «тихоходов» сразу же привлечет пристальное внимание истребительной авиации противника. К тому же не на всех самолетах имеются штурманы, а без них попробуй достигни необходимой для защиты плотности огня.

Итак? Вывод простой — каждый экипаж предоставлен сам себе и, выполняя задание, действует согласно обстановке.

Самолеты летят с интервалом в пять-десять минут.

Старший лейтенант Борис Скворцов летит со штурманом лейтенантом Кисляковым. Скворцов ведет самолет на малой высоте, прикрываясь высокими деревьями белорусских лесов и используя каждую складку местности, — подняться выше значит наверняка стать добычей вражеских истребителей.

Группа Плиева непрерывно движется. Хотя маршрут ее движения, как и посадочная площадка двухчасовой давности, обозначен на полетной карте, не так-то просто отыскать в немецком тылу подвижную механизированную группу, которая к тому же тщательно маскируется от воздушного противника.

— Борис Евгеньевич! — окликает Кисляков летчика. — Поднабрал бы высотенку. За этим лесным массивом должна быть речушка. Где-то между ней и лесом и находятся конники.

— А низинами не пройти?

— Нет. Большой массив, и никаких ориентиров. Набирай высоту!

— Набирать так набирать. — Скворцов явно предпочитает лететь на бреющем. — Только уж ты посматривай!

— Смотрю, смотрю!

Самолет поднимается над лесом и летит почти над самыми верхушками деревьев — маленькая зеленая стрекоза на фоне зеленого леса. И вдруг из-за облака вываливаются два «фоккера», разворачиваются и со снижением заходят в хвост.

Направляя кольцо прицела на тупоносые обрубки с желтыми концами крыльев, Кисляков посылает пристрелочную очередь. Но «фоккеры» не сворачивают. Да и напрасно ждать, что они упустят легкую победу — все же два истребителя на один ПО-2. Верная возможность заработать рыцарский крест. Нет, они не свернут…

— Ну и пусть! Пусть подходят! — шепчет про себя Кисляков.

— Ты чего это пулеметом балуешься? — спрашивает Скворцов.

— Пустяки, Евгеньич. Пара «фоккеров» в хвосте. Иди прежним курсом. Пусть гады подползут поближе. Ну-ну! Еще малость!..

Огонь истребителей и длинная очередь ШКАСа переплетаются между собой. Снаряды вражеских истребителей прошивают крылья, белыми лохмотьями трепещет на ветру перкаль обшивки. Но и злые светляки трассирующих, выпущенные Кисляковым, впиваются в лобастые морды вражеских истребителей, полощут по кабинам. Один «фоккер» не выдерживает ответного огня и тут же отворачивает. Второй посылает сноп огня и вдруг, задымив, кренится.

— Сбил! Сбил гада! — восторженно вопит Николай. — Готов!

— Не сбил, только подбил, Никола! Видишь — уходит.

— Доверни чуток! Еще очереденкой его!

— Не могу, Коля. Перетянуть бы через лес… Смотри, масло…

Темные потеки масла, вырвавшись из мотора, растекаются по капоту, брызгают на плексиглас козырька.

— Евгеньич, через лес перетянем?..

— Пока работает движок, а там…

— Ну, вытяни… Вытяни!

И непонятно, к кому относятся слова штурмана — к летчику или израненному мотору. А он тарахтит, тянет, хотя явно теряет обороты и брызжет маслом. Масло с козырька завихрением воздуха распыляется, попадает в кабину, на комбинезон, на лицо, залепляет глаза.

— Поле! Садись, Евгеньич!

Скворцов не отвечает. Он высунул голову из кабины и всматривается в бегущую навстречу землю.

— Сели! — обрадованно восклицает Кисляков.

— Сесть-то сели, а где?

— Думаю, рядом с плиевцами.

— Немцы тоже рядом, — хмурится Скворцов. — Ты скажи точно.

— Я кто — бог? — обижается Николай. — Откуда мне знать… И вообще, к черту! Не буду больше летать с тобой!

— Невелика радость! Обойдусь без тебя!

— Посмотрим!

— Вот тебе и посмотрим, Никола! Кажется, влипли…

— Наши! Тридцатьчетверка! А там бронетранспортер! Ура! Плиевцы!

— Ой, Коля, как бы вместо плиевцев фрицы не пожаловали!

— Протри глаза, Евгеньич! Тридцатьчетверка, точно! — Нет, они не ссорятся между собой, летчик и штурман. Просто это обычная манера их разговора. Может, кто со стороны и решит, что ребята не очень благоволят друг к другу, но мы-то знаем, что дружат они накрепко. Более шестисот вылетов сделали вместе, в одном самолете, рядом друг с другом. И койки их тоже рядом. Любят друзья пошептаться перед сном, помечтать о еще далеких днях «после войны», представить, как сложится их дальнейшая жизнь. И так хочется дожить до тех далеких дней, так хочется!..

Скворцов вылезает из кабины и направляется к мотору, а Кисляков идет навстречу ползущему транспортеру.

— Получайте свое горючее! — машет он приветственно рукой. — Только канистры не вздумайте зажилить.

— Ух, какой серьезный! — смеется лейтенант, выпрыгивая из бронетранспортера. — И откуда такие серьезные хлопцы берутся? Ты сам-то чи не с того свету?

— Может, и с того, — хмуро отвечает Николай. — Берите свое горючее.

— Не, ты мне все же ответь, — не перестает лейтенант, больше обращаясь к высыпавшим из транспортера конникам. — По форме вроде наш, да и погоны лейтенантские, а погляжу на лицо… Чи не с тебя бог черта лепил, а?

— Слушай, лейтенант, а не пойдешь ты сам к… чертовой маме?

— О-го-го! — дружно гогочут конники. — Отбрил Петренку! От так летчик!.

А дружные руки тем временем подхватывают канистры с бензином и по конвейеру передают их к транспортеру. Оттуда тем же путем канистры возвращаются уже пустые.

— Где это тебя так разукрасило? — уже серьезно спрашивает лейтенант. — Весь-то ты с головы до ног в масле.

— Будешь в масле, — все еще хмурится Николай. — Немцы в мотор попали.

— Может, чем поможем? Или на буксир взять вашу птаху?

— Скажешь! — возмущается Николай и оборачивается к Скворцову: — Как дела, Евгеньич? Сможем лететь обратно?

— Плохи наши дела, — печально говорит Скворцов, вытирая тряпкой масляные руки. — Пробит цилиндр. Как еще только летели?

— Неужели бросать самолет? Евгеньич, как же?

— Может, кто из ребят прилетит… Может, привезут нам цилиндр…

— Ремонтировать мотор в тылу? А немцы? И конники, наверно, уйдут дальше. Как, лейтенант, долго еще здесь будете?

— Не… Но, кажется, есть выход, хлопцы! Во-он там за лесочком видели сгоревший самолет. Вроде вашего. А мотор у него, кажется, цел. Может, с него снимете цилиндр? Мы поможем.

— Надо посмотреть. Это далеко? — интересуется Скворцов.

— Давай, летчик, сюда! — высовывается из транспортера бритая наголо голова. — Быстренько подбросим туда и обратно. А ты, Петренко, останешься со своим взводом. В случае чего — прикроешь!

— Есть, товарищ майор!

Скворцов забирается в транспортер, а конники по команде лейтенанта занимают круговую оборону. Линия фронта проходит еще где-то по линии Пружаны — Ковель, а отсюда совсем недалеко Брест. Подумать только, рядом граница! Государственная граница Советского Союза!..

А ребята с помощью конников все-таки сняли цилиндр со сгоревшего самолета, установили его на свой мотор и благополучно вернулись на свой аэродром.

До чего же неприхотлива оказалась наша «птаха» по прозвищу «кукурузник»!

У крыльца госпиталя стоит полковой «Виллис». Увидев меня, шофер — все тот же Мыкола — выскочил из машины и распахнул дверцу:

— Сидайте, гвардии лейтенант! — широко улыбнулся Мыкола. — Поидемо до дому!

Я обнял его за плечи и шагнул к раскрытой дверце.

При моем появлении в штабе полка все присутствующие обернулись и молча посмотрели на меня, одна лишь Аннушка, наша машинистка и секретарь (по совместительству жена начхима Иванова), с веселым воплем вскочила с табуретки и бросилась ко мне:

— Костенька! Вернулся! Живой!

Я освободился от ее объятий и скрипучим голосом, подражая главврачу госпиталя, произнес: — Эмоции! — Тут же повернулся к командиру полка и, как положено, доложил: — Товарищ

гвардии подполковник! Лейтенант Михаленко прибыл из госпиталя и готов к выполнению боевых заданий!

Командир полка протянул руку и сжал мою ладонь.

— Аннушка не ошиблась — живой! — засмеялся он. — А вот насчет боевых заданий… Как ты себя чувствуешь? Поправился?

— Так точно, товарищ командир! Готов хоть сейчас к выполнению боевых заданий!

— Хорошо. Рад за тебя. Полк каждую ночь ходит на бомбежку. А вот тебя почему-то вызывают в штаб армии. И вызывает — кто бы мог подумать?! — член Военного совета, генерал Виноградов!

— Когда вылетать, товарищ командир? — обреченно спрашиваю я.

— Надо было еще вчера, но я доложил генералу, что ты в госпитале, а он ответил: «Знаю! Как вернется, тут же направить со звеном к нам!» И чем это ты приворожил его к себе? — засмеялся командир.

— Не знаю, — пожал я плечами, а сам подумал: — «Вот летал, не пользуясь полетной картой — долетался!» — Наверно, опять таксистом работать!.. — Это я произнес уже вслух.

— На фронте любая работа нужна! — назидательно произнес командир. — А на твои самолеты уже подвешены люльки. Видимо, предстоит какая-то транспортная работа. Вот и отдохнешь немного от боевых нагрузок. Не так ли, доктор? — обернулся командир к полковому врачу.

— Так точно, товарищ подполковник! — ответил врач. — Такова рекомендация госпиталя на ближайший месяц.

— Вот и хорошо! — улыбнулся командир — А теперь прими мои поздравления: с возвращением в полк, с очередным воинским званием и с новым назначением! Твой комэск капитан Борщев направлен на учебу. Вместо него назначен старший лейтенант Казанцев. Ты у него заместитель по летной службе. Не возражаешь?

— Спасибо, Анатолий Александрович! — отвечаю ему совсем не по уставу. — А в штаб армии когда вылетать?

— Завтра с рассветом. Приказано направить лучших летчиков. С тобой пойдут Казюра и Тесленко. А теперь иди отдыхать. В эскадрилье тебя давно ждут. Иди!

* * *

Перелет к штабу 16-й воздушной армии прошел без приключений — всего каких-то 70 километров, и то в тыл!

Несмотря на ранее утро, на небольшой площадке рядом с домами, где обычно садились самолеты связи, видимо, ожидая нас, собралось несколько офицеров, и среди них я увидел генерала Виноградова. Зарулив на указанное место, я выключил двигатель, выпрыгнул из кабины, подождал, пока зарулят ребята, и направился к Виноградову.

— Товарищ генерал-майор, звено 45-го гвардейского авиаполка прибыло в ваше распоряжение! Гвардии старший лейтенант Михаленко! — как положено по уставу, отчеканил я.

— Спасибо, сынок! — обнял меня за плечи Виноградов. — Ты уж извини, не дал отдохнуть после болезни. Это твой командир дивизии виноват — посоветовал вызвать тебя.

— Спасибо, Алексей Сергеевич. И вам, и командиру дивизии! Значит, нужны еще наши тихоходы! Выходит так?

— Нужны! Еще как нужны! — протянул мне руку моложавый полковник, представляясь: — Наумов.

— Начальник оперативного отдела, — представил его Виноградов и повернулся ко мне: — Разговор вести лучше у карты. Приглашай своих летчиков.

— А со мной еще и штурман, товарищ генерал. Ждановский.

— Это который из Архангельска, из отряда охраны лесов?

— Так точно, товарищ генерал!

— Стоящий мужик! — улыбнулся Виноградов. — Из поморов! Приглашай всех!

У карты боевых операций фронта полковник Наумов обрисовал сложившуюся ситуацию. Выглядела она примерно так: 1-й гвардейский танковый корпус и конно-механизированная группа, введенные в прорыв линии обороны противника на южном крыле 1-го Белорусского фронта, успешно продвигались на северо-запад и, обходя Бобруйск, продолжали развивать наступление.

Соединения нашей воздушной армии преследовали отступающего врага бомбоштурмовыми ударами и прикрывали наши войска от вражеской авиации, активность которой резко возросла. Но для наступающих войск фронта требовалась не только огневая поддержка, особенно для ушедших далеко во вражеский тыл танковых корпусов и конно-механизированной группы, требовалось горючее и боеприпасы, что в данный период могла выполнить только транспортная авиация, то есть самолеты ПО-2 и Ли-2. Если самолеты ПО-2 были не очень требовательны к посадочным площадкам, то для Ли-2 — тяжелого двухмоторного самолета требовалась уже не случайная площадка, подобранная танкистами или конниками, а аэродром. Такие аэродромы в зоне наступления войск нашего фронта были, но они находились еще

далеко в немецком тылу.

Совершенно неожиданно 28–30 июня наши бомбардировщики и сопровождающие их истребители заметили, что с аэродрома «Пастовичи» немцы убрала свои самолеты и зенитки, до этого времени защищавшие аэродром. Поэтому командующий воздушной армией приказал высадить на аэродром «Пастовичи» группу минеров, которые должны обследовать взлетно-посадочную полосу аэродрома, проверив, заминирована она или нет, и пригодна ли она для посадки самолетов Ли-2. Если полоса пригодна для полетов, выложить на ней «Т» из двух полотнищ или крест из тех же полотнищ — знак, запрещающий посадку. Пролетающие самолеты увидят эти знаки и сообщат в штаб армии.

— Как видите, задание проще простого. Но выполнить его надо срочно, — закончил полковник.

— Извините, товарищ полковник, — выступил я вперед. — Ситуация для нас знакомая. При наступлении под Москвой нашими войсками тоже был захвачен немецкий аэродром под Медынью. И так же немцы убрали с аэродрома свои самолеты, но оставили аэродромную технику, горючее, боеприпасы и обслуживающий персонал, который наши бойцы тогда взяли в плен. А что нас ждет на аэродроме «Пастовичи»?

— Труса празднуешь, лейтенант! — воскликнул полковник. — О вашем отказе я доложу командующему! Найдем другие экипажи! — И он решительно направился к выходу.

— Постойте, товарищ полковник! — не сдержался я, повысив голос. — Простите, вы не так поняли. Об отказе нет речи! И мы, гвардейцы, не имеем права отказываться. Но я не могу рисковать жизнью моих товарищей и людей, которые полетят с нами!

— Трус! — закричал полковник. — Иду к командующему! — и он опять повернулся к двери.

— Постойте, товарищ полковник! У меня просьба. Доложите о ней командующему или решите сами.

— Ну, что за просьба? — остановился полковник.

— Разрешите нам — мне со штурманом лейтенантом Ждановским — произвести тщательную разведку окрестности и самого аэродрома. Разрешите, товарищ полковник!

— Несколько наших опытнейших летчиков уже сообщили — на аэродроме самолетов нет! — раздраженно ответил полковник. — Не майся дурью, лейтенант!

— Гвардии старший лейтенант, товарищ полковник! — не выдержал я.

— Как бы не стал младшим лейтенантом, невежа!

— Благодарю за комплимент, товарищ полковник! Но

командующему все же доложите мою просьбу.

— Товарищи офицеры! — вмешался Виноградов. — Кончайте научную дискуссию! Мы с полковником идем к командующему, а ты, гвардии старший лейтенант, — улыбнулся Виноградов, — знакомься с минерами и готовьтесь к вылету. — С этими словами они удалились.

— Ну, молодец! — подошел ко мне пехотный лейтенант. — Здорово ты его! Согласен с тобой! Одно дело поглядеть с высоты, другое пощупать своими руками. Не так ли, старлей?

— Ты кто? — спросил я.

— Старший группы разведчиков-минеров, Михаил, — протянул он руку. — Если разрешат, возьми меня с собой — пригожусь!

— Командующий разрешил! — вернувшись, радостно сообщил Виноградов. — Только велел к обеду не опаздывать. Постарайся, гвардии старший лейтенант!

— Сколько ребят возьмешь? — поинтересовался Михаил.

— По два человека в люльку с небольшим снаряжением.

— Снаряжение четыре миноискателя да по автомату на брата. Поднимешь?

— Попробую, — улыбнулся я, а сам подумал: «Четыре человека, два рулона холщовых полотнищ, миноискатели, автоматы — это не две «сотки» под крылом. Пожалуй, перегрузка на сотню килограмм, а то и больше. Но… надо!

— Петрович! — окликнул я Ландина. — Помоги пехоте занять спальные места!

— Есть, командир! — улыбнулся техник и повернулся к минерам: — В каждую люльку бросьте по рулону тряпочки. Мягко будет спать пехота! Пошли к самолету!

Нас провожали только летчики звена Казюры, Тесленко и техник Ландин.

— Иван, ты остаешься старшим. В случае каких-либо затруднений обращайся прямо к генералу, — сказал я, повернув голову в сторону, где стоял Виноградов.

* * *

На бреющем полете без приключений пересекли линию фронта — видимо, немцы еще спали — и добрались до аэродрома «Пастовичи»: ровная зеленая поляна ограничена небольшой березовой рощей, которая незаметно переходит в заросли дремучего леса.

Все это я разглядел, на всякий случай имитируя заход на

посадку. Пролетев над всей полосой, в конце ее набрал высоту, сделал круг над аэродромом, опять прошел над полосой, покачивая самолет с крыла на крыло, чтобы охрана аэродрома, если она есть, увидела обычный знак прощания, и взял курс на запад — пусть думают те, кто сейчас наблюдает за нами, что мы уходим, что мы — свои и не представляем никакой опасности. Пусть думают что угодно! Но я разглядел замаскированный брезентом грузовик, рядом с ним бензозаправщик, прикрытый свежесрезанными ветвями зелени, и еще какую-то мелкую аэродромную технику… Людей не видно, но они есть! Кто маскировал технику? Значит, есть аэродромная обслуга, и там люди ждут свои самолеты! Надо опередить!

— Видел, Николай? — спрашиваю Ждановского. — Немцы-то не оставили аэродром!

— Надо садиться! — отвечает штурман. — За березовой рощей вроде хорошее поле. Думаю, незаметно можно подойти к их технике. А люди там есть.

Разворачиваюсь над лесным массивом, выхожу на простор бывшей пашни. Вдоль нее и березовой рощи довольно широкая проселочная дорога. Прохожу над ней на бреющем для осмотра и захожу на посадку.

Выключаю двигатель и вылезаю на крыло:

— Приехали, ребята!

Кряхтя и потягиваясь, саперы выбираются из люлек. Кто-то закуривает, кто-то чиркает зажигалкой…

— Отставить курево! — приказывает лейтенант. — Не у тещи на именинах!

— Ты что так строго, лейтенант? — спрашиваю я. — Измучились ребята. Жара, болтанка, неудобство — пусть покурят. Заодно и я с ними.

— Хоть ты и старшой, но и тебе запрещаю, старлей!

— Ты что — на флоте служил? — улыбаясь, спрашиваю лейтенанта.

— Мы все флотские! — отвечает лейтенант, расстегивая пуговицы гимнастерки, под которой виднеется полосатая тельняшка. — Мы из десантников Днепровской флотилии.

— Я рад, Михаил, что судьба свела нас. Спасибо ей. А теперь — военный совет. Что видели, как будем выполнять задание? Начну с себя — что видел: летное поле не имеет следов деятельности человека. Нет воронок от бомб, не видно пятен-заплат из свежей земли. На траве остались лишь следы автомашин и, возможно, тяжелых самолетов. В прилегающем лесу заметил замаскированные бензозаправщик и крытый брезентом грузовик. Судя по увиденному, обслуга техники и аэродрома либо

улетела вместе с самолетами, либо здесь — затаилась в лесу и ждет возвращения своих самолетов. Тебе слово, Михаил.

— Почти согласен с тобой, — начал лейтенант. — Машины замаскированы, значит, наверняка заминированы. Предлагаю начать осмотр с машин…

— Там люди! — прервал его Ждановский. — Видели, в лесу по земле тянется вроде легкий туман? Это дым либо от погашенного костра, либо немцы готовят жратву в какой-нибудь землянке. Думаю, идти туда надо напрямик через лес, но пока без миноискателей, только с автоматами. Кстати, лейтенант, а гранаты у вас есть?

— Думаешь, пригодятся? — улыбнулся Михаил. — Все есть, штурман, мы же десантники!

— Тогда пошли, ребята! — сказал я, передергивая ствол «ТТ» и досылая патрон в патронник.

— Тебе придется остаться, командир! — произнес Михаил. — Генерал сказал, чтобы с твоей головы ни один волосок не упал! Батяня, что ли?

— Нет, просто добрый человек.

— Командир! — воскликнул Ждановский, — Однако, я пойду с пехотой! Не впервой по лесу бродить. Помогу ребятам. А ты следи за небом в нашей стороне — все в порядке, дам зеленые ракеты. Худо нам — даю красные ракеты. Немедля улетай! Ждем подмогу.

— Не твое это дело, Николай! — возразил я. — Оставайся здесь! Пойду я!

— Нет! — воскликнул Михаил. — Ты свое дело сделал! В наше не лезь! Запрещаю! Слушай своего штурмана — дело говорит. Мы осторожненько все осмотрим. А ты по зеленой ракете… Жди штурмана и тут же вылетай с докладом и за подмогой. Работы-то много, а людей маловато. Разрешите выполнять задание, товарищ гвардии старший лейтенант? — улыбнулся Михаил.

— Ну, что с вами сделаешь? Выполняйте!

— Есть, товарищ командир! А ты не волнуйся, старлей. Справимся, не так ли, штурман?

— Присядем, ребята, — ответил Ждановский и уселся прямо на землю. — У нас, поморов, принято перед тяжкой работой присесть, в душе молча обратиться к богу, попросить помощи. Садитесь, ребята! Все садитесь, помолчим минутку!

Я молча опускаюсь на траву рядом с Николаем и смотрю на часы — семь двадцать. Еще только утро, впереди весь день!

Мои мысли оборвал Николай.

— Пора, ребята. Встали! С Богом вперед! — и он первым

направился к лесу, за ним молча пошел Михаил со своими людьми. Я же направился в другую сторону — на бывшее колхозное поле, к небольшому холму на нем — оттуда будет лучше виден лес и ракеты, если они будут видны… Будут! Будут! — твердил я чуть не вслух.

Чтобы успокоиться и прогнать дурные мысли, я достал из кармана еще с утра набитую табаком трубку, которую так и не выкурил перед вылетом, раскурил от огонька зажигалки и с удовольствием затянулся ароматом «Золотого руна».

Пока я возился с трубкой и зажигалкой, над лесом взвилась ракета. Зеленая! Не раздумывая, я побежал к самолету, мельком взглянув на часы: 8.00. Прошло всего сорок минут!

У самолета меня уже ждал Николай. С ракетницей в одной руке и с немецким автоматом в другой.

— Запаздываешь, командир! — усмехнулся он.

— Как там дела? — не терпелось мне.

— Погоди! Давай выбросим холсты. Ребята потом подберут. А мы скорей в штаб. По пути все расскажу!

Белые рулоны двух полотнищ мы достали из люлек и оставили на траве. Мотор запустился легко, будто и не остыл.

Взлет. Опять на бреющем, но в обратную сторону.

— Рассказывай, Николай! Как и что? — не терпится мне.

— Однако, все просто. Поспели как раз к завтраку.

— Куда? Какой завтрак?! — не сразу понял.

— Так ребята мгновенно обезоружили часового, и вместе с ним вошли в гости. Хозяева немедля подняли руки вверх. Оружие у них отобрали, взяли с собой. Дверь в землянку забаррикадировали. Двое остались охранять, а лейтенант с сержантом пришли вместе со мной за миноискателями. Однако, тебя на месте не дождались — спешили назад к землянке. Лейтенант тебе привет передал и просил торопиться — однако, говорит, подмога нужна: и пленных охранять, и проверять, есть ли мины. — А там и автомашины, и поле-то какое! И в лесу еще склад боеприпасов!

На площадке у штаба армии нас уже ждали Ландин и наши летчики. Ландин тут же направился осматривать самолет.

— Петрович, заправь полностью, — попросил я. — И проверь заправку у ребят. А летчиков прошу вместе с нами в штаб. Думаю, получим боевое задание.

Но я ошибся, задание предстояло не боевое, а, по словам Наумова, элементарно простое: доставить на аэродром «Пастовичи» обслуживающий персонал (а по-нашему — технарей) для двух эскадрилий — истребительной и штурмовиков.

Действительно, задание простое, если бы не война. Надо

пересечь линию фронта, углубиться в немецкий тыл почти на сто километров. А что нас ждет на каждом километре этого пути?

«Элементарно просто»!.. Могут появиться истребители, можем и сами наткнуться на зенитки, да и для простого автоматного огня мы уязвимы…

В годы войны, да и после, к нашей авиации бытовало пренебрежительное отношение. О нас не сообщало радио, не писали в союзных и фронтовых газетах, оно и понятно: то ли дело, когда бой ведут истребители с фашистскими асами и побеждают! Или когда штурмовики атакуют колонну танков и уничтожают их! И другое дело, когда наши маленькие, бывшие учебные самолетишки перевозят на новое место базирования технический состав тех же истребителей или штурмовиков. А летчикам и техникам этих истребителей и штурмовиков даже не приходила в голову мысль что перед ними такая же боевая единица Красной Армии — именно боевая! Которая по необходимости может мгновенно превратиться в транспортную, неся на своих крыльях вместо бомб вместительные фанерные капсулы для перевозки грузов и людей… Куда бы мы ни летали в транспортном варианте, такие полеты не считались боевыми. Но они были необходимы, например, конно-механизированной группе генерала Плиева, которая сейчас громила немецкие войска в их же тылу, или 1-му гвардейскому танковому корпусу, который прорвался в тыл немцам и перекрыл пути отступления фашистским войскам западнее Бобруйска. Им требовалось горючее и боеприпасы, и, возможно, надо было вывезти раненых.

Не помню когда, в какой периодике была напечатана заметка известного тогдашнего военного репортера К. Симонова, где он упоминал о нашей авиации, метко прозванной им — «чернорабочими авиации». Да, мы были чернорабочими по сравнению с современными скоростными бомбардировщиками, с элегантными истребителями и грозными штурмовиками. Естественно, мы им завидовали. Но не они, а мы в любую погоду, в ночь, за полночь, по первому зову пехоты, по зову наших соединений, рейдирующих по тылам противника, вылетали туда, где были нужны, где могли оказать помощь.

Соответственно и задания нам давали такие, где не могла справиться авиация другого типа.

Так и сегодня — не пошлешь же без проверки на вражеский аэродром, например, Ил-2, Як-9 или Пе-2! Это наша работа — чернорабочих!

Во второй полет мы направились всем звеном, но не плотным строем, а из-за предосторожности — разомкнутым, в пределах видимости друг друга. Как-никак, в люльках и в кабинах наших

самолетов находились люди — обслуга для будущих полетов истребителей и штурмовиков, Подмогу, на которую надеялся Михаил, не дали — мест нет!.. И, конечно же, никаких истребителей для нашего прикрытия выделено не было. За линией фронта, в немецком тылу, мы были предоставлены сами себе.

* * *

Как мне показалось тогда, в оперативном отделе штаба по отношению к нам — «чернорабочим» — царило нескрываемое пренебрежение… Возможно, я ошибаюсь, но посудите сами — вот как об этом этапе рассказывает в своих воспоминаниях командующий воздушной армией («16-я воздушная». — Военное издательство Министерства обороны СССР. Москва, 1973):

> *«Конно-механизированная группа, войдя в прорыв и продвигаясь в направлении населенного пункта Старые Дороги, заняло аэродром «Пастовичи». Для поддержки боевых действий КМГ потребовалось посадить на аэродром «Пастовичи» штурмовиков и истребителей. Но было неизвестно, заминирован аэродром противника или нет. Для выяснения обстановки на двух самолетах ПО-2 были направлены минеры. Самолеты произвели посадку у соседней деревни. Минеры обследовали аэродром и, не обнаружив мин, выложили условный знак. Затем вылетело несколько транспортных самолетов. Они доставила на аэродром «Пастовичи» обслуживающий состав, необходимые средства обеспечения. Вслед за ними туда перебазировались две эскадрильи штурмовиков и истребителей. Они тут же приступили к поддержке КМГ. В последующие дни авиационная группа поддержки была усилена и некоторое время совместно с подвижными соединениями вела боевые действия, базируясь, по существу, в тылу противника».*

Действительно, если судить по этим строкам воспоминания, работа летчиков на самолетах ПО- 2 в этом случае была настолько проста и безопасна, что о ней не следовало и упоминать.

К нашему возвращению в район аэродрома «Пастовичи» на летном поле не было выложено никаких сигналов, поэтому мы произвели посадку в том месте, где я садился первый раз.

Когда привезенная нами группа аэродромной обслуги

покинула самолетные люльки, люди собрались у моей «семерки» (это хвостовой номер самолета), и старший бригады технарей обратился ко мне с вопросом:

— Старший лейтенант, а где же аэродром, куда нам топать?

— Вас проводит штурман. Только он знает безопасный путь, — ответил я и тут же обернулся к Николаю: — Лейтенант Ждановский! Проводите людей к землянкам. Трофейный автомат с вами?

— Так точно, товарищ командир! — ответил Ждановский. — Они у меня в кабине.

— Кто они? — не сразу догадался я.

— Да автоматы! — засмеялся Ждановский. — Подарок Михаила! Один тебе, один мне — так он велел.

— Доставай оба! Один тебе, второй отдай вот старшому, — показал я на старшего техника.

— Добро! — ответил Николай, поднимаясь на крыло.

— На переходе через лес старшим будет у вас лейтенант Ждановский, — продолжил я. — Его команды и советы выполнять беспрекословно! Не забывайте — мы в тылу у противника, на его аэродроме.

— Да где он, этот аэродром? — раздраженно спросил техник. — Зачем вы в прятки играете, старший лейтенант!

— Однако, рядом! — воскликнул Ждановский, спрыгивая с крыла на землю. — А ты, паря, — взглянул он на старшего техника, — передай этот автомат замыкающему. — И продолжил, обращаясь ко всем: — Пойдем друг другу в затылок. Ступать осторожно — след в след. Тихо! Не разговаривать, не курить! — и повернулся ко мне:

— Разрешите выполнять, товарищ гвардии старший лейтенант?

— Идите! — приказал я и тихо добавил: — Осторожно, Коля, береги себя и ребят.

Мы втроем смотрели вслед удаляющимся, пока они не скрылись в зелени берез, и тут же приступили к маскировке своих самолетов. Кстати, у нас в полку на каждом самолете, по приказу командира, обязательно должны были находиться топор, саперная лопатка и пила-ножовка — маскировка самолетов входит в обязанности экипажа.

Развернув самолеты хвостом к лесу и, насколько возможно, затолкав их под деревья, мы прикрыли их спереди срубленным березняком и присели на траву передохнуть, но тут вернулся Николай в сопровождении лейтенанта и двух саперов.

— Разрешите доложить, товарищ гвардии старший лейтенант! — приложил руку к пилотке Михаил.

— Перестань! — оборвал я его. — Рассказывай, что сделали, что еще надо сделать.

Рассказывай, Михаил.

— Не обижайся, старлей! — улыбнулся он. — Ты же у нас все-таки командир. А сделали немного, сам знаешь — народа у нас маловато. И все же — здешний гарнизон из 12 человек: девять плюс раззява часовой, взяли в землянке, где у них столовая или кухня, еще два шофера — один в кабине бензозаправщика, другой в грузовике. Взяли тепленькими, еле разбудили. Видимо, издалека пригнали. Бензозаправщик полон под горлышко, в грузовике — ящики с патронами и с продовольствием. Есть еще две землянки для жилья, но там никого. Судя по следам заправщика и грузовика, они неслись друг за другом и с запада пересекли часть лётного поля. Этот кусок мы проверили — мин нет. Осталась большая часть поля. Сейчас вместо своих ребят поставил твоих технарей на охрану пленных, а мы всей бригадой пойдем обследовать остальную часть поля. Потом проверим все вырубки леса, где стояли немецкие самолеты. Закончим работу и, как приказано, тут же выложим сигналы. Мы и пришли, чтобы доложить тебе и забрать полотнища для сигнала.

— Погоди, Михаил! Я не вмешиваюсь в вашу работу, но мне кажется, что выкладывать сигналы пока не стоит. Немецкие разведчики тут же их засекут и могут опередить нас, выслав свой десант. Что мы можем сделать против них? Полтора десятка автоматов и пистолеты. Это не оружие для защиты аэродрома! Ваши соображения, коллеги?

— Ну, во-первых, не полтора десятка автоматов, — возразил Михаил. — С трофейными автоматами их будет больше двух десятков. А во-вторых, полковник приказал сразу по окончании работы выложить сигнал. Наши пролетающие соколики увидят его и тут же передадут в штаб! Я обязан выполнить его приказ!

— Можно мне? — как школьник, поднял руку Тесленко.

— Командир звена лейтенант Тесленко, — представил я его. — Слушаем, Алексей.

— Согласен с тобой, командир! Выкладывать сигналы сейчас значит обнаружить себя. Мое предложение: ты, командир, вылетаешь немедленно в штаб и докладываешь ситуацию. Свою часть задания мы выполнили!

— А что скажет лейтенант Казюра? — спросил я.

— Та що тут балакать! — ответил Казюра. — Согласен с тобой. Тильки ось што — если не выкладывать сигналы, могут и под трибунал отправить хлопцев, да и нас за компанию. Думаю зробим так: минеры заканчивают свою работу, а сигналы выкладываем не на летном поли, а ось там за узгорочком, —

показал рукой Казюра. — Там чи ставок, чи болото — вода! Хай думают фрицы, што бабы холсты сушат!

— Ну, как товарищи военный совет, — засмеялся я. — Принимаем такое предложение?

— Я — за! — тоже засмеялся Михаил. — И волки сыты, и овцы целы!

— Ну, на овцу ты, Михаил, однако, не тянешь! — тоже со смехом поддержал Ждановский. — Однако форму сигналов следует менять: например: «можно» — полотнища выложены вдоль берега, «нельзя» — перпендикуляр к берегу. А сигналы посадочное «Т» и «крест» — они международные, любому летчику понятны и немцам тоже. Согласны?

— Хорошо, Николай! — поддержал я. — Возражений нет. Предлагаю — полотнища прямо сейчас перенести ближе к воде, оставить с ними одного человека, а лучше двух. Сигналы к выкладыванию полотнищ подаются с аэродрома ракетами. Согласен, Михаил?

— Так точно, старлей! — ответил Михаил. — Будет выполнено!

— Сколько времени еще займет ваша работа?

— Трудно сказать, но думаю часа три-четыре. Площадь для обследования большая. А тут еще пленные. Их охранять надо?

— Надо, — согласился я. — Договорись с технарями — пусть выделят пару человек. А сейчас вы все перелетаете на аэродром. Ты, Михаил, летишь с Казюрой — покажешь, где можно садиться, остальные — с Тесленко. Мы со Ждановским вылетаем в штаб. Ты, Иван, остаешься за старшего!

— От лышенько! — воскликнул Казюра. — А ну, хлопцы! Слушай мою команду — залазь у самолеты!

— По самолетам, друзья! — поддержал я Ивана.

— До побаченья, командир!

* * *

В штабе, когда я доложил полковнику обстановку на аэродроме и об изменении места и формы сигналов, разразилась буря.

— Мне поперек горла твоя самодеятельность, лейтенант! — начал полковник. — Наши самолеты уже в воздухе! Выполняют боевые задачи. Всем приказано при возвращении пройти над аэродромом «Пастовичи», разглядеть выложенные сигналы и сообщить в штаб армии. А что ты наделал своей дурью?! Вылетай обратно! Командиру минеров передай: ускорить обследование и

показать результаты своей работы обусловленными сигналами! По прибытии в «Пастовичи» оба ПО-2 посылаешь сюда, в штаб. Сам остаешься дежурить по аэродрому. Иди!

Мне хотелось ответить полковнику какой-либо грубостью, но… я человек воспитанный.

Поэтому лишь молча поднес ладонь к пилотке:

— Есть, товарищ полковник! — и повернулся через левое плечо. У самолета меня уже ждали Ландин и Ждановский.

— Самолет готов к вылету! — доложил Ландин. — Извини, не успел заклеить пробоины на правой люльке и на крыле.

Я взглянул на правое крыло, где белыми шишками по зеленому полю перкали пулеметная очередь оставила свой жестокий след.

— Хорошо, хоть не зажигательными, — продолжил Ландин. — Тебе с Николаем повезло — там еще по правому борту пробоины…

— Это еще в первом полете на переднем крае нас обстреляли, из окопов — я видел.

— И ты не ответил своим пулеметом? — взглянул я на Ждановского.

— Так мы же шли тихонечко, чтобы не привлекать к себе внимания. Да и фрицев не хотел будить…

— Гений! — не унимался я. — Сейчас вылетаем. Это который раз за сегодня будем пересекать линию фронта?

— Если считать туда и обратно, то пятый, — ответил Николай.

— И опять потихоньку? — съязвил я. — Чтобы не будить фрицеков после обеда?

— Как прикажешь, командир, — с обидой ответил Николай, поправляя лямки парашюта.

— Прикажу — стрелять!

— Есть! — ответил Николай и поднялся на правое крыло.

«Обиделся, — подумал я, обычно занимать свои места в кабинах принято с левого борта, — ладно, взлетим, тогда извинюсь, а сейчас…» Я склонил голову за борт:

— От винта!

— Есть от винта! — ответил Ландин и тут же замахал обеими руками: — Стой! Не запускай! Посыльный из штаба!

Чтобы лучше видеть, я поднялся с сиденья. К самолету кто-то бежал, размахивая над головой листком бумаги.

— Приказано подождать с вылетом! — еле отдышавшись, прокричал посыльный. — Сейчас привезут обед для ваших ребят!

Передав бумагу Ландину, он побежал обратно, а Петрович поднялся на крыло и передал бумагу мне: «Тебе и твоим

экипажам командующий объявил благодарность за выполнение задания. Твой сумасбродный план со сменой места и формы сигналов им одобрен.

Обед для всех возьмешь с собой.

Когда примешь первый транспортный самолет, можешь всем звеном возвращаться в полк.

Вашей дивизии поставлена интересная задача. Думаю, тебе, гвардии невежа, это понравится.

Прими мои наилучшие пожелания!

Полковник Наумов».

* * *

Разгром вражеских группировок, начатый в районе Бобруйска и Минска, привел к образованию в обороне немецких войск огромной бреши. Войска 1-го Белорусского фронта правым крылом продолжали наступление на Барановичи и Брест, встречая яростное сопротивление противника, войска которого пополнились несколькими свежими дивизиями.

Авиасоединения 16-й воздушной армии, взаимодействуя с войсками 65-й и 28-й армий и конно-механизированной группой, продолжали преследовать отходящего противника бомбоштурмовыми ударами, расчищая полосу наступления войск фронта. Наша дивизия уничтожала вражескую артиллерию на позициях, автотранспорт на дорогах, живую силу и технику в ближнем тылу противника, железнодорожные эшелоны на станциях Мацеюв, Лесна и разрушала переправы на реке Мышанка западнее Барановичей.

Сломив упорное сопротивление врага, войска фронта овладели укрепленным районом и городом Барановичи, а через два дня освободили город Слоним.

Наша дивизия помимо ночных бомбоштурмовых ударов в эти дни занималась доставкой горючего для войск и авиации на аэродром «Барановичи». Только за три дня было доставлено 50 т бензина, 19 т масла и большое количество различных боеприпасов.

В результате блестящих побед Красной Армии к концу июля 1944 года почти вся территория Белоруссии была освобождена от немецких оккупантов. И Ставка Верховного командования поставила задачу 1-му Белорусскому фронту развивать дальнейшее наступление на Варшаву, выйти на Вислу и Нарев и захватить плацдармы на берегах этих рек.

Пепел сожженных стучит в сердца

Где-то совсем недалеко Беловежская пуща — дремучие леса, непроходимые болота, заповедные зубры. Однажды под крылом моего самолета мелькнул старинный замок — охотничья резиденция польских королей. Говорят, сюда приезжал охотиться на зубров Геринг. Может, это и правда. Но не это сейчас занимает мои мысли. До границы Германии остались считаные километры — сотня, другая.

Полк еще в глубоком тылу, а наша эскадрилья вместе с комендатурой от БАО выдвинута вперед и уже ведет боевые действия с территории Польши.

Деревушка Водыне, где мы базируемся, находится близ Минска-Мазовецкого, что по нашему административному делению соответствует районному центру. Однако от этой близости Водыне не приобрела никакой «столичности». Задумчивые ивы над гладью заболоченной речушки, крытые соломой хаты… Лишь неподалеку от костела, в конце деревни, просматриваются сквозь зелень белокаменные стены панского маёнтка — помещичьей усадьбы. Совсем как в глухомани нашего Полесья, но старого, дореволюционного, — того Полесья, облик которого донесли нам талантливые стихи Янки Купалы и Якуба Коласа.

В центре деревушки стоит добротный дом под железной крышей. Это «склеп» пана Юзефа. Магазинчик, чайная, кабачок и… В общем, здесь можно приобрести любые необходимые мелочи, были бы деньги, а уж пан Юзеф не поленится подняться с постели и глубокой ночью, чтобы на настойчивый стук позднего посетителя протянуть в форточку пачку «юнака» или «махорковых» — излюбленных сигарет бедноты, а то и бутылку бимбера.[18]

А еще в дом пана Юзефа посетители частенько приходят не столько для того, чтобы пропустить стопку бимбера и закусить свежими колбасами — изготовлять их пан Юзеф непревзойденный мастер, — но и выпить чашку горячей гарбаты, [19] а главное, обменяться новостями. Новости человеку нужны как воздух. А сейчас, в это смутное время, особенно.

Войска 1-го Белорусского фронта, пробиваясь на запад, к Висле, стороной обошли Водыне, и уже неделю эта деревушка является глубоким тылом. Единственными представителями Красной Армии, а вместе и посланцами советского народа на освобожденной польской земле служим мы, летчики, мотористы, оружейники нашего полка. И поэтому каждый житель хочет

почерпнуть новости из наших уст, а заодно и присмотреться к советским людям, понять нас, солдат-победителей из страны-соседа.

Пять лет находились поляки под кровавым сапогом гитлеровцев. Жесточайший террор, концентрационные лагеря смерти, массовые убийства и нищету принесли с собой оккупанты.

«Мы добьемся того, чтобы стерлось навеки само понятие «Польша». Никогда не возродится Речь Посполитая или какое-либо иное польское государство», — самоуверенно заявил генерал-губернатор Польши Франк. И гитлеровцы делали все для этого. Пять с половиной миллионов поляков уничтожили они, сотни тысяч угнали на каторжные работы в Германию. Еще не остыли печи в крематориях Освенцима и Майданека, еще многим людям снятся виселицы и тюрьмы, а тут уже новые тревоги! Их порождают приказы эмигрантского «правительства», бежавшего в Лондон, тайные инструкции и слухи.

О, каких только слухов нет в кабачке пана Юзефа!.. Мы квартируем у пана Юзефа, занимая две комнаты с обратной стороны «склепа». В редкую свободную минуту я забегаю в небольшой залик, где у стойки священнодействует сам пан Юзеф или его жена, худенькая, светловолосая пани Марыся, и пропускаю стопку неизменной «монополевой»[20] — ее пан Юзеф подносит только избранным посетителям — и, закусив куском домашней колбасы, выхожу во двор покурить. Тут же на огонек моей папиросы собираются посетители «склепа» во главе с самим паном Юзефом. Под дымок трубок и сигарет течет наша неторопливая беседа. И говорим будто о пустяках, но я-то знаю, как беспокоят эти пустяки каждого поляка.

Со мной мужчины держатся особенно. С одной стороны, их подкупает мой варшавский выговор, и они готовы верить каждому моему слову, а с другой — бросая испытующие взгляды, стараются понять, кто я — друг или враг?

Да, еще не скоро разберутся жители Водыне, как и все поляки, кто их друг, а кто враг. Еще будет литься кровь. И в их головах будут ворочаться мысли — тяжелые, как жернова, как кошмарные сны…

Польский язык я выучил случайно, без каких-либо особых усилий с моей стороны. Когда-то у нас в Гомеле была специальная польская школа. Одна из тех школ, что были созданы нашим правительством в Белоруссии для поселившихся там до и после Октябрьской революции польских семей. Потом эти школы были расформированы, а учившиеся в них дети поляков пришли в наши школы. Так бывший ученик польской

школы Стасик Станкевич стал моим соседом по парте, а позже и большим приятелем.

Отец и мать Стася, гонимые нуждой, тоже эмигрировали из Польши и осели в нашем городе. Но русский язык оказался тяжеловат для пана Казимира, отца Стасика, и для пани Брониславы, его матери. Поэтому в их доме звучала только польская речь, да еще с настоящим варшавским акцентом.

Только на польском языке говорили дома и дети — Стась и его сестры Ирена и Алина. Я часто бывал в доме своего школьного товарища, благо, наши дома находились неподалеку, и не помню, когда произнес первое слово по-польски. И вот теперь варшавский диалект в одно и то же время подкупает моих собеседников и настораживает: уж не переметнувшийся ли я на сторону «москалей» поляк? Но даже эти сомнения не сглаживают остроты беседы.

— Пан Костусь, — начинает разговор пан Юзеф, который на правах хозяина доверительно обращается ко мне только по имени, — бывали ли вы в Сибири?

По-видимому, сегодня беседа примет чисто географическое направление. Это меня устраивает. В Сибири я бывал, но, к сожалению, ее разнообразной природы не видел. Да и что можно увидеть с высоты полета? Тем не менее я готов удовлетворить любопытство пана Юзефа.

— Был! — отвечаю ему.

— Это правда, что там страшные морозы?

— Как вам сказать… Сибирь велика, и там можно встретить различный климат. Но, как и всюду, — зимой морозы, а летом тепло.

— Простите, а что там растет?

— Лес, пан Юзеф! По-русски — тайга!

— И все? Кроме «тайга» ничего больше?

— Нет, почему же. У нас Сибирь называют второй житницей России. Значит, там растет хлеб.

— Простите, хлеб… Что вы понимаете под этим?

Действительно, что я понимаю под словом «хлеб»? И вообще, что означает выражение «житница России»? Черт возьми! Кажется, пан Юзеф неспроста завел этот разговор… Итак, что такое «хлеб»? Злаковые культуры. К ним относятся…

— Рожь, пшеница, ячмень, овес, пан Юзеф!

— И все это растет в Сибири?

Этот вопрос уже задает пан Курмановский, эдакий невзрачный старичонка в штопаных-перештопаных на коленях брюках, в пиджаке серо-грязного цвета и такой же шляпе, надвинутой на седые кустики бровей. Самый дотошный оппонент.

Он всегда имеет наготове десятки самых неожиданных вопросов. А попробуйте что-либо спросить у него, он тут же прикинется глухим, приставит к уху заскорузлую ладонь и начнет переспрашивать:

— Цо пан муви, цо?[21]

А вот мне надо отвечать на любые вопросы. Я представляю Красную Армию, я представляю Советский Союз, Родину.

— Всё, пан Курмановский! — отвечаю ему. — И не только это! В Сибири, пан Курмановский, разводят еще скот: коров, лошадей, овец, свиней и… пчел!

Я вижу недоверчивые улыбки слушателей. Неужели сказал что-то не так?

— Пчел? — Пан Курмановский даже сдвигает свою видавшую виды шляпу на затылок. — А чем же, пану поручнику, питаются в Сибири пчелы?

— Тем, чем и у вас! — парирую я вопрос пана Курмановского. — Цветочками!

— Простите, пану поручнику. Какие цветы выращивают для пчел?

У-ух! Если бы я знал, какими цветами питаются эти чертовы насекомые! И вообще, какие названия цветов я знаю по-польски? Вот здорово! Хоть убей, ни одно название не идет на память. Хотя стоп, стоп…

— Розы!

Вместе со всеми смеется и пан Курмановский. Смеется до слез. Даже вытирает глаза пальцами, черными от въевшейся в кожу земли.

— О-хо-хо! — произносит он сквозь смех. — Не обижайтесь, пану поручнику. Мы же с вами знаем, что розы не пища для пчел!

Затем следуют расспросы о колхозах, о населении Сибири…

* * *

Два дня назад в Водыне перебазировался весь полк. Едва прилетев, командир тут же строго отчитал нас за отсутствие должной маскировки: наши самолеты стояли вдоль опушки, лишь слегка прикрытые срубленными ветвями. Так мы сделали совсем не от лени, как показалось командиру полка, а из «дипломатических соображений». По должности я заместитель командира эскадрильи. Командира эскадрильи у нас давно уже нет, но, несмотря на это, меня почему-то не утверждают в должности командира, хотя «фитили» я получаю едва ли не за двоих, успев уже привыкнуть к этому.

Мне и самому известно, что за нами активно охотятся не только вражеские самолеты-разведчики. Недавно в районе нашего аэродрома опять был задержан диверсант с портативным передатчиком, работающим на «привод». Если бы диверсанту удалось выполнить задание, не миновать нам разгрома. А так вражеские бомбардировщики опять утюжили фанерные макеты самолетов и зениток. Что и говорить, на войне маскировка совсем не последнее дело, и все мы это знаем твердо.

Перебазировавшись в Водыне, мы намеревались сразу же вырубить просеку и затащить туда самолеты. Уже сбросили гимнастерки, вооружились пилами и топорами и… Увлеченные работой, мы не сразу заметили странный экипаж, запряженный парой лошадей, что двигался к лесу со стороны деревни.

Лишь когда экипаж поравнялся с нами, мы побросали инструменты и подошли ближе к дороге, остолбенело разглядывая это странное, сверкающее на солнце черным лаком сооружение с золоченым гербом на дверце. Впереди восседал кучер в белых перчатках, позади на мягких сиденьях покачивались три женщины. Одна из них, пожилая, вероятно, была матерью, две другие, совсем девочки, — ее дочерьми. Что это — бродячие циркачи или опереточная труппа? Наше любопытство требовало удовлетворения, и оно не заставило долго ждать. Едва экипаж остановился, пожилая дама ткнула длинной ручкой лорнетки в спину кучера, и он возгласил громоподобным голосом:

— Пани Рутковская желает говорить со старшим офицером!

Ну, чем не оперетта?! Лица ребят уже осветились улыбками, вот-вот разразится хохот.

Незаметно для дам, я показал им за спиной кулаки прошептал сквозь зубы:

— Черти, тихо! Мы в капиталистической стране… И представляем Родину. Держитесь.

Дав им время для размышления, я шагнул к экипажу и тут же ощутил взгляд пожилой дамы, скользнувший по мне сквозь лорнетку от запыленных сапог до потных вихров на макушке. Что и говорить, вид у меня далеко не парадный: брючонки ХБ,[22] по голому животу под расстегнутой гимнастеркой грязные потеки пота…

Дама сжала и без того сухие губы в узкую щелку и презрительно процедила, обращаясь к девицам:

— И это русский офицер! Матерь божья, быдло!..

Девицы хихикнули, будто хлестнули по мне ивовыми прутьями. Эх, ответить бы им по-русски! Но, подавляя смущение и возникшую неприязнь, предельно вежливо, в духе истинного

шляхтича — знай наших! — я щелкнул каблуками и склонил голову в традиционном офицерском поклоне:

— Простите. Старший офицер к вашим услугам, пани Рутковска.

— Вы… вы… — пани явно смущена, на ее блеклых щеках выступили пятна. — Вы поляк?!

— Простите, пани. Русский. Старший лейтенант Красной Армии, пани Рутковска.

Черт возьми, никогда не предполагал, что во мне таится столько галантности! Это тебе, пани, за «быдло»!

— Простите, пану поручнику. Сейчас смешалось все: языки, народы… — предприняла она слабую попытку извиниться. — Тераз война, пану поручнику…[23] — и без всякого перехода небрежно ткнула лорнеткой назад: — Мои дочери…

Вновь щелкая каблуками, кланяюсь, возможно, чуть ниже, чем пани Рутковской: все же девушки! В ответ получаю дружные улыбки. Но поджатые губы матери сдувают их с милых мордашек.

— Здесь все мое, пану поручнику! Все наше. Земля, лес. Ваши люди рубят мой лес. Даже германцы не позволяли этого! Понимаете? Мой лес!

— Простите, пани. Но вы сами сказали — «война…». Надеюсь, вы понимаете?..

— О-о! Я понимаю, пану поручнику! Война… Это страшно. Но вы могли бы известить меня, что вам нужен лес.

— Простите. Военная необходимость… Но мы готовы возместить убытки! — Вот те на! Интересно, чем же это я буду возмещать ей убытки?

— Нет-нет, война! — перебила пани Рутковская. — Война касается нас всех. И вас, русских, и нас, поляков. Мы все ненавидим немцев, мы все должны жертвовать… Пусть срубленный вами лес будет моим небольшим вкладом в нашу общую победу. Рубите, сколько необходимо!..

— Благодарю вас, пани Рутковска. Вы правы: немцы не только наши враги, но и ваши тоже…

— О, да! Да, пану поручнику! До свиданья!..

— До видзення, пану поручнику! — дружно прощебетали девушки. — До свиданья!..

Об этом «дипломатическом» курьезе мне не хотелось рассказывать командиру полка, тем более что второе свидание с пани Рутковской так и не состоялось. Вскоре ясновельможная пани вместе со своими титулованными отпрысками отбыла в неизвестном направлении. И вовремя. Служба СМЕРШ установила, что ее сын — один из руководителей местного отряда Армии крайовой,[24] организатор диверсионных актов против

наших войск. Вот тебе и «мы все ненавидим немцев». Неувязочка вышла, пани Рутковская! Выходит, ненависть-то у нас разная…

Теперь понятно, откуда эти осторожные расспросы о Сибири, о колхозах, о том, какой будет теперь Польша! Это фашистские прихвостни, преданные идеалам старой панской Польши, истые враги народа, различные подонки всех степеней и рангов пытаются посеять раздор между трудовым людом Польши и нами, превратить национальные чувства в оружие борьбы с армией социалистического государства. Не выйдет, панове! Не запугаете вы своих крестьян россказнями о Сибири и дикими вымыслами о колхозах. Любая ложь имеет конец. Может быть, и нежелательный для вас, господа, но это уже от вас не зависит.

В новогоднюю ночь 1944 года была создана Крайова Рада Народова — высший представительный орган борющейся против оккупантов Польши. Это детище демократических партий и организаций появилось по инициативе Польской рабочей партии (ППР). Крайова Рада Народова заявила, что ставит своей задачей объединение всех антифашистских сил страны, демократизацию политического строя, экспроприацию помещичьих земель и передачу их крестьянам, национализацию банков, крупной промышленности и транспорта. Это заявление фактически явилось программой народно-демократической революции.

Одним из первых декретов Крайовой Рады Народовой стал декрет о создании вооруженных сил — Армии людовой. В нее вошли отряды Гвардии людовой, действующие под руководством Польской рабочей партии, и часть вооруженных отрядов других демократических партий. К лету 1944 года Армия людова имела одиннадцать бригад, активные действия которых против оккупантов особенно усилились с выходом сюда отрядов советских партизан. Теперь война велась во всем немецком тылу.

Размах и организованность демократических сил крайне встревожили эмигрантское «правительство» Польши и его сторонников как в самой Польше, так и в правительствах Англии и США. Боясь победы народа и его прихода к власти, реакция старается ослабить антифашистское движение и предпринимает действия, направленные на раскол этого движения и изоляцию Польской рабочей партии от народа. В ходу все: провокации, террор, панические слухи. Борьба между демократическими и реакционными силами за будущее Польши обострялась день ото дня. С вступлением советских войск и 1-й Польской армии в пределы Польши она еще более усилилась. По тайному приказу из Лондона Армия крайова активизировала действия против Советской Армии. В тылу наших войск участились диверсии, нападения на мелкие воинские группы и одиночек-

военнослужащих.

Созданный 21 июля 1944 года Польский Комитет национального освобождения — центральный орган народной власти на следующий же день принял Манифест, провозгласивший восстановление всех демократических свобод и проведение важнейших социальных преобразований, в том числе и аграрной реформы. Манифест объявил незаконным эмигрантское правительство в Лондоне.

26 июля Народный комиссариат иностранных дел СССР сделал заявление об отношении Советского Союза к Польше, подчеркнув в нем, что Советский Союз не претендует на земли Польши и признает ПКНО — новый революционный орган народной власти. Далее в заявлении говорилось о том, что по мере освобождения территории Польши Красной Армией все освобожденные районы будут передаваться в ведение Польского Комитета национального освобождения.

Манифест Польского Комитета национального освобождения и заявление Народного комиссариата иностранных дел СССР не на шутку переполошили эмигрантское правительство Миколайчика в Лондоне. Боясь потерять власть в стране, польские реакционеры по воле эмигрантского правительства и при поддержке правящих кругов США и Англии решили поднять вооруженное восстание в Варшаве, объявив его целью освобождение столицы от немецких оккупантов силами самих поляков, а фактически желая предотвратить установление в Польше народно-демократического строя.

Первого августа — день начала восстания. Восстание ширилось с каждым днем.

Жители Варшавы, рядовые члены Армии крайовой, совершенно не представляя, что они служат мелкой разменной монетой в политической игре эмигрантского «правительства», и не зная его преступных подлинных целей, не щадили своих жизней во имя освобождения страны от гитлеровских захватчиков.

Не знали пан Курмановский и пан Юзеф, что слухи о том, что все трудоспособное население будет сослано в Сибирь, что в созданных на территории Польши колхозах будет обобществлен не только скот, птица, различный хозяйственный инвентарь, но и дети, и женщины, — все это провокация, предпринятая по прямому указанию из Лондона с единой целью — подбить население Польши на выступление против «москалей».

Но трудовой люд Польши уже видел, на чьей стороне правда.

Приказом начальника политотдела мы с Николаем Кисляковым включены в бригаду самодеятельных художников и

литераторов, которой поручено создание истории нашей дивизии. Отсутствие хорошей бумаги и красок несколько охлаждает наш первоначальный творческий пыл, но начальник политотдела полковник Журбенко, выслушав наши сетования, тут же находит простое решение:

— Поедете в Люблин и купите все необходимое. Наверное, там все это есть.

Нашлось какое-то дело в Люблине и майору из разведотдела, и не прошло и часа, как все мы уже сидим в юрком джипе: рядом с шофером в кабине — майор, мы с Николаем — в кузове. Подняв воротники шинелей, прижимаемся друг к другу, стараемся хоть как-то сохранить остатки тепла, но встречный ветер пронизывает нас насквозь.

На очередном КПП к нам в кузов подсаживают двух польских офицеров и несколько женщин. Женщины закутаны с головой кто во что горазд, но это не мешает им с любопытством присматриваться к нам и — о женское любопытство! — осторожно расспрашивать о том о сем. Когда поляки убеждаются, что со мной можно говорить на родном языке, беседа становится общей. Их интересует все: наша Москва, положение на фронтах, скоро ли новое наступление и когда будет освобождена Варшава. Смеясь, я ухожу от ответа на вопросы, касающиеся планов командования, и в свою очередь расспрашиваю их о Варшаве и Люблине, куда мы едем.

В разговорах незаметно бежит время, и ветер не кажется уже таким холодным.

В Люблин приезжаем вечером. Дежурный помощник военного коменданта разводит руками и хмыкает:

— В гостиницах мест нет…

Старший нашей «команды», майор, явно обескуражен этим и заводит речь о возвращении в часть.

— Товарищ майор, есть предложение сначала поужинать, — предлагает Николай.

— Точно, товарищ майор! — поддерживаю я. — На сытый желудок и ночлег найдется.

— А где же ужинать? — почти сдается майор. — Ведь поздно.

Я широко развожу руками:

— В таком-то городе и не найти? Найдем! Прошу, товарищ майор!

Главное — не дать ему опомниться, не дать поразмыслить, а то останемся без красок и бумаги.

А мне совсем не хочется огорчать комиссара Журбенко: славный он человек.

Стучусь в дверь первого «склепа», маленького магазинчика,

торгующего ничем и всем. В таком магазинчике можно купить носки и круг свежей колбасы, приобрести лезвия для бритвы и выпить чашку чая.

— Входите! Открыто! — доносится из-за двери звонкий женский голос.

Сопровождаемые тонким треньканьем звонка над дверью, входим в магазин. За прилавком миловидная паненка. Я мобилизую все очарование, на какое только способен молодой мужчина, к тому же весьма голодный:

— О-о! Добрый вечер, прекрасная пани! Так поздно, а вы еще трудитесь!

— Добрый вечер, панове! Что бы вы хотели?

— О, прекрасная пани! Если бы вы были к нам так добры, как вы прекрасны, то вы могли бы спасти от смерти четверых умирающих с голода мужчин! О-о! Матерь божья! Из таких ручек даже стакан простого лимонада покажется божественным напитком! А чашка чая? Я даже не нахожу слов для выражения восторга, если вы позволите нам принять из ваших рук чашечку чая!

— Я вижу, пан офицер мастер расточать комплименты, — перебивает мои льстивые излияния пани. — В моем склепе слишком скудный запас продуктов. И вообще, сейчас нелегко.

— О, пани! Безусловно, всем нелегко. Но даже самый простой ужин, приготовленный вашими руками, покажется королевским!

— Ох, пан офицер! — улыбается пани. — Несмотря на все ваше красноречие, я могу предложить только колбасу и хлеб. Если хотите, будет чай.

— Я же сказал — любой ужин будет королевским. А если вы еще добавите бутылочку «монополевой»…

— Ох, пан поручнику! — опять улыбается хозяйка. — Алкогольные напитки запрещено продавать! Но… так уж и быть, будет вам бутылочка бимбера.

— Вы хотели сказать «монополевой», прекрасная пани! Наш пан майор самогон пить не может. Сами понимаете, у начальства изысканный вкус. И он очень строг, наш майор.

Майор дергает меня за рукав:

— О чем ты лопочешь, уж не про меня ли? Что она тебе отвечает?

— Ужин обещает, товарищ майор, — говорю я ему и тут же поворачиваюсь к хозяйке: — Видите, пани! Уже ругает меня пан майор. Требует только «монополевой».

— Ох, пан поручнику! — смеясь, грозит пальчиком хозяйка и скрывается в дверь за стойкой.

Николай давится смехом:

— Ну и арап ты, старина! Неужто уговорил?

— Посмотрим, — отвечаю ему и скромно опускаю глаза.

Вскоре хозяйка появляется из-за стойки с подносом, на котором громоздятся тарелки с закуской и покрытая томной испариной бутылка «монополевой» с белой сургучной головкой. Я незаметно толкаю локтем Николая: знай, мол, наших! — и спешу навстречу хозяйке.

Майор долго колдует над бутылкой, рассматривает ее на свет, взбалтывает содержимое и нюхает.

— Простите, уж не чертика ли вы там ищете? — невинно интересуется Николай.

— Забыли, где мы находимся? — скупо роняет майор. — В водку могут подсыпать любую отраву. Только бдительность отличает настоящего разведчика от всех прочих!..

Вид предстоящего ужина и особенно живительной влаги в запотевшей бутылке переполняет майора растущим уважением к собственной персоне.

— О чем говорит пан майор? — спрашивает хозяйка.

— О-о, пани! Он воздает хвалу вашему гостеприимству, он высказывает самые хорошие слова благодарности! Он… он целует ваши ручки, пани!

Я подхожу к хозяйке и подношу ее руку к губам.

— Такой пустяк! — смущается пани. — Это еще из довоенных запасов. Сохранили от немцев. Просто чудом сохранили.

Майор решительно наполняет рюмки Николаю и мне, а после недолгого колебания наливает до половины в рюмку шоферу. Себе он наполняет до краев и, поднимая ее, сквозь прищур век внимательно осматривает нас:

— Ну, будем!

Пьет он с закрытыми глазами. Николай поднимается со стула и наклоняет голову в сторону хозяйки.

— За здоровье дам! — произносит он.

О, мой друг осмелился произнести сегодня первую фразу по-польски! Я тоже поднимаюсь со стула:

— На здравье, пани!

Мы дружно чокаемся рюмками и стоя выпиваем водку…

С помощью пани Ирены, так зовут хозяйку «склепа», нам с Николаем удается устроиться на ночлег в доме ее родственников. Майор разместился неподалеку, на соседней улице. С ним находится и шофер, которого он не отпускает от себя ни на шаг. Что поделаешь, придется обходиться завтра без машины. Уж одно то хорошо, что майор не будет нам помехой в поисках красок и бумаги.

Вопреки ожиданиям, наши дела устроились сами собой.

Стоило только пани Ирене куда-то позвонить, и вот уже рулон отменной бумаги и коробка настоящего «Виндзора»[25] лежат перед нами. Какими словами отблагодарить любезность пани Ирены! Впереди у нас совершенно свободный день. Чем же его заполнить? А пани Ирена предлагает познакомиться с городом и берет на себя труд быть нашим гидом.

Идем по улицам древнего города. Веселое солнце расплескало свои расплавленные блики по окнам домов, сверкает рябью в лужах растаявшего за ночь снега, бросает розовые мазки на лица прохожих. Но почему люди не отвечают радостью солнцу, почему не видно улыбок в это доброе утро? Чем ближе к центру города, тем мрачнее лица. А горожане уже запрудили толпой тротуары, заполнили мостовые, и все куда-то торопятся, спешат.

— Что происходит в городе? Куда торопятся эти люди, пани Ирена?

— Куда? — переспрашивает пани Ирена. — О-о, сегодня начинается суд над бандитами из Майданека. Их должны вести по улицам из тюрьмы, и все хотят увидеть их своими глазами. Понимаете, каждого! И своими глазами!..

— Да, это страшные люди.

— Но их надо знать. Надо запомнить. Нам и нашим детям. У вас есть дети, пан поручнику?

— Я еще…

— Понимаю! Когда-нибудь и у вас будут дети, пан поручнику. И вы должны запомнить и рассказать им.

— О чем рассказать, пани Ирена?

— Обо всем! Об этих улицах, об этих людях! Посмотрите в их глаза. Потом мы пойдем в Майданек. Все это вы должны запомнить. Должны рассказать своим солдатам, своим русским людям. Смотрите!

Мгновенно напрягаются и без того суровые лица, и сначала тихо, как дуновение ветра, потом громче, отчетливей, яростней, как рев бури:

— Ведут! Ведут! Бандиты! Убийцы! Звери! Лица людей искажены гримасами боли, ярости, ненависти и презрения.

— Ублюдки! Бандиты! Нет пощады извергам! Смерть палачам!

— Смерть! Смерть!

Серо-желтые маски лиц, опущенные глаза, поднятые над головой руки… Нацистские преступники пытаются защитить свои головы от плевков и ударов, они увертываются, льнут к польским жолнежам — эскортирующим их автоматчикам.

— Смотрите, Панове! Это фашисты! — восклицает пани Ирена. — Это оборотни!

Я смотрю на пани Ирену. Ее тонкое и прекрасное лицо покрывается красными пятнами, губы начинают судорожно дергаться…

— Злодеи! Смерть, смерть!..

Мы с Николаем берем ее под руки, но она старается вырваться от нас, тянется к плотному кольцу автоматчиков, пытаясь плюнуть в лица палачей, и вдруг все ее тело ослабевает, повисает на наших руках, вздрагивая в истерическом рыдании.

— Смерть!.. Только смерть, панове!.. — шепчут поблекшие губы пани Ирены. — Нельзя им прощать это. Нельзя прощать фашизм!..

Мы входим в ворота и оказываемся за высоким забором из колючей проволоки, по углам которого находятся сторожевые вышки. В глубине огромного двора видны каменные корпуса. Взгляд отыскивает высокие трубы и рельсы узкоколейки, которые тянутся, вероятно, к печам. Первое впечатление, будто бы мы находимся на территории гигантской фабрики. Я задыхаюсь. Мне кажется, что воздух насыщен жирной копотью, смрадом сгоревших человеческих тел. Я даже ощущаю эту гарь на губах.

Боже мой! А узники дышали этой гарью недели, месяцы. Дышали, когда везли трупы умерших в вагонетках к печам, дышали, когда сортировали их одежду: женскую — отдельно, мужскую — отдельно, детскую — отдельно… Вот они, тюки с этой одеждой. Их так и не успели отправить в Германию. Не успели отправить и тюки с обувью, разобранной с той же немецкой аккуратностью. Вот женские туфли на высоком каблуке, а эти — на низком… Вот и детская обувь — от матерчатых пинеток до школьных ботинок! Все в аккуратных тюках из веревочной сетки, с табличками, ярлыками и бирками… Сколько здесь этих туфель и ботинок — сотни, тысячи?! И каждая пара принадлежала человеку. Живому человеку!..

Я не могу смотреть на эти тюки с одеждой и обувью. Предательская тошнота подкатывается к горлу. Но я должен запомнить. Должен!..

А это уже тюки с волосами. Обыкновенные человеческие волосы. Перед тем как убивать, палачи стригли свои жертвы: в хозяйстве и волос пригодится!

Теперь эти волосы в тюках, как прессованное сено. Разные. Пепельные, русые, каштановые, седые…

Пани Ирена подходит к одному тюку, берет в руки седую прядку волос, бережно заворачивает ее в бумажку и прячет в сумочку.

— Пани Ирена!

— Может быть, это волосы моего мужа…

— Простите… Простите, пани Ирена!..

Я беру ее руку, Николай берет другую, и мы прижимаем холодные пальцы к своим губам. Это выражение скорби перед величайшим горем человечества! И молчаливая клятва, что мы никогда не забудем печи, бесконечные тюки с одеждой, обувью и волосами. Не забудем глаза пани Ирены. Глаза всех людей, которые видели лицо фашизма.

Вечером собираются родственники и знакомые пани Ирены, которым охота непременно познакомиться с русскими офицерами-летчиками. Стол в гостиной накрыт для праздничного обеда, извлечены из запасов различные вина. Гости оживлены, веселы и стараются свое веселье передать нам. Но им это не удается. При виде еды мне хочется встать из-за стола.

Наверное, так же чувствует себя и Николай. Со щек у него сошел обычный румянец, лицо сразу как-то заострилось и постарело.

Мы пьем рюмку за рюмкой. Пьем и не пьянеем. Вместе с нами пьет пани Ирена. Она тоже ничего не ест и тоже не пьянеет.

Наше поведение за столом вызывает осуждающие взгляды гостей. Заметив это, пани Ирена говорит:

— Мы были в Майданеке…

Больше нас никто не пытается развлечь, становится тихо. И нам вновь наливают вино. Наливают и себе. И все мы молча пьем, погруженные в свои горестные мысли. И вряд ли кому приходит на ум в эти минуты, что горе у всех нас одно — людское, что пепел сожженных в Майданеке одинаково больно стучит в наши сердца, несмотря на национальные различия и несхожесть наших взглядов.

Пепел стучит в сердца!..

Пламя Варшавы

Уже несколько дней бомбовыми ударами поддерживаем пехоту, но по всему видно, что наше наступление выдыхается. Все яростней контратаки противника, все медленнее темп продвижения наших войск. Штабисты поговаривают о том, что передовым частям, возможно, придется отойти за Вислу. После длительного наступления у нас явно недостаточно сил для закрепления на новом плацдарме.

А Варшава пылает. Огненные очаги пожаров, тут и там разбросанные по всему городу, обозначают районы действия повстанцев. Фашисты методически выжигают и разрушают город, выбивая из домов восставших варшавян. Уже разорвано основное кольцо обороны повстанцев, вместо него образовалось три очага сопротивления. Наши летчики дали этим очагам свои названия: «южный», «центральный» и «северный». И все же сопротивление повстанцев не ослабевает.

Вчера все самолеты нашей дивизии были брошены на оказание помощи повстанцам с воздуха. Мы сбрасывали продовольствие, медикаменты и оружие. Уже перед самым рассветом в район очага «центральный» удалось сбросить сорокапятимиллиметровую пушку. Поднять пушку целиком нашим самолетам оказалось не под силу, поэтому пришлось ее разобрать на три части. Сегодня пришло сообщение, что пушка собрана и уже громит вражеские танки. Это сообщение меня радует особенно, и я весь день чувствую себя чуть ли не именинником. Правда, в сбросе пушки я не участвовал, зато капитан-артиллерист, который собрал ее и теперь огнем помогает повстанцам, — мой «крестник». Как же не гордиться успехами?! Однако надо объяснить, как наш советский офицер оказался среди повстанцев.

Советское командование, разгадав авантюрный характер начавшегося восстания, на первых порах не желало хоть как-то быть причастным к нему. Но восстание ширилось, и все большее число польских патриотов проливало свою кровь на его баррикадах. Тогда, не считаясь с тем, что наступательные возможности Красной Армии после сорока дней непрерывных наступательных боев на полях Белоруссии и Польши сильно ослаблены, не успев подтянуть тылы и перегруппировать войска, советское командование все же отдало приказ о наступлении, сделав все возможное для поддержки восставших.

С одновременным наступлением советских войск на предместье Варшавы — Прагу — части 1-й Польской армии

форсировали Вислу, намереваясь захватить плацдармы и соединиться с повстанцами. Однако, несмотря на поддержку советской артиллерии и авиации, польские воинские формирования в результате ожесточенных контратак противника были вынуждены опять отойти за Вислу.

И все же советское командование не оставило без помощи повстанцев. На помощь им была брошена малая фронтовая авиация. Следует заметить, что с началом Варшавского восстания союзное[26] командование тоже предприняло «широкую» помощь повстанцам, установив пресловутый воздушный мост Лондон — Варшава.

Американские тяжелые бомбардировщики «Летающая крепость», базировавшиеся в Англии, вылетая для очередной массированной площадной[27] бомбардировки Берлина, проходили затем над Варшавой и сбрасывали грузы для повстанцев. На наших аэродромах они заправлялись, пополняли боекомплект и возвращались в Англию, попутно вновь бомбардируя Берлин. Если такие челночные операции имели какой-то видимый эффект, то помощь союзников повстанцам едва ли не равнялась нулю по той простой причине, что рассчитать точное попадание грузового парашюта с высоты пяти-семи тысяч метров даже в идеальных условиях при полном отсутствии ветра задача не из легких. И неудивительно, что американские «подарки» иногда падали даже на наш аэродром, отстоящий от Варшавы на восемьдесят-девяносто километров! Надо полагать, что подобные «сюрпризы» вызывали восторг, а то и насмешку по другую сторону линии фронта, у врага. А повстанцам от этого не становилось легче.

Организуя снабжение восставших с воздуха, наше командование сразу же отказалось от применения для этих целей скоростных бомбардировщиков и транспортных самолетов. Выполнение задачи было возложено исключительно на нашу малую авиацию. При небольшой скорости самолетов в сочетании со сбросом с малых высот (сто пятьдесят — двести метров) возможно было обеспечить высокую точность попадания и надежность доставки грузов.

Еще задолго до первых полетов все мы, летчики, засели за изучение крупномасштабного плана Варшавы. Признаюсь, через неделю даже родной город я не знал в таком совершенстве, как знал польскую столицу. Наверное, это и предопределило выбор летчика, когда потребовалось сбросить нашего офицера-артиллериста в определенной точке пылающего города.

Первый полет к повстанцам «центрального» очага я сделал со штурманом Николаем Ждановским. Сбросив в нужной точке два

грузовых парашюта, мы вернулись на свой аэродром, чтобы заправиться и взять грузы. Едва я выключил двигатель, как к самолету подкатила бензозаправочная машина. Одновременно с нею появились люди, которые занимались подвеской парашютов.

И вдруг…

— Отставить подвеску! — послышался откуда-то из темноты голос командира полка. Тут же я увидел его и нескольких незнакомых мне людей. Разложив на крыле карту Варшавы, командир полка спросил:

— Площадь Велькицкого знаешь?

— Знаю.

— На всякий случай взгляни еще раз. — И фонарик тонким лучом скользнул по карте. — Вот она, видишь?

— Вижу.

— Если увидишь на площади зеленые огни, формой напоминающие стрелу, можешь сбрасывать. Не будет огней — сбрасывать не надо.

— Понятно.

— Учти, что площадь мала, не промахнись. Будешь сбрасывать человека. Максимум осторожности!

— Анатолий Александрович!..

— Не обижайся. Это человек, а не грузовой парашют, потому и напоминаю об осторожности.

— Понимаю. А где этот самый человек?

— Вот он. Знакомьтесь, капитан.

Из-за спины командира полка появился рослый детина, протянув руку, пробормотал что-то невнятное, видимо, представляясь, и тут же обнял меня за плечи:

— Значит, с тобой лететь. Не промажешь? К фрицам не угожу? Я молча освободился из его объятий и повернулся к командиру полка:

— Когда прикажете вылетать, товарищ гвардии подполковник?

— По готовности.

— Разрешите выполнять, товарищ подполковник?

— Все понятно?

— Да.

— Лети. Только осторожней! Ну, ни пуха тебе, ни пера. Командир полка пожал нам руки и исчез в густой темноте ночи, оставив нас с капитаном.

— Когда-либо с парашютом прыгали, капитан?

— Спрашиваешь!

— Высота будет не больше двухсот метров, а то и ниже. Учтите, капитан, на такой высоте бабочек ловить некогда.

— М-м-да, высотенка маловата… Но, наверное, справлюсь.

— Посмотрим. Залезайте в кабину. Так, хорошо. Теперь пристегнем фалу автомата.

— Да я сам! Не новичок, справлюсь!

— Спокойно, капитан. Мне за вас отвечать. А с фалой… Слыхали, что говорил командир полка? Осторожность. Вот так. С фалой парашют откроется через пять секунд падения, независимо от вашего умения.

— Но…

— Будете выполнять мои команды, капитан! Готовы?

— Готов.

— От винта!

Вот и весь разговор, все наше знакомство. Мне недосуг расспрашивать капитана, кто он и что будет делать среди повстанцев в пылающем городе. Недосуг, да и ни к чему. Я еще не знаю, попадет ли он к ним. А вдруг ветер отнесет парашют к немцам?.. При этой мысли меня охватывает страх. Время от времени поглядываю за борт: скоро будет площадь.

Багровое зарево зловещими отблесками плавит гладь Вислы. Черные клубы едкого дыма, кажется, полностью вытеснили воздух. Удушливый смрад затрудняет дыхание, ухудшает видимость. Попробуй отыскать среди этих пылающих коробок небольшую площадь. Напрягаю зрение и в сером месиве дыма угадываю темное пятно. Не это ли площадь? Она! Вот уже и стрела, составленная из зеленых огней, отчетливо просматривается сквозь пелену дыма. Мы над целью!

— Приготовьтесь, капитан! Захожу на сброс!

Капитан вылезает из кабины на крыло, прижимается всем телом к фюзеляжу. Его руки накрепко впаяны в борт, лицо где-то возле моего плеча.

— Скоро?

— Держись, захожу…

От едкого дыма в глазах появляется резь и выступают слезы. Эта чертова зеленая стрела тут же исчезает в дыму. Придется опять ее искать.

— Залезай в кабину, — говорю капитану. — Буду заходить снова.

— Н-нет, я постою. Только не промажь…

— Дурень!..

Увожу самолет дальше от пожарищ, от этого проклятого дыма. Снова под нами Висла. В памяти отчетливо проявляется план Варшавы. Вот от этого моста начинается Маршалковская. По ней можно выйти к площади Велькицкого. Только бы не потерять улицу! Спускаюсь ниже. Высота двести метров, сто пятьдесят, сто.

Еще ниже! Иду почти над крышами домов и слева под крылом вижу Маршалковскую.

— Без команды не прыгать! Высота пятьдесят метров. Не успеешь.

— Понятно. Только бы найти…

— Не каркай, найдем!

И опять под крылом самолета коробки домов, трещины-улицы и переулки. Один… Второй… Четвертый… Пятый… Еще два переулка, и должна быть площадь. Она! Я четко различаю зеленую стрелу.

Но дым опять заволакивает площадь, и зеленая стрела расплывается. Прохожу немного вперед, разворачиваюсь и опять веду самолет над Маршалковской. Вот она, площадь!.. Набираю высоту. На отметке сто пятьдесят метров сбавляю обороты и бросаю взгляд вниз. Площадь и стрела почти под нами…

— Пошел!

Капитан на мгновение прижимается щекой к моему шлему, и я успеваю увидеть его темные глаза, распахнутые настежь, и в них огненные отблески пожарищ.

— Будь здоров, летчик!..

Я не успеваю ответить. Крыло прошивает длинная очередь трассирующих пуль, в том самом месте, где стоял капитан. Неужели?.. Круто разворачиваю самолет навстречу несущимся со всех сторон желтым светлякам и отыскиваю парашют. Он похож на большую розовую медузу в прибое дыма. Фрицы уже не стреляют по самолету — все пунктиры огненных трасс тянутся к бледно-розовому в отсветах пожарищ и почти неподвижному парашюту. Черт возьми, почему не делают парашюты из черной ткани? Желтые цепочки трассирующих прошивают купол, парашют опускается ниже и растворяется в темноте над площадью. И сейчас же огненные трассы вновь устремляются к моему самолету. Разворачиваюсь на восток и ложусь курсом на свой аэродром. Весь обратный путь и все следующие сутки передо мной широко раскрытые глаза капитана и бело-розовый купол парашюта, прошитый желтыми светляками пуль… Все ли я сделал правильно? Не по моей ли вине погиб капитан? В том, что он погиб, я не сомневаюсь: я видел своими глазами, как гасли под куполом вражеские пули…

И вдруг сообщение, что капитан вышел на связь! А следом другое — заговорила его пушка. Значит, жив «мой» капитан! Значит, сражается! А я даже не знаю его имени. Помню только его глаза и отраженное в них пламя Варшавы..

* * *

…Линия фронта начиналась за городом, который когда-то назывался Яблунново-Легионово. Теперь от города остались только развалины, среди которых чудом сохранился один каменный дом да полуразрушенная водонапорная башня. В этом единственном уцелевшем доме ютились опять же чудом уцелевшие семьи — не более десяти. Кто знает, почему их не трогали немцы, хотя солдаты дивизии СС «Герман Геринг» были размещены в землянках и блиндажах. Может, гестаповцам было удобней наблюдать за горожанами, когда все они оказались в одном доме, а может, была иная причина, не знаю.

Однажды ночью тревожный сон обитателей дома был нарушен появлением эсэсовцев.

— Где русский летчик? — спросил офицер.

— Откуда здесь русский? — ответил за всех пан Юзеф, сорокалетний муж хозяйки дома пани Ельжабеты, которого пани выдавала за своего дальнего родственника, так как у него были какие-то нелады с гестапо. — Здесь все свои, господин офицер.

— Молчать!

Начался обыск, но немцы так ничего и не нашли. Да и что, собственно, они могли найти?

Перед уходом эсэсовский офицер раздраженно выкрикнул:

— Если мы обнаружим летчика где-нибудь поблизости, расстреляем всех! Понятно?

— Понятно, — опять за всех ответил пан Юзеф.

Расстрел! За что только не угрожали им немцы? Укроешь партизана — расстрел. Послушаешь радио — расстрел. Не явишься на регистрацию — опять расстрел. Вот и теперь то же самое…

Выходить из подвала запрещено, даже днем, а выходить надо. Хотя бы для того, чтобы собрать на огородах немного картошки, свеклы и репы, ведь люди хотят жить. Но для этого надо пробраться ночью на огороды… Осторожно, чтобы не заметили немцы, а иначе — расстрел…

В эту ночь на огороды пошла пани Ельжабета. Осторожно выбравшись из подвала, она долго прислушивалась, а потом, когда глаза ее привыкли к темноте, осмотрелась. Ничего, кроме темных силуэтов развалин и тихого шелеста дождя. В такую ночь гестаповцы предпочитают спать. Пани Ельжабета взяла ведра, шагнула в темноту и пошла по знакомой тропинке к огородам.

— Пани! — неожиданно услышала она рядом. — Стойте, пани…

— Кто здесь? — так же тихо спросила пани Ельжабета.

— Не бойтесь. Я русский летчик. Помогите мне…

Пани Ельжабета оторопела: что же теперь делать? В доме

спрятать русского нельзя, там столько людей. Нет-нет, каждому из них можно верить, как себе. Но если узнает гестапо, расстреляют всех. Даже детей не пощадят. Как же спасти русского? «Я должна посоветоваться с Юзефом», — решила пани Ельжабета.

— Ждите меня здесь, — тихо сказала она.

Темнота поглотила фигуру женщины, а летчик прижался к мокрым холодным камням и достал пистолет. Он знал, что отсюда ему не уйти. Просто не было сил.

Восстание в Варшаве задыхалось. Повстанцы еще держались в «северном» районе, но и он уже из конца в конец простреливался артиллерией. И все же несколько наших самолетов ушли на сброс продуктов и боеприпасов для восставших. Остальные экипажи бомбовым ударом и огнем бортового оружия подавляли артиллерию противника.

Два снаряда, один за другим, с секундным интервалом ударили в самолет Богомолова. Первый угодил в мотор, второй разорвался в кабине летчика… Еще надеясь на чудо, Владимир Мехонцев дотронулся рукой до поникшего тела командира и крикнул:

— Прыгай!

В ту же минуту пламя ворвалось в штурманскую кабину, и какая-то непостижимая сила вытолкнула Владимира из горящего самолета. Падая вместе с пылающими обломками, Владимир хотел было затянуть падение, чтобы избежать возможного удара одного из обломков машины, но его рука уже нащупала вытяжное кольцо парашюта. И вовремя. Почти в одно время с плавным рывком натянувшихся лямок Мехонцев ощутил страшный удар о землю.

Сколько он пролежал, только богу известно. Очнулся Владимир от боли и холода. Сел, ощупал себя — вроде цел. Только болит нога, да слиплись от крови брюки. Остатками комбинезона Владимир замотал ноги, поднялся и шагнул. Было больно, но он сделал новый шаг и пошел в сторону, откуда слышны были выстрелы и где начинало сереть небо.

Рассвет застал Мехонцева среди развалин небольшого городка. Забившись в щель между камнями, он пролежал там весь день. И все это время он слышал немецкую речь и пение. Слышал тяжелые шаги вражеских солдат. Дождавшись ночи, он попробовал переползти через воображаемую линию фронта, но это ему не удалось. Не смог он этого сделать ни в следующую ночь, ни неделю спустя. Повсюду, куда бы ни направился Владимир, были немцы. Однажды он подполз настолько близко к их блиндажам, что смог видеть вспышки выстрелов на другой,

нашей стороне. Его заметили.

— Хальт!

Владимир, не раздумывая, поднял пистолет, и одинокий выстрел оборвал автоматную очередь. Он долго прислушивался и, лишь убедившись, что на эти выстрелы никто не обратил внимания, пополз назад, к уцелевшему дому, за которым он давно наблюдал и в котором жили, судя по всему, поляки.

Услышав в темноте осторожные шаги и шепот: «Где вы, пан летчик?», — Владимир спрятал пистолет. Женщина была одна.

— Пани, — тихо позвал он.

— Зовите меня Ельжабета, — ответила женщина. — Мы посоветовались и решили, что вам лучше всего спрятаться в водонапорной башне. Говорят, она заминирована, поэтому немцы там не появятся. Идемте, я провожу вас.

Она помогла ему встать и, поддерживая под руку, повела куда-то в темноту.

— Я собрала для вас немного еды, — прошептала пани Ельжабета. — Это все, что у нас есть.

Она протянула ему несколько вареных картофелин.

— Потом я буду оставлять еду вот здесь. Только не спускайтесь днем, вас могут заметить…

В эту ночь Владимир впервые за последнее время заснул чутким тревожным сном. Он не знал, что население этого небольшого дома начало скрытую борьбу за его жизнь, но в одном он был уверен: эти люди его не выдадут. На следующую ночь, спустившись вниз, Мехонцев нашел в условленном месте бутылку воды и две картофелины. Потом обитатели дома поделились с ним хлебом.

Знали бы они, какие слова благодарности хотел им сказать русский летчик!

Однажды ночью Владимир услышал сильную стрельбу. Били наши орудия, и снаряды рвались рядом с башней. Владимиру хотелось кричать от радости, хотелось бежать навстречу этим выстрелам, но утром он увидел немецких солдат, которые устанавливали орудие прямо перед входом в башню.

Три дня не прекращала обстрел наша артиллерия, и все это время вела ответный огонь стоявшая возле башни пушка. Владимир уже не мог спуститься вниз, он изнывал от голода и жажды. На четвертый день, увидев внизу фигурки солдат в серых знакомых шинелях, Владимир буквально скатился по лестнице.

— Братцы! Свои…

Он так и не успел поблагодарить незнакомую женщину.

Однажды в Советское посольство в Варшаве почти одновременно пришло два письма. Одно было из Легионова, от

супругов Стояновских. Они просили помочь отыскать летчика, спасенного ими во время войны. Единственное, что им было известно о нем, это его имя — Володя… Второе письмо пришло из Свердловска, от Владимира Михайловича Мехонцева. Он писал: «Польская женщина-патриотка спасла меня от смерти. Она стала для меня самым близким человеком, и я по праву считаю ее своей второй матерью… Женщину звали пани Ельжабета…»

Так простые люди Польши нашли общий язык с нашими солдатами, с советскими людьми, вопреки всем происка эмигрантского правительства и желаниям реакционеров, как польских, так и американских и английских.

Остается добавить, что пани Ельжабета и пан Юзеф Стояновские живут под Варшавой, что пан Юзеф все еще бодрый и энергичный человек. Оба они, а также и их сын Збигнев всегда рады встрече с русским другом, с которым так неожиданно свела их судьба в годы войны. И дружба эта вечна!

Белый флаг над крепостью

Из всех фронтовых реликвий, что я храню, наибольшую ценность для меня представляет «личная летная книжка», в которой записаны все полеты в последние месяцы войны. Случилось так, что моя «летная книжка» закончилась и пришлось завести новую. Стандартных книжек в штабе не оказалось, и тогда Алексей Теплинский, адъютант нашей эскадрильи, добыл конторскую книгу, в которой какой-то лавочник записывал приходы и расходы, обрезал ее, пронумеровал страницы, прошил шнурком, склеил концы этого шнурка на последней странице бумажкой и «узаконил» мою новую «летную книжку» печатью.

После войны, когда я поступил на работу в полярную авиацию, на меня завели новую стандартную «летную книжку», а ту, прежнюю, отдали мне на память. Время от времени я достаю ее из книжного шкафа, листаю пожелтевшие страницы, где скупые лаконичные записи увековечили сделанное уже давным-давно — в прошлом веке… «22.1.45 г. Четыре полета. Транспортировка техсостава».

Что может сказать эта запись неосведомленному человеку? Ничего! А мне — многое. Это значит, что авиация опять не успевала за наступающей пехотой и нашему полку было приказано перебазировать какую-то истребительную или штурмовую часть ближе к линии фронта…

А что кроется за следующей записью? «Бомбардировка участка железной дороги Варшава — Моры. Три полета».

Три полета… Было это после того, как старший лейтенант Федор Маслов, который все-таки летал с протезом вместо левой ноги, обнаружил на станции Моры три эшелона. Командир тут же поднял в воздух полк, и самолеты, прорвавшись сквозь заградительный огонь зениток, атаковали эшелоны и уничтожили их.

Да, очень уж скупые записи в «летных книжках» летчиков. Никакой поэзии, никаких эмоций!..

Переворачиваю следующую страницу. Еще одна запись: «3.2.45 г. Три полета. Транспортировка горючего».

Обыкновенные полеты с подвесными люльками Гроховского, в которых горючее для ушедших далеко вперед танков, и ящиками снарядов, уложенными в штурманской кабине… Три транспортных полета (обратите внимание на тот факт, что они не относились к разряду боевых)… Это тогда врезался в тросы заградительных аэростатов самолет младшего лейтенанта Малина. Вспыхнуло ярким пламенем и пролилось на землю

недоставленное танкистам горючее, взорвались на земле снаряды, как прощальный салют над прахом наших друзей…

И еще запись в одну строчку: «8.2.45 г. Два полета. Бомбардировка гор. Шнайдемюль». Помнится, тогда впервые под нашими крыльями проплыла земля, откуда пришли к нам орды фашизма. Земля Германии. Так вот он, день возмездия! «Так вот она, расплата!» — думали мы, нацеливая темные тела фугасок на вражеский город.

Как далек этот полет от первого вылета с подмосковного аэродрома в 1941 году!

* * *

Наш полк неожиданно для нас оказался в глубоком тылу. Наступающие войска обошли город и крепость Познань и продвинулись далеко вперед, а уничтожение гарнизона в крепости командование поручило нескольким стрелковым и авиационным частям. Отклонив предложение о капитуляции, засевшие в крепости немцы плотным огнем прижимают к земле пехоту.

Даже танки бессильны перед крепостными стенами! А командующий непрерывно требует взять крепость, уничтожить отказавшегося сложить оружие врага.

На штурм крепости брошены «Петляковы», «Туполевы», «бостоны» и несокрушимые «Ильюшины». Эти не отворачивают от встречного огня и вспахивают своими бомбами пыльное поле войны. Но крепостные равелины по-прежнему извергают убийственный прицельный огонь, нанося нам большие потери. И опять над ними проносятся на большой скорости бомбардировщики и штурмовики. Бомбы падают на крепость, на город, а иногда и на расположение наших войск: все слишком близко, противник и мы почти касаемся друг друга локтями…

Тогда командующий армией вспоминает о нас, тихоходах, о нашей ювелирной точности при бомбежках малых целей. Нам приказано методически бомбить укрепления противника, разрушая бастион за бастионом, равелин за равелином… Бомбы у нас невелики — «сотки», но положенные в одно место, они могут разрушить и крепостное укрепление.

…Первую эскадрилью ведет командир полка, командир эскадрильи капитан Казанцев идет замыкающим. Вторую девятку самолетов ведет Мартынов. Третья девятка наша. Справа от меня идет звено лейтенанта Казюры, слева — звено лейтенанта Тесленко. Плотные клинья звеньев идут крыло к крылу. Первые

эскадрильи немцы встречают расстроенным зенитным огнем. Огонь неплотен и не нарушает строй бомбящих самолетов.

— Ребята пошли в атаку, — замечает штурман эскадрильи Илья Богачев. — Пора бы и нам перестраиваться на боевой.

— Рано, Илья. Давай зайдем с тыла. Кажется мне, что фрицы к нашему подходу очухаются. Как бы не подбросили огоньку.

— Что же, разумно. Зайдем на цель с тыла.

Мы минуем крепость, но через десять километров разворачиваемся и ложимся на обратный курс.

На нос самолета наплывают красно-кирпичные коробки городских домов, крепостные стены, дымные шапки разрывов. Тянутся в небо желтые цепочки «эрликонов», вспыхивают причудливыми цветами дымные шары разрывов зенитных снарядов.

— Пора, командир, — произносит Илья.

Еще на земле мы договорились о порядке подхода к цели и бомбометании, о действиях каждого летчика в той или иной возможной ситуации. Если не будет каких-то непредвиденных осложнений, все самолеты должны сбросить бомбы в ту же точку, по которой нанесет удар ведущий. Такую точечную атаку можно выполнить только с пикирования, что весьма опасно для наших самолетов и поэтому категорически запрещено.

Со Ждановским этим способом, еще под Сталинградом, мы пользовались не раз, но об этом никому не докладывали. Теперь же, на предполетной подготовке, мне пришлось поделиться прошлым опытом, который мы скрывали до этого времени, предложив летчикам право выбора — либо пикирование, либо обычная бомбардировка с горизонтального полета. Как говорится, предложение было принято единогласно: опасно — но надо! Мне осталось уточнить подробности.

— Взлетать звеньями, построение на кругу над аэродромом! Строй — клин. Внимательно следить за сигналами! По самолетам, друзья!

Выруливаем по зеленой ракете со старта. Взлет, построение, набор высоты 1000 метров над аэродромом, на этой высоте мы должны подойти к Познани.

Легко покачиваю самолет с крыла на крыло — сигнал «внимание». По этому сигналу звенья подтягиваются вперед и как бы сплачиваются между собой. Теперь они так близко, что стоит мне слегка повернуть голову, и я вижу лица командиров звеньев. Казюра, как обычно, спокоен и сосредоточен, он всегда в одном состоянии на земле и в воздухе. Тесленко улыбается и поднимает руку над бортом кабины. Спокойный и неразговорчивый на земле, в воздухе он как бы освещается каким-то внутренним пламенем

азарта. Но это не безрассудство, не показная храбрость. В минуты опасности Тесленко становится таким же спокойным и рассудительным, как и Казюра.

Даю сигнал к перестроению. Звено Тесленко выходит чуть вперед и вниз. Едва заметный отворот вправо, и вот уже три его самолета выходят правее звена Казюры. Строй — правый пеленг звеньев. Цель медленно наплывает на нос. Делаю еще два правых крена. Это сигнал к перестроению самолетов внутри звеньев. Теперь уже девятка идет развернутым строем с уступом назад от ведущего. Перестроение внутри звеньев одновременно является сигналом «готовься к атаке!».

Чуть задираю нос самолета, резко даю левую ногу и штурвал от себя, самолет переворачивается на крыло и, перейдя в пикирование, стремительно несется к земле. Нос его нацелен на красный треугольник кирпичного равелина крепости. Откуда-то издалека тявкает одинокая пушка, за хвостом проходит пучок трассирующих пуль. Быстро падает высота, но смотреть за приборами некогда — равелин увеличивается в размерах, приближается к носу самолета.

— Семьсот метров! — кричит штурман. — Пятьсот!

— Давай!

Еще несколько секунд пикирования. На высоте двести метров отворачиваю влево. Теперь можно оглянуться вокруг. Одни самолеты уже отбомбились и пристраиваются, остальные еще в пикировании. А над крепостью клубится дым разрывов. Бомбы ложатся точно в цель!

— Истребители! — кричит Илья, прижимается к пулемету и посылает длинную очередь.

Маневрировать девяткой самолетов на малой высоте тяжело. Можно перестроиться в круг и защищаться своими пулеметами, но силы явно неравны. Резко бросаю самолет с крыла на крыло и делаю клевок носом к земле. На нашем языке это приказ всем разойтись в разные стороны и действовать самостоятельно.

Самолеты прижимаются к земле и расходятся в разные стороны. Немецкие истребители растеряны. То перед ними была группа самолетов, ясно видимая крупная цель, теперь же каждый летит в своем направлении. За каким самолетом гнаться, на ком сосредоточить удар? Для осмысливания и оценки ситуации нужно время, пусть считаные секунды, но и они помогают нам скрыться, уйти от преследования.

Четверка обескураженных неудачей «фоккеров» наваливается на один наш самолет. Я не могу определить его хвостовой номер, а стало быть, не знаю, кто из летчиков пытается вырваться из-под обстрела истребителей. Вот этот самолет как-то неестественно

кренится и скрывается за группой высоких деревьев. Стороной, прижимаясь к земле, направляюсь туда же, и через несколько секунд мне открывается поляна перед одиноким хутором, а на ней наш ПО-2.

«Фоккеры» цепочкой, друг за другом, заходят на самолет и посылают очередь за очередью.

Не раздумывая, сажусь по другую сторону хутора, быстро отруливаю под развесистые кроны деревьев и бегу вокруг дома. Теперь мне ясно, что это самолет Ивана Крикуна. Я вижу разбитый винт, искореженные крылья и свисающие с них лохмотья перкали. Вижу и экипаж самолета. Летчик Крикун повернулся к атакующим истребителям спиной, прикрываясь от их огня, как щитом, своим парашютом, а штурман Василий Морозов посылает пулю за пулей из «ТТ» в «фоккеры».

— Бегите, ребята! — кричу я.

Но за ревом моторов, разрывами снарядов, трескотней пулеметов и одиночными выстрелами морозовского «ТТ» они не слышат.

— Уходите от огня! Сюда! Ко мне!

И опять мои слова остаются без внимания. Тогда я выбегаю из-за дома и в несколько прыжков достигаю их самолета. Морозов оборачивает ко мне свое залитое кровью лицо и оторопело смотрит, как будто старается понять, откуда я взялся. Вырываю из его рук пистолет:

— Ошалел, Вася? Что ты им сделаешь? Бегите за мной!

Они еще медлят, они все еще не могут прийти в себя.

— Быстрей! Бегите за мной!..

Мы едва успеваем добежать до деревьев, как истребители вновь обрушивают град снарядов. На этот раз им удается поджечь самолет Крикуна. Они посылают в него еще несколько очередей и уходят в сторону Познани.

Морозов едва держится на ногах. Он ранен не только в лицо, вражеская пуля впилась еще и в поясницу. Но перевязывать его нет времени. Сначала мы с Ильей помогаем Морозову подняться на крыло и залезть в кабину штурмана, потом усаживаем туда Крикуна. Затем Илья становится на крыло и впивается пальцами обеих рук в борт моей кабины.

— Взлетаю, Илюша!

— Давай…

После этого случая мы уже не вылетали на дневные бомбежки без прикрытия истребителей. Истребители ходили «этажеркой» на разных высотах, бдительно оберегая нас от вражеских самолетов. Нам стало значительно легче и веселей: все-таки в воздухе рядом с нами были наши друзья! При этой мысли и огонь вражеских

зениток не казался нам таким страшным.

Уже неделю дислоцируемся на аэродроме Беднары близ Познани.

В недалеком прошлом этот аэродром, видимо, принадлежал авиационному заводу, где разрабатывались и изготовлялись новинки авиационной техники фашистского рейха. Вдоль длинных просек, в прилежащем лесу, рассредоточены образцы новых пикирующих бомбардировщиков с подвешенной под брюхом сорокапятимиллиметровой пушкой. Тут же Ме-210 — модификация скоростного бомбардировщика и истребителя-перехватчика Ме-110. По замыслам гитлеровцев, этот самолет должен был затмить «черную смерть», как называли фашисты наши грозные штурмовики ИЛ-2, и привести «люфтваффе» к полному господству в воздухе. Но не успело немецкое командование применить эту новинку: слишком быстрым оказалось продвижение советских войск. Теперь все эти самолеты стоят неподалеку от нашего аэродрома, вызывая у нас известное любопытство, ведь какова бы ни была наша ненависть к врагу и презрение ко всему, что связано с фашизмом, изучение нового оружия противника с целью уяснения его возможностей — дело нужное и достойное похвалы. Но у инженера эскадрильи Михаила Павлова любознательность наших техников и оружейников вызывает видимое беспокойство.

— Ты был в общежитии? — спрашивает инженер.

— Нет. А что?

— Да там же выставка трофейного оружия! Крупнокалиберные пулеметы, пушки, снаряды, патроны! Чего только не натащили! Не удивлюсь, если и такую вот дуру приволокут в дом и установят у кого-либо под койкой! — говорит Павлов, дотрагиваясь рукой до ствола пушки, торчащей из-под брюха «штукаса».[28]

— Ну, ты скажешь! — едва сдерживаю я смех. — А впрочем… Знаешь, Михаил, любознательность не порок. Пусть их.

— Нет-нет! Ты должен вмешаться. Смотри! Вон, пожалуйста…

Павлов показывает на торчащий из-за деревьев «штукас», под брюхом которого возится техник. Я вижу, как он берется руками за ствол пушки, подтягивается и заглядывает в ее жерло… И вдруг…

— Та-та-та! — рассыпается короткая очередь, и техник падает, разбросав в стороны руки…

Мы бежим к распростертому телу.

— Во-от! — тяжело вздыхает Павлов. — Я ж говорил! Доигрались! ЧП в эскадрилье!

«Тело» начинает шевелиться.

— Так и знал, — резюмирует Павлов. — Старшина Бабаев! Старшина поворачивает голову, замечает нас и на четвереньках старается улизнуть в лес.

— Бабаев, стойте! — приказываю я. — Что произошло?

— Ничего, товарищ командир, — невозмутимо отвечает Бабаев.

— И пушка не стреляла, и вы, товарищ старшина, не валялись на земле? И вообще, все это нам с Павловым только показалось? Не так ли?

— Конечно, показалось! — Черные маслины бабаевских глаз искрятся лукавством. — Иду домой. Какой-то сучок под ноги попал. Понимаешь, споткнулся. Упал…

— Ох, Жора! Чтобы ты впредь не спотыкался о сучки, посажу я тебя на пять суток! А кто в кабине?

— Никого, товарищ командир. Пушка сама стреляла…

— А может, там твой дружок Петя сидит?

— Зачем Петя? Пушка сама…

— Чудеса… Румянцев! Вылезайте из самолета!

Отодвигается в сторону защитный колпак, и появляется смущенная физиономия Румянцева. Он медленно выбирается на крыло и спрыгивает на землю.

— Здравствуйте, Петенька. Изучаете?

— Изучаем, товарищ командир.

— А если бы вы убили товарища?

— Исключено, товарищ командир! Железная договоренность. Проверяли на силу отдачи…

— Экспериментаторы!.. Катитесь оба! И чтоб духу вашего не было у самолетов… Стойте! Что у вас в карманах? Покажите.

Румянцев и Бабаев нехотя выворачивают карманы, и на землю сыплются патроны и снаряды от скорострельных пушек.

— Вы давно не дети, зачем все это?

— Технику врага надо знать, товарищ командир..

— Вот как? Идите!

Я смотрю вслед друзьям, удаляющимся вдоль просеки.

— Черт знает что творится в эскадрилье! — недовольно замечает Павлов.

— М-м-да. Наверно, придется как-то прекратить эту оружейную лихорадку.

— Точно! — поддерживает Михаил. — Идем в общежитие. Там еще не такое увидишь!

— Нет, Миша. Не пойду…

— Так они…

— Ну и пусть!

Кажется, я поступил верно, не послушавшись эскадрильного

инженера и не уничтожив созданный техниками «арсенал» трофейного оружия. В сложившейся ситуации наша маленькая двухэтажная «крепость» на опушке леса, примыкающего к аэродрому, оказалась весьма кстати. Дело в том, что накануне большая группа немцев, поддерживаемая самоходками, вырвалась из неплотного Познанского кольца и оказалась в лесу, рядом с нами. Выставленный наспех заслон огнем крупнокалиберных пулеметов и скорострельных пушек, снятых с трофейных самолетов, остановил группу на восточной опушке леса и вынудил немцев занять оборону.

Однако было ясно, что фашисты очухаются, разберутся, что к чему, и постараются смести наш малочисленный заслон, прикрывающий подступы к аэродрому. А тогда…

Подполковник Меняев доложил обстановку в штаб дивизии и попросил либо помощи, либо разрешения перебазировать полк на запасной аэродром.

Ответ генерала Рассказова был предельно лаконичным:

«Приказано держаться. На помощь пехотных частей не рассчитывай — мы в глубоком тылу. Весь мой резерв — батальон аэродромного обслуживания, офицеры штаба и политотдела. Бомбардировку крепости Познань не прекращать. В случае прорыва фрицев на аэродром укажи летчикам запасной. Обстановку докладывай ежечасно».

Собрав после этого всех летчиков, инженерно-технический состав и офицеров штаба полка на старте, подполковник Меняев отдал боевой приказ:

— Противник силами нескольких батальонов пытается сбить наш заслон, овладеть аэродромом и уничтожить самолетный парк полка. Командование приказало нам удержать аэродром во что бы то ни стало, ни на один час не прекращая бомбардировку осажденной крепости. Я решил для обслуживания самолетов оставить в эскадрильях одного инженера, трех техников и оружейников. Все остальные занимают оборону на подступах к аэродрому со стороны леса. Командование наземной обороной возлагаю на начальника воздушно-стрелковой службы майора Поветкина. Инженер-капитан Кильшток назначается к нему заместителем. Приказываю вам скрытно вывести людей к дому, где размещается третья эскадрилья, и расположить их в укрытиях — в самом доме и рядом. Людьми не рисковать и активных вылазок не производить. Только отбивать атаки немцев… Майору Поветкину выделить двух связных и докладывать мне обстановку каждый час. Мой КП на старте. Здесь же находится штаб полка. Вопросы есть?

— Все ясно, товарищ командир!

— Тогда действуйте, товарищ Поветкин!

— Есть!

Собрав свою группу, майор Поветкин торопливо уводит ее к одиноко стоящему на опушке леса дому, и, когда группа скрывается за кустарниками, командир обращается к нам:

— Товарищи летчики! Гвардейцы! Друзья мои. Помочь нам пока некому. Вот разгромим Познанскую группировку, тогда и пехота развяжет себе руки. А для этого необходимо усилить удары по крепости. К тому же и у нас самих появился передний край. И его нужно бомбить беспрерывно. Будем делать один вылет на передний край, второй — на крепость. У немцев создастся впечатление, что наша бомбовая атака предшествует атаке наземных частей… Будем давить гадов не только бомбами, будем воздействовать на их психику! Начнет первая эскадрилья. Бомбы класть очень осторожно. От леса до дома, где занимают оборону наши товарищи, всего двести метров… По самолетам, друзья!..

…Вторые сутки без перерыва снуют наши самолеты между аэродромом и лесом, между аэродромом и Познанской крепостью. Сбросив бомбы над лесом, заходим на посадку, берем новый боекомплект и опять взмываем в воздух — теперь на Познань. Своеобразный рекорд принадлежит капитану Мартынову со старшим лейтенантом Шамаевым: за сутки они сделали двадцать три вылета!

Сегодня к нам прибыло «пополнение»: корреспондент фронтовой газеты и оператор кинохроники. Их тоже захватил сумасшедший темп нашей бессонной жизни, и интервью у летчиков они берут в полном смысле на ходу, пока заправляются самолеты и подвешиваются бомбы.

— Как вы выдерживаете без отдыха, без сна? — не перестает удивляться корреспондент.

— Когда рядом фрицы — не до сна! — смеется Шамаев.

— Этого требует Родина! — с некоторым пафосом отвечает Мартынов.

Нелегко и нашим друзьям — солдатам из БАО. Шоферы едва успевают подвозить бомбы и горючее. На зарядку пулеметных лент поставлены даже машинистки и работники санчасти. Начальник боепитания БАО, веселый одессит капитан Левкович, сетует, улыбаясь:

— Вы только послушайте, товарищи корреспонденты! Обслуживали мы до этой «кукурузы» «пешки». Подвезешь им полтонны или, скажем, тонну бомб. Сделают они вылет, в крайнем случае, два, потом сутки отдыхают. Вот это авиация! А здесь что творится? Эти «кукурузники» берут вроде совсем мало

бомб — двести килограммов, но летают всего тридцать минут! Прилетит вот такой Леша Мартынов и кричит на весь аэродром: «Левкович! Опять задерживаешь! Давай бомбы!» А у меня что — конвейер? Или бомбы сами плывут на аэродром? Их привезти надо, выгрузить, подвесить… Э-эй, Миша! Перекурчик устроил? Ты же не в Сочах на курорте, Миша!..

Капитан оставляет корреспондента с оператором и бежит к машине, которая доставила на аэродром бомбы. Пока идет разгрузка, шофер прислонился плечом к кузову и жадно дымит цигаркой.

— Ай-ай! Нехорошо, Миша! — отчитывает его капитан. — Неужели фрицы будут ждать, пока Миша курит? Или ты думаешь, что попал на свадьбу к тете Соне? Так ты ошибаешься, Миша! Здесь война!

— Я на минутку, товарищ капитан. Очухаться малость.

— Ой, Миша! Минутка таки большое время! Давай, давай, Миша!

И капитан подставляет свою спину под круглое тело «сотки». Так они работают до тех пор, пока последняя бомба не покидает кузов машины. Потом капитан садится за руль:

— Теперь можешь перекурить, Миша.

— Товарищ капитан!

— Товарищ сержант! Приказываю полчаса отдыхать! Одну ездку, Миша.

Урчит мотор грузовика, капитан на ходу высовывает потное лицо из кабины:

— Отдыхай, Миша! Чтобы спать не хотелось, чтобы руки не дрожали на баранке! Ты же не помидоры возишь, Миша, — бомбы!..

Из штаба дивизии — командиру 45-го авиаполка:

> «Три часа не имею доклада об обстановке. Как фрицы? Видал работу твоих орлов над крепостью. Передай мою благодарность всем экипажам. Комдив 9».

От командира 45-го авиаполка — комдиву 9:

> «Прошу разрешения прекратить на час бомбардировку крепости. Вынужден бросить все силы на отбитие атаки немцев».

Из штаба дивизии — командиру 45-го авиаполка!

> «Разрешаю. При необходимости могу подбросить десяток экипажей других частей. Доложи обстановку.

Комдив 9».

От командира 45-го авиаполка — комдиву 9:

> «Докладываю обстановку. В течение двух часов отбивали атаку противника в направлении аэродрома. Использовал все имеющиеся средства: бомбардировку, огонь всех видов оружия. Противник прекратил активные действия и начал движение на север. Возобновил частью сил бомбардировку крепости Познань, другая часть направлена на подавление отходящего противника. По возможности прошу подключить к боевым действиям против колонны противника часть экипажей соседей. Требуется несколько часов для осмотра и ремонта самолетов и отдыха экипажей. Ребята вконец измотаны».

Из штаба дивизии — командиру 45-го авиаполка:

> «Полку отдыхать до 7.00. В 7.30 возобновить бомбардировку крепости. Колонну фрицев передаю заботам соседей. Пришли списки особо отличившихся в боях для поощрения. Комдив».

Ровно через 25 лет после этих событий, когда я уже работал в полярной авиации и жил в арктическом поселке Черский (ныне город), меня вызвали в местный военкомат, где вручили небольшой пакет, присланный на мое имя из Польши.

В пакете оказалась коробка с тяжелой бронзовой медалью, на одной стороне которой схематическое изображение именно этой крепости, на другой — фамилии, среди них и моя, а под списком слова: «Советским героям за освобождение Познани».

Я с удовольствием принял поздравления работников военкомата за этот подарок и добрые пожелания спокойных полетов в арктическом небе. А про себя подумал: «В любом небе не исключена опасность, тем более в небе Арктики. И все же — небо стоит верности!»

* * *

— По-одъем! — звонко кричит посыльный из штаба. — Выходи строиться! Построение возле штаба!..

Быстро натягиваем сапоги, разбираем оружие. Я поглядываю на часы: восемь утра. Почему нас не подняли раньше? Ведь был приказ командира дивизии продолжать бомбардировку крепости.

Или произошло что-то значительное. Что?

Выходим из помещения. Серое утро, тишина, нарушаемая только щебетом птиц. Не слышно привычного гула артиллерии в районе Познани. Что там произошло? Скорей бы построение, наверное, командир полка расскажет обстановку.

Но еще до построения узнаем, что ночью навстречу фашистской колонне, отступающей вдоль леса, был брошен с марша танковый корпус. Нацисты после короткого колебания приняли условия немедленной и безоговорочной капитуляции, переданные через парламентера командиром танкового корпуса, и начали сдавать оружие. К утру над крепостью Познань тоже взвился белый флаг, и остатки фашистского гарнизона выслали парламентера для переговоров о сдаче.

Вот поэтому-то и стихла канонада… Вот почему приказано нам собраться для построения к штабу полка.

— Становись! Равняйсь! Смирно!..

Перед строем полка стоят: командир полка подполковник Меняев, начальник штаба дивизии полковник Томшенков и рядом с ним незнакомый майор.

Томшенков зачитывает приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина о награждении полка орденом Красного Знамени, приказ командира дивизии о перебазировании нашего полка ближе к линии фронта, а заодно представляет нового командира полка майора Аброскина. И я его узнал!

Мне вспомнился июль 1944 года. Войска фронта готовились к наступлению, подтягивали резервы, а наша дивизия наносила бомбоштурмовые удары по войскам противника к северу и западу от Рогачева и Озаричей. Шесть экипажей нашего полка вели разведку дорог, наблюдая за направлением и интенсивностью передвижения вражеского транспорта.

Возвращаясь после разведки закрепленного за нами района, южнее Бобруйска мы увидели на железной дороге длинный эшелон. Атаковали его, и бомбовым ударом и огнем РСов эшелон был уничтожен!

Когда после посадки на своем аэродроме мы пришли со штурманом для доклада о выполнении задания, в землянке КП были гости — начальник штаба дивизии подполковник Томшенков и какой-то немолодой пехотный майор.

При моем появлении Томшенков вместе с майором встали из-за стола и направились к выходу, даже не ответив на мое приветствие. Я остановился и растерянно взглянул на командира полка.

— Подожди, — сказал он и тоже направился вслед за ними.

Вернулся он быстро:

— Извини, не дам тебе отдохнуть. Предстоит боевая задача — полетай с прибывшим майором!

— Как полетать? — удивился я. — Просто покатать над аэродромом или куда-то отвезти?

— И то, и другое! — рассмеялся командир. — Майор — родственник какого-то большого чина из штаба фронта. Томшенков сказал, что майор закончил аэроклуб, его надо потренировать и подготовить к простейшим полетам днем и ночью. Это приказ свыше. Вот и полетай с ним, посмотри — можно ли подготовить его к самостоятельным полетам? Ему уже приготовлена какая-то должность в авиации. Летаешь до обеда. Потом отдых до построения. Задача ясна?

— Яснее ясного! — ответил я. — Работаю инструктором аэроклуба имени 45-го Гвардейского! — не скрывая недовольства, ответил я.

— Не ворчи! Насколько мне известно, ты с удовольствием летаешь с пацанами из пополнения!

— Простите, товарищ командир! Это разные вещи. Пополнение — это выпускники военного училища, и моя задача пацанов, как вы изволили назвать молодых офицеров, научить воевать! А летать они уже умеют. И прибыли, кстати, на своих новеньких самолетах, своим экипажем!

— Ну, ладно, инструктор аэроклуба! — засмеялся командир. — На аэродроме, у твоей «семерки» скучает майор. Иди, готовь новое пополнение. Жду результаты!

Не знаю, каких результатов ждал командир, но через нескольких взлетов и посадок я понял, что из майора настоящего летчика никогда не получится. А к вечеру из штаба дивизии пришло сообщение — майору разрешено сделать боевой вылет!

Мне пришлось слетать с ним на передний край и отбомбиться по огневым точкам противника!..

Теперь этот майор, уже в авиационной форме, будет командовать нашим полком?!. Как? Но в армии приказы не обсуждают. Их выполняют!.

Отбой войне

Уже давно смена времен года проходит для нас незаметно, хотя нигде не бывает человек так близок к природе, как на войне. Война прочно вошла в наш быт, в нашу повседневную жизнь, только по ее пульсу определяем время года: о весне нам напоминает наступление, приходит безысходная скука ожидания, заполненная учебой и тренировочными полетами, мы уже знаем, что в свои права вступила осень. А все тончайшие перемены в природе, которые и определяют начало того или иного времени года, остаются незамеченными.

Но сегодня я вдруг посмотрел на небо не для того, чтобы узнать, летная или нелетная погода, а просто так, бездумно, и меня удивила чистая голубизна, разлитая по всему небосводу. Лишь местами виднелись легкие кудрявые облака. Такие облака бывают у нас в мае, после первой весенней грозы, и предвещают они переход от капризной весны к длительному теплу лета.

Пораженный увиденным, я остановился и взял Николая за руку:

— Как ты думаешь, Никола, сейчас весна или лето?

Николай удивленно поднял тонкие брови и выразительно пошевелил пальцами у козырька фуражки:

— Готов или симульнуть хочешь? Тогда прошу учесть, что симулянтов судят. А актер из тебя неважный.

— А все-таки посмотри на небо. Какое оно голубое, теплое…

Николай удивленно пожал плечами и задрал голову вверх:

— Небо как небо. Кучевка до пяти баллов. А теплое? Вчера оно, брат, было даже горячим — трех экипажей недосчитались. Стоп, старина! Уж не труса ли ты празднуешь? Почуял конец войны и вдруг задумался о значимости собственной персоны? Так?

— Гений! Мамина радость! Я еще не представляю, какой он, конец войны. И вообще, будет ли когда конец этой проклятой войне.

— Что-то я тебя сегодня не узнаю. Откуда в тебе эдакая… меланхолия, что ли?

— Нет, Коля, это не меланхолия. Мы настолько огрубели на этой войне, что отучились понимать простые вещи, не замечаем прекрасного…

— Не замечаем прекрасного? — перебил меня Николай. — А то, что мы здесь, разве не прекрасно? Вот мы идем с тобой по этой освобожденной земле, дышим воздухом близкой победы! Сколько мы сюда шли? Всю жизнь! А вспомни сорок первый год

под Москвой, боль неудач, горечь отступления. А теперь — вот она! Видимая, осязаемая! Под моими и твоими ногами! Еще одно усилие — и будем в Берлине!

— А потом?

— А потом — вперед! До встречи с союзниками, до полной победы!

— Ну а потом?

— Что — потом?

— Ну, разобьем фрицев, встретимся с союзниками, окончится война. Что мы станем делать после войны?

— А-а! Ну тебя к черту! Дай закончить войну, а потом уж будем думать! Впереди ночь и полеты на этот чертов Альтдамм! Вот и думай, как поразить цель, как обойти зенитки. Об остальном думать рано.

— Вот как? Не думал, что твоя голова — только приспособление для ношения фуражки…

— Зато у тебя забита дурью! И вообще, что ты привязался ко мне? Чего ты от меня хочешь?

— Чтобы ты на минутку забыл о войне, перестал быть солдатом и оглянулся вокруг! Чтобы посмотрел на это небо, на эту зелень деревьев, на эти первые цветы!.. Пойми, Коля, нам придется заново учиться видеть и понимать то, что родит земля.

— Земля и гадов родит. И фашистов тоже.

— Ты прав. Но я не об этом. Все познается в сравнении. Если бы мы не видели зверств фашистов, то не имели бы представления о фашизме. Не испытай мы всех тягот войны, не могли бы ценить каждый день мира. И не путай ты божий дар с яичницей! Я говорю о прелести природы, о человеческих чувствах. Огрубели мы, брат, одичали. Ты вот знаешь, какой завтра день?

Николай лишь молча пожал плечами.

— То-то! Завтра — Восьмое марта! В этот день нам, мужчинам, положено проявлять особое внимание к женщинам. Давай нарвем подснежников да поднесем их девчатам из штаба.

— Кому-то конкретно, или?..

— Нет, Коля, ты неисправим. Всем сразу.

— Тогда… Что ж, поддерживаю великую идею. Только после полета. Утром. А не то завянут наши цветочки.

Но цветы не завяли. Они просто не были сорваны. Опять бешеные вихри войны закружили нас на своих крыльях…

На всем участке фронта уже стоит относительное затишье, только в районе Штадтгарта не затухают ожесточенные бои, и полк получает задачу — бомбовыми ударами поддержать там наши войска.

— Экипажи Ляшенко, Мартынова и Михаленко остаются, остальные по самолетам! — заключает командир полка. — Вылет по готовности. Разойдись!..

Ломается четкий строй летчиков, все расходятся по своим самолетам, на старте остаются три экипажа.

— Прошу на КП, — приглашает нас командир и первым направляется в сторону землянки.

По старой традиции КП полка и здесь, под Ландсбергом, находится в землянке. Мы спускаемся вниз, в сырую духоту, тускло освещенную автомобильными лампочками.

— Товарищи, вам предстоит особое задание, — обращается к нам командир полка. — Майор Гуторов, покажите цель.

Штурман полка разворачивает на столе карту. Судя по всему, красная линия, пересекающая карту в северо-западном направлении почти до самого моря, и есть маршрут нашего полета.

— Ого! Вот так полётик! — не сдерживается Николай. — А горючего хватит?

— Хватит, — вступает в разговор командир. — Пойдете с дополнительными баками. Я уже дал команду готовить их.

— Прошу смотреть сюда, — продолжает штурман. — Вот Штеттин, южнее его — Ротемюль. На запад от Ротемюля большой лесной массив. Где-то там имеется прямоугольная вырубка, поляна, что ли, которая тянется с севера на юг. На карте она не обозначена, в действительности существует. Вам предстоит отыскать эту вырубку и сбросить группу с особым заданием. Сигналов не будет. Сброс тайный, поэтому подойти надо без шума, желательно на небольшой высоте.

— Старшим группы назначаю капитана Мартынова, — прерывает штурмана командир.

Еще и еще раз изучаем маршрут полета, вычерчиваем на память характерные ориентиры. В этот полет мы пойдем без штурманов, его не будет даже на самолете ведущего, капитана Мартынова, так что исход полета всецело зависит от нашего умения ориентироваться. Все мы будем предоставлены самим себе. В эту ночь к нам никто не сможет прийти на помощь, если даже и возникнет в ней надобность. Перед нами ночь, заполненная неизвестностью. Неизвестность — это всегда опасность, но мы не представляем достаточно ясно, в чем она заключается, что может ожидать нас в полете. Удастся ли нам миновать зенитки, обозначенные на карте? А вдруг мы выйдем на те, о которых еще не знает наша разведка? Впрочем, что гадать, мы можем просто врезаться в стальные тросы заградительных аэростатов!.. Опасность… Даже в обычном дневном полете в

мирное время летчика подстерегает неожиданность. Сколько таких неожиданностей таит в себе ночное небо над вражеской землей? Нет, об опасности думать сейчас не стоит. На войне она повсюду — и на земле и в воздухе. Надо думать о полете, о том, как лучше выполнить задание.

Оборачиваемся на стук сапог и приглушенные голоса — это командир полка с начальником разведотдела дивизии майором Желиховским и с нашими «пассажирами».

Со мной летит немец средних лет, бывший летчик, обер-лейтенант Курт, как он представляется, хотя на нем форма армейского гауптмана.[29] Этот рослый детина с головы до ног обвешан оружием: на шее «шмайсер»,[30] на широком поясе «парабеллум», кинжал с черной пластмассовой ручкой, на которой выгравирована серебряная свастика, и две гранаты. Он протягивает широченную ладонь и крепко сжимает мою руку:

— Флигер?[31]

Я молча киваю головой.

— Камрад, товарич. Ми будем флиген убер майн ланд… Мой страна. — В глазах немца мелькает какое-то неопределенное выражение. — Ми будем… Гитлер капут! Понимаешь?

Как не понять. Это и ежику понятно. Теперь эти слова на языке каждого немца. Но почему от обер-лейтенанта разит вином? Это меня здорово беспокоит: кто знает, что у него на уме!..

Мы подходим к самолету. Помогаю немцу подняться на крыло и устроиться в кабине. При его громадном росте, парашюте и объемистом рюкзаке это не так просто. Наконец он устраивается.

— Гут. Каюте эрстер классе.[32]

Теперь и я надеваю на себя парашют и залезаю в кабину.

Высота двести метров. Ночь светла настолько, что отчетливо видны все ориентиры, видны и наши самолеты. Идем разомкнутым строем в пределах видимости. Так легче пилотировать и вести ориентировку. Некоторое время я сверяюсь с картой, потом перестаю заглядывать в планшет, полагаюсь на зрительную память и стараюсь не терять из виду самолет Мартынова.

Что бы ни случилось с двумя другими самолетами, я должен пробиться к цели и произвести сброс. Точно так же, уверен я, думают сейчас Мартынов и Ляшенко. Вероятно, наши «пассажиры» имеют одинаковое задание и дублируют друг друга, сами того не подозревая.

Обер-лейтенант тяжело ворочается в своей кабине, часто перевешивается за борт, стараясь что-то разглядеть. Может быть,

узнает родные места? Интересно, откуда он. Германия ведь тоже велика. А кто был тот седой человек, что провожал обер-лейтенанта? Какая теплота была в немногих словах:

— Глюклихе райзе, Курт![33] — сказал седой.

— Данке. Данке шён![34] — ответил обер-лейтенант.

А может, я напрасно усомнился в обер-лейтенанте, зря посеял беспокойство в душе?

Немец. Почему это слово вызывает во мне бурю неприязненных чувств? Ведь сидящий позади меня немец не принадлежит к моим врагам, он солдат моей Родины и сражается против фашизма! Причем сражается тайно, в одиночку, не ощущая рядом локоть товарища, а это во сто крат сложнее и труднее. Так смею ли я давать волю своей неприязни?

Вот так всегда: стоит только чуть ослабить внимание, как тут же тебя подстерегает неожиданность. Нет, воздух не для эмоций — эмоции следует оставлять на земле! Неожиданно прямо подо мной обозначается старт — чередование желтых и зеленых огней. Аэродром! Успеваю заметить, как Мартынов и Ляшенко отваливают вправо. Я с маневром опоздал, мой самолет висит над самым центром взлетно-посадочной полосы. Сейчас фрицы опомнятся, включатся все противозенитные средства, и тогда мне не выбраться из огня… Что же делать? Что придумать? Как быть?!

Прибираю газ, включаю бортовые огни и разворачиваюсь вдоль горящего старта, как будто захожу на посадку: пусть немцы примут меня за своего. Лишь бы только не открывали огонь!

Строю «коробочку». Стартовые огни по-прежнему не выключаются. Наверно, на светлом небе с земли отчетливо виден силуэт моего самолета. Ну и пусть! Буду имитировать заход на посадку, а затем попытаюсь уйти на бреющем. Лишь бы только не догадались! Лишь бы не распознали мой «тихоход»!

Высота двести метров. Выполняю третий разворот. Нажимаю на кнопку АНО и часто-часто мигаю огнями, чтобы создать впечатление «своего», заходящего без волнения на посадку.

Четвертый разворот. Перевожу самолет на снижение. В стороне от старта включается посадочный прожектор. Ага, фрицы клюнули, приняли меня за своего, уверены, что я захожу на посадку. Высота сто метров. Прибавляю обороты двигателю и разгоняю самолет со снижением. Решение уже пришло само по себе: пройду над стартом на малой высоте и, будто не рассчитав, уйду на второй круг, а там — в сторону, и поминай как звали! Пока опомнятся, пока сообразят…

Мысли и действия занимают считаные секунды. Только теперь завозился в своей кабине Курт:

— Вас ист лос? — спрашивает он. — Дас ланден?

Бросаю взгляд назад и замечаю в его руке пистолет. Вот тебе и на! Мне совсем неохота получить пулю в затылок! Вновь оборачиваюсь и показываю ему кулак:

— Зитц! — кричу во все горло. — Их махен старт![35]

Бегут под крылом посадочные огни, уходит назад освещенная прожектором бетонка. А впереди темнота. Отворачиваю вправо, на прежний курс. Высота пятьдесят метров. Только бы не врезаться в какую-либо трубу!.. А позади хохочет Курт:

— Гут! Кароший товарич!.. Гут дас шауспииль![36]

— Иди ты к…

— О, я, я! Понимаешь!

Курт смеется так, что вздрагивает самолет.

Наконец мы над целью. Я отчетливо вижу светлый прямоугольник поляны и оборачиваюсь к Курту.

— Пора! Вылезай на крыло! — И для убедительности показываю вниз рукой.

Курт выбирается из кабины на крыло самолета. Прямоугольник поляны наплывает, становится все больше и больше.

— Пошел!

Но Курт стоит на крыле, свесив голову ко мне в кабину.

— Прыгай же! Шпринген зи!

— Бис бальд, товарич![37] — говорит он мне и соскальзывает вниз.

В сером небе тает белый гриб парашюта….

«До скорого свидания». Состоится ли оно? Увижу ли я тебя, Курт, в новой Германии, в Германии без фашизма?

* * *

В годы войны средства массовой информации не баловали нас вниманием. Больше того, о делах нашей авиации умалчивали. Уж не потому ли, что она так и не получила определенного названия? Были штурмовики, истребители, дальние и скоростные бомбардировщики, а куда относились мы? Да и можно ли было серьезно относиться к нашим «тихоходам»? Не случайно, видимо, вышедший еще в годы войны фильм с многозначительным названием «Небесный тихоход» напоминал водевиль из развеселой жизни «военных» летчиков. Зрителю, по сути дела, он не поведал о боевых буднях летчиков этих «небесных тихоходов». А ведь и они, сражаясь на своих маленьких и беззащитных самолетах, творили чудеса!

Всем известно имя Героя Советского Союза Алексея

Маресьева. Летчик совершил подвиг: потеряв в бою ноги, он вернулся в строй и стал вновь летать. Я не знаю, сколько вражеских самолетов он сбил до и после, и не это важно. Сколько бы их ни было на его счету, уже одно возвращение в воинский строй после такого тяжелого ранения — подвиг!

Федор Маслов не стал Героем. Но он совершил семьсот пятьдесят боевых вылетов на бомбардировку вражеских объектов, на разведку, в тыл врага, к партизанам. Он не сбивал самолеты, он летал на ПО-2. Но сколько на его счету взорванных вражеских эшелонов и уничтоженных переправ! Сколько подбитых танков и разрушенных укреплений противника! Последние сто десять вылетов Федор сделал уже после того, как потерял ногу!

Через двадцать лет после войны мы встретились с Федором в Москве, на Красной площади. Немногие из наших однополчан пришли на эту встречу, немногие остались в живых. Пришел и наш первый командир полка теперь генерал-майор Анатолий Александрович Меняев, тогда он был переведен на должность заместителя командира дивизии пикирующих бомбардировщиков, а после войны возглавил один из факультетов Военно-воздушной академии.

Тем дороже была наша встреча…

И опять я перелистываю пожелтевшие страницы своей старой «летной книжки», вчитываюсь в короткие записи, сделанные в последние дни войны. «Бомбардировка Цехина…»,

«Бомбардировка леса севернее Мюнтеберга…», «Бомбардировка нескольких заводов севернее Цехина…».

И, наконец, запись, подчеркнутая красными чернилами: «Бомбардировка Берлина». Всего два слова, а за ними весь пройденный нами путь. Путь от Москвы через Сталинград, Курск, Орел, Бобруйск, Минск, Варшаву и Познань. За этой записью имеются другие, где означены многие города Германии. Но их облики улетучились из моей памяти, растаяли, как миражное видение. Зато навсегда останется в памяти тот день, когда в «летную книжку» были вписаны эти два слова: «Бомбардировка Берлина».

Помнится, однажды, еще до зачтения боевого приказа, всех нас облетела радостная весть: пойдем на Берлин!

Не сговариваясь, все мы надеваем парадную форму, прикрепляем ордена и медали и тщательно надраиваем сапоги. Над нашим блестящим и сверкающим всеми оттенками радуги строем разливаются резкие запахи военторговского одеколона и сапожной ваксы. Об исключительности события свидетельствует появление армейского и дивизионного начальства. Наш строй обходят член Военного совета армии генерал Виноградов,

командир дивизии генерал Рассказов, начальник политотдела дивизии полковник Журбенко, командир полка и все офицеры штаба.

— Гвардейцы! Я не буду читать вам текст боевого приказа, — обращается к нам генерал Виноградов. — По вашему виду можно догадаться, что цель для вас ясна. Я только хочу заметить, что командование армии поручило выполнение этой почетной задачи лучшим из лучших — вашей гвардейской Краснознаменной дивизии! Командир дивизии, в свою очередь, принял решение поручить эту операцию вашему полку. Кто из вас пойдет самым первым, решит командир полка.

Гвардейцы! Перед вами Берлин. Все свое умение, всю свою силу, всю ненависть к врагу вы должны вложить в удар по логову фашистского зверя. Пусть враг поймет, что нас не остановить, что ему не уйти от расплаты. Вспомните слова Верховного Главнокомандующего Сталина, сказанные им еще в сорок первом году: «Будет и на нашей улице праздник!» Этот праздник пришел! Вперед, гвардейцы! На Берлин!..

— Ура!.. Ура!.. Ура!..

Это кричим не мы, это кричат наши сердца, это голоса погибших товарищей, за смерть которых мы клялись отомстить…

— Ур-ра! Даешь Берлин!.. Это кричат замученные в лагерях смерти, чей пепел стучит в наши сердца…

— На Берлин! — кричу я.

— На Берлин! — кричит гвардии старший лейтенант Федор Маслов. Ему предоставлена честь открыть счет нашей мести вражеской столице. Советский летчик, лишившийся в бою левой ноги, простой рабочий парень, первым из нас понесет на своих крыльях возмездие!

— Вперед, на Берлин!..

* * *

Дни существования Третьего рейха исчисляются уже часами: бои идут в Берлине, вблизи рейхстага, в Трептов-парке.

На моем боевом счету девятьсот девяносто пять боевых вылетов, но командиру дивизии генералу Рассказову, наверное, хочется, чтобы я стал дважды Героем, и если хоть один вылет выпадает на дивизию, то он достается мне.

— Связали меня с тобой черти, — ворчит Николай, мой боевой штурман и старый друг. — Вся дивизия сидит, а тут…

Что «тут», он не договаривает, но мне ясно. Война вот-вот окончится, кому же хочется сейчас умирать. Я понимаю тебя,

Коля, но мы солдаты, и смотреть в глаза смерти нам не впервой. Конечно, лучше бы выжить…

Летим на запад, севернее Берлина. Нам поручено разобраться в обстановке и нанести на карту расположение войск — своих, союзников, немцев. Задание непростое. Все сейчас так перепутано.

Ночь светлая, лунная. Откуда-то из синевы неба над нами повисает темный силуэт «Хеншеля». Он идет параллельным курсом выше нас на какие-то две сотни метров. Наверное, не видит нас. Иначе… У него отличная позиция для атаки.

— Николай! — окликаю штурмана. — Возьми гада в перекрестие!

— Чего орешь, — спокойно отвечает штурман. — Давно держу на прицеле!

— Так какого черта? — не успокаиваюсь я.

— Пусть летит, — миролюбиво отвечает Николай. — Скоро конец…

— Ну и черт с ним, — соглашаюсь я. — Пусть живет!

Выполнив задание, возвращаемся на аэродром. Против ожидания он буквально расцвечен посадочными огнями.

— Во, иллюминация! — восторгается Николай. — Пока мы летали, война, наверно, закончилась!

— Похоже, — соглашаюсь я и разворачиваю самолет на посадку.

Все ближе наплывают огни старта, в луче прожектора уже можно отчетливо рассмотреть каждую травинку поля — и вдруг желтые светляки выкатываются откуда-то сзади и втыкаются в землю прямо перед носом самолета.

— Справа в хвосте «мессер»! — кричит Николай.

Бросаю самолет из стороны в сторону. По направлению стрельбы Николая догадываюсь, что истребитель заходит для повторной атаки. Круто разворачиваюсь к ближнему лесу, где сосредоточены наши зенитки. Их дружные залпы и очереди нашего пулемета заставляют «мессер» уйти.

Рано мы с тобой, Коля, войну похоронили. Она еще огрызается.

Мы базируемся в небольшой деревушке Вельзикиндорф, всего в шестидесяти километрах от Берлина. Красная черепица крыш, пышная кипень цветущих садов, маленькая кирха со старым органом, домик сельского патера, увитый плющом и диким виноградом… Видимо, это последняя наша стоянка на дорогах войны.

Лишь изредка вылетаем на бомбардировку Берлина и его западных предместий, но и когда нет вылетов, все экипажи в

состоянии боевой готовности: у всех на памяти прорыв немецкого гарнизона из Познанской крепости. Бои идут в Берлине!..

А весна действует вне зависимости от военной обстановки на фронтах. Уже жара, плотно осевшая на землю днем, не покидает ее и к ночи. В распахнутое окно слышно протяжное мычание коров бауера, в доме которого разместилась наша эскадрилья. Едва ощутимое дуновение ветра приносит аромат каких-то незнакомых цветов, сонно бормочут под крышей сарая голуби, навевая дрему, и у меня сами собой закрываются веки. Но спать нельзя: полк каждую ночь находится в боевой готовности.

— Приляг, — советует мне Алексей Теплинский, адъютант эскадрильи, с которым мы занимаем одну из четырех предоставленных в наше распоряжение комнат. — Сними гимнастерку, сапоги. Отдыхай. В случае чего толкну.

Наверно, я уснул, и мне опять приснилась война с ревом моторов, грохотом выстрелов и дикими воплями фрицев, идущих в атаку…

Просыпаюсь и слышу врывающиеся в открытое окно звуки близкого боя: пистолетные выстрелы, трескотню автоматов… Яркие вспышки ракет освещают двор.

— Эх! Послушал тебя!.. — только и успеваю сказать Алексею. Хватаю ремень с пистолетом, пристегиваю его прямо поверх голого живота, всовываю ноги в сапоги и через окошко выпрыгиваю во двор. За мной в таком же виде выскакивает Алексей. Между кустами сирени пробираемся на улицу, навстречу стрельбе. И вдруг слышим:

— Ура! Капитуляция! Конец войне!

И сразу же становится ощутимым конец нашего долгого пути. Теперь уж нам не обязательно надевать свои солдатские мундиры, и все мы, кто в чем есть, собираемся в нашей комнате.

Рассаживаемся на кроватях и подоконниках и пьем неизвестно каким путем добытое Алексеем вино — кислый мозель. И совсем не хочется спать, мы говорим, перебивая друг друга, и каждый из нас вспоминает что-то такое, что уже находится там, позади, в военном времени. Приходит Яша Ляшенко и приносит старую гитару Бориса. Под его тонкими пальцами тихо рокочут струны, а Иван Шамаев ломающимся баритоном затягивает песню. Прежде я ее не слыхал. Может, это экспромт, а может, он сочинил ее давно и берег для сегодняшнего дня.

Вспомним за чаркою ночи морозные,
Вспомним седые снега,
Вспомним и то, как ПО-2 наши грозные

Били повсюду врага.
Мощным салютом Москва озаряется,
Значит, войне дан отбой.
Выпьем на радостях, как полагается,
Друг мой крылатый, с тобой!..

Ура! Ура! Война закончена! По приказу командующего наш полк вылетает в Москву для участия в воздушном параде, посвященном празднику Дню Победы!

К сожалению, из-за плохой погоды воздушный парад не состоялся. А мне даже не удалось долететь до Москвы: из-за отказа мотора произвел вынужденную посадку на лужайке у какой-то деревушки близ железной дороги Брест — Варшава. Как мне пригодилось тогда знание польского языка! Без денег, в чужой стране, я смог добраться до Праги (предместья Варшавы), где тогда находилось представительство СССР, и через него связаться со службой тыла 16-й воздушной армии и попросить помощи.

Через неделю нам привезли новый мотор. Два техника, которые привезли мотор, помогли Ландину снять отказавший и поставить новый. Мы вернулись в Вельзикендорф. Вскоре прилетел весь полк и тут же пришел приказ о перебазировании на новое место — военный аэродром у Штраусберга — дачного поселка в пригороде Берлина, расположенного у большого красивого озера в сосновом лесу.

Для нас началась новая, мирная жизнь: политинформация, учебно-тренировочные полеты и всякого вида дежурства — обычная жизнь военного гарнизона.

И опять перебазирование. На юг, в Тюрингию, в курортный город Эрфурт, совершенно не тронутый войной. И тоже на военный аэродром, который, по моему предположению, ранее принадлежал какой-то ремонтной фирме, летному училищу и, видимо, летно-испытательному отделу производственного предприятия. Во всяком случае, в ангарах были в ремонте или уже отремонтированные самолеты разных типов, а на дальней стоянке в конце взлетно-посадочной полосы стояли под чехлами несколько новеньких, видимо, еще и не облетанных, «мессера» с реактивными двигателями — по тем временам малоизвестная техника! Вот бы полетать на таком самолете! Жаль, не пришлось.

И опять жизнь военного гарнизона с новым командиром полка, весьма далеким от авиации…

Я подаю рапорт об увольнении.

На перроне вокзала в Эрфурте людно. Сегодня я уезжаю

домой. Уезжают домой и многие мои однополчане. Пришел на вокзал и наш первый командир полка, который еще вчера прилетел на аэродром Эрфурта для осмотра перед перебазированием его дивизии пикирующих бомбардировщиков. Мы крепко обнимаемся, жмем руки, обещаем не забывать друг друга, обещаем писать.

— А ты не совершаешь ошибку? — спрашивает меня Меняев. — Еще не поздно, подумай…

— Нет, Анатолий Александрович, я уже все обдумал — ответил я…

— Абфарен! — завопил проводник с площадки открытой двери вагона.

И никто тогда не предполагал, что наша новая встреча произойдет только через двадцать лет.

Как-то уж так получилось, что после случайной встречи в Гомеле связь с отчимом прервалась. Несколько раз я писал ему на адрес полевой почты, но ответа не было. А последнее письмо вернулось с отметкой: «Адресат выбыл»… А куда? Скорее всего, демобилизовался и уехал к эвакуированным дочерям и жене. И тот же вопрос — куда?

Под стук колес поезда в голову лезут всякие мысли одна другой тяжелей. Действительно, не ошибся ли я, покинув армию? Ты же хотел летать!.. Вот и летай до конца жизни! По кругу, в зону, по опостылевшему маршруту к мишени на полигоне!.. Разве это полеты? А где ты найдешь другие? В гражданской авиации! Там полеты по новым маршрутам, к новым городам, а то и в другие страны!

Как хорошо, что у меня появилась связь с Ниной — старшей сестрой моих юношеских друзей — братьев Заливако, Яна и Антона. В течение всех лет войны Нина искала братьев, но куда бы ни обращалась, приходил один и тот же ответ: «Пропали без вести»… В надежде хоть что-нибудь узнать о братьях Нина разыскала меня. Но и я ничего не знал — война разбросала нас в разные стороны. А раз установившаяся переписка между нами продолжалась. Вот и теперь я еду к ним — к Нине и ее матери. У них никого не осталось. А мне еще предстоит разыскать своих — отчима и всю нашу семью. Думаю, что объединенными усилиями сделать это будет легче.

В последний год Нина по работе была переведена из Гомеля в Минск и вместе с матерью переехала к месту работы. Поэтому я и поехал в Минск. Больше мне ехать было некуда.

От вокзала иду пешком через весь город на Комаровку. Этот район старого Минска был знаком еще по институту: недалеко находилась клиника, в которой мы проходили практику, рядом

располагалось общежитие. Сколько хожено по этим улицам! А теперь иду и не узнаю город: среди груд обгорелого и битого кирпича трудно распознать бывшие улицы — мертвый город? Нет! Вон среди развалин кое-где уже поднялись коробки новостроящихся домов. Значит, город живет! Залечивает раны, строится!

Я смотрю по сторонам и думаю, что, наверно, по генеральному плану восстановления Минска все эти новые коробки со временем создадут новые улицы, и вряд ли строители оставят среди новых домов хотя бы малюсенький клочок развалин многострадального города — памятник войны. Скорее всего, они будут правы. Пусть вместо руин, вместо страшных ран Минска восстанет новая столица родной Белоруссии! Пусть ничего не напоминает о тяжелых прошлых днях всего нашего народа. Пусть расцветет город и станет еще краше, еще наряднее. Пусть!

А может, следует оставить? Вот эти развалины на Комсомольской или Ленинской? Обнести их невысокой оградой, разбить вокруг сквер и в нем поместить скульптуру человека с автоматом в руке — памятник простому человеку, которого не сломила железная махина фашистского вермахта, который выстоял, победил и возродил свои города и села. Я бы поставил памятник Человеку, который погиб безвестным, защищая Родину. Который недоделал свои простые житейские дела, который недопроизвел, недотворил, недожил… А мы, те, кому выпало жить, пришли бы к этому памятнику и дали бы молчаливую клятву доделать все то, что не смог сделать при жизни он, мой земляк, мой безвестный товарищ, мой брат!..

По дороге мне навстречу движется колонна пленных. Видимо, они работали на расчистке улиц или на стройке и теперь возвращаются в казармы. Что же, они разрушали — им расплачиваться за преступления.

— Гер обер-лейтенант! Пожалюста, дайт закурить!.. Я останавливаюсь, достаю пачку сигарет:

— Раухен. Бите.

— О-о! Данке! Данке шён!

Десятки рук тянутся к пачке, и она мгновенно пустеет. Я развязываю вещевой мешок, достаю из него сигареты, подаренные ребятами на вокзале в Эрфурте, и раздаю их пленным солдатам и тут же невольно вспоминаю Берлин, пятое мая. Мы стояли у рейхстага, и какой-то фотограф навел на нас свой фотоаппарат. В это мгновение рядом с нами взорвался снаряд. Несколько солдат ринулись в подвал, откуда еще курился дымок выстрела, и выволокли трясущегося от страха старика. Это он направил на

нас свой фаустпатрон. И не солдат. Просто немец. Из тех, которых называли «вервольф» (оборотень) и оставляли в нашем тылу с целью всячески вредить наступающим войскам. Среди них были и старики, и пацаны из «гитлерюгенда». Берлин уже капитулировал. Через несколько дней вообще закончится война. А на ступенях рейхстага стонут наши раненые и суетятся санитары, а за углом, на Унтер ден Линден, стоит очередь из таких же стариков, женщин, детей. Наш солдат-кашевар раздает в протянутые посудины солдатский кулеш.

Нет, наши солдаты не устроили самосуд, не расправились с «оборотнем». Просто кто-то поддал пинка, и незадачливый вояка потрусил на Унтер ден Линден. Может, встал в очередь к походной кухне? Не знаю.

Идет мимо меня колонна пленных, я всматриваюсь в их лица. Какие они все разные. И одинаковые. Немцы!..

И пропадает жалость к тому старику — стрелку из фаустпатрона.

Мать Нины сурово поджала губы и не отводит от меня внимательного взгляда. Я догадываюсь, о чем она думает, о чем не решается спросить меня… А если и задаст этот единственный вопрос, я на него не отвечу. Она еще ждет, еще надеется…. А я не надеюсь. Я знаю. Недавно Нине рассказали очевидцы о гибели обоих братьев на Березине. Нина поведала об этом мне. Но оба мы не скажем матери. Пусть теплится в ее сердце надежда.

Уже неделю каждый день с утра ухожу в город. Я ищу работу. Как-то зашел в институт. Узнал, что можно продолжить учебу, если я предъявлю зачетную книжку — архивы в институте не сохранились. В виде исключения как участника войны могут зачислить на первый курс без экзаменов! И начинать все сначала? Спасибо, не надо.

Попытка устроиться на работу в Минском аэропорту тоже не увенчалась успехом: самолетов мало, своих летчиков больше, и вообще летчиков принимают на работу только через Главное управление Гражданского воздушного флота, которое находится в Москве.

И опять перрон вокзала. Дюжие руки солдат помогают вскочить в дверной проем теплушки — теперь ходят только такие поезда, почему-то прозванные «пятьсот веселыми». Но и на такой поезд достать билет не просто — очереди на сутки! Военный комендант вокзала, когда я попросил его помочь с билетом, ответил:

— Дуй на «пятьсот веселом»! Туда билеты не нужны.

Вот и «дунул» я на нем до Москвы.

* * *

В длинной очереди таких же, как я, бывших военных летчиков стою уже вторые сутки у входа в здание Главного управления Гражданского воздушного флота (ГВФ) — это надпись над входной дверью. Прежде чем попасть на второй этаж, в отдел кадров, надо выстоять эту очередь к телефону, который висит на стене рядом с окошком бюро пропусков. Видимо, работникам отдела кадров недосуг выслушивать всех желающих поступить на работу, поэтому специально выделенный человек, прежде чем пропустить жаждущего найти работу, задает стереотипные вопросы, предварительно определяющие пригодность очередника, завладевшего телефонной трубкой.

Передо мной в очереди — капитан, Герой Советского Союза, и мне слышен его разговор по телефону:

— На чем летали?

— Я истребитель! — гордо отвечает капитан. — Летал на «Яках», на «Лавочкине».

— Налет?

— Около семисот часов!

— Не подходит. Следующий!

Капитан растерянно вертит телефонную трубку и передает ее мне.

Если отказали такому парню, следует ли мне брать трубку? Но… Другого выхода нет.

Для меня это единственный шанс стать гражданским летчиком!

— На чем летали?

— На ПО-2…

— Налет?

— Больше двух тысяч днем и ночью.

— Фамилия, имя, отчество? Заказываю пропуск.

Передаю трубку следующему. Это майор, бывший летчик-штурмовик. В этой долгой очереди мы уже успели перезнакомиться, знаем, кто на чем летал, на каких фронтах воевал, какие имеет награды.

На второй этаж приглашают в лучшем случае одного из десяти. Вслед тем, кто получает клочок серой бумаги — пропуск, смотрят с нескрываемой завистью: счастливчик! Сегодня я такой «счастливчик». С тревожно стучащим сердцем взбегаю на второй этаж и занимаю очередь у двери инспектора отдела кадров. Здесь те же разговоры, те же надежды и мечты, тут они приобретают реальную форму: говорят о том, в какое управление ГВФ желательно попасть, какой город лучше, какой хуже, где больше

работы, где меньше.

Мне эти разговоры безразличны: куда пошлют — в Иркутск, Якутск, Омск, Томск — мне все равно. Главное — приняли бы! А принимают далеко не всех. Для того, чтобы приняли, требуется определенный налет часов, отличное здоровье, необходимый запас знаний и немного везения. Вот и думаешь, стоя в очереди у дверей инспектора: повезет — не повезет? Многие из этой очереди спускаются вниз с печальной мыслью, что для них небо закрылось навсегда…

— Что нос повесил, Герой? — спрашивает меня подошедший седовласый майор с красивым моложавым лицом.

— Повесишь, — отвечаю ему, показывая головой на очередь.

— Хочешь в полярную авиацию?

— В полярную? — переспрашиваю я.

Полярная авиация! О ней я читал в детстве, в юности восторгался отважными перелетами Чкалова, Громова, Слепнева, Водопьянова, Бабушкина, Чухновского, Мазурука, знал имена первых Героев Советского Союза и втайне мечтал слетать с ними хотя бы в один полет! А работать с ними, встречаться каждый день? Нет, это невозможно, это — несбыточная мечта…

— На розыгрыши не клюю, майор, — сухо отвечаю ему.

Майор молча берет меня под руку и увлекает к выходу.

— А по этому пропуску меня пропустят обратно? — настороженно спрашиваю я, показывая серую бумажку.

— Если захочешь вернуться, сам провожу. Не беспокойся!

Идем какой-то улицей, переулком. Останавливаемся у большого дома с указателем на стене «Большая Черкасская. Дом 17». А майор подталкивает меня в спину:

— Не робей, Герой!

Входим в полутемный коридор и останавливаемся у двери, обтянутой коричневой клеенкой.

Майор открывает ее и пропускает меня вперед.

— Илья Павлович, думаю, этот подойдет, — говорит он, опуская руку мне на плечо.

Сидящий за столом генерал отрывает взгляд от бумаг, и его серые глаза изучающе останавливаются на мне. Он поднимается из-за стола и протягивает руку:

— Майор Бакшт не догадался нас представить друг другу. Что же, наверно, с этой задачей справимся сами — Мазурук Илья Павлович.

Я называю себя и не могу оторвать взгляд от генерала: это же прославленный ас! Один из первых Героев Советского Союза!

— Майор Бакшт рассказал вам об условиях работы в нашей авиации? — прерывает мои мысли Мазурук. — Нет? Ладно, он

займется этим позже, и, если вас устроит, прошу, как говорится, к нашему шалашу! Приказ о зачислении вы подготовьте сегодня же, товарищ майор. Кстати, когда вы смогли бы вылетать?

— Хоть сейчас! — радостно восклицаю я.

Мазурук переглянулся с Бакштом, и оба улыбнулись.

— Подойдет! — весело смеется Мазурук. — Только вылетать не сегодня, а так через недельку. Устроит?

— Так точно, товарищ генерал!

— Давай договоримся, дружок, — продолжает улыбаться Мазурук, — просто Илья Павлович. А теперь — ни пуха тебе, ни пера!..

Я крепко пожимаю протянутую руку.

Это произошло 15 мая 1946 года. С этого дня для меня начался отсчет нового времени в новой жизни — пусть тяжелой, неустроенной, опасной, но интересной, увлекательной и неизведанной. Путь к мастерству, к работе, которая нужна людям сегодня, сейчас. И я это видел своими глазами! Путь в небо Арктики, в неизведанные просторы, которые, раз увидев, уже не забыть! А небо Арктики? Я отдал ему почти четверть века. И никогда не жалел. Если бы было возможно, я опять повторил бы эту жизнь!

Небо стоит верности!

Список иллюстраций

Константин Михаленко. 1943 г.

Штурман Петр Чиганаев.

Штурман Николай Кисляков и автор. Аэродром Щитня.

Экипаж самолета в составе штурмана старшего лейтенанта Василия Вильчевского и летчика лейтенанта Александра Гаврилова

Штурман Николай Кисляков.

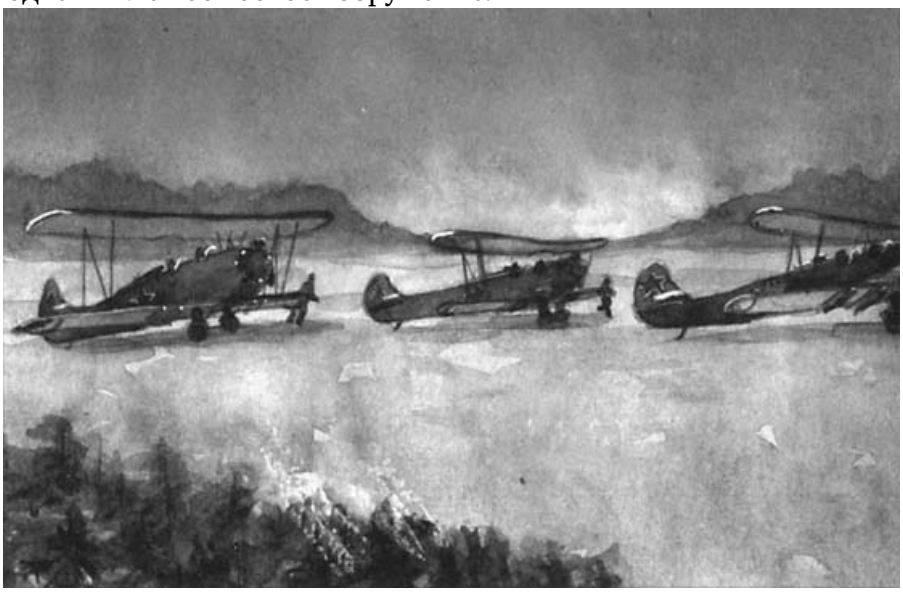
Штурман Семен Ратнер.

Сколько раз мы убеждались, что отличное знание района боевых действий — это успех в выполнении задания. Вот и готовят штурманы экипажей макет местности предстоящих боев. Аэродром Щитня

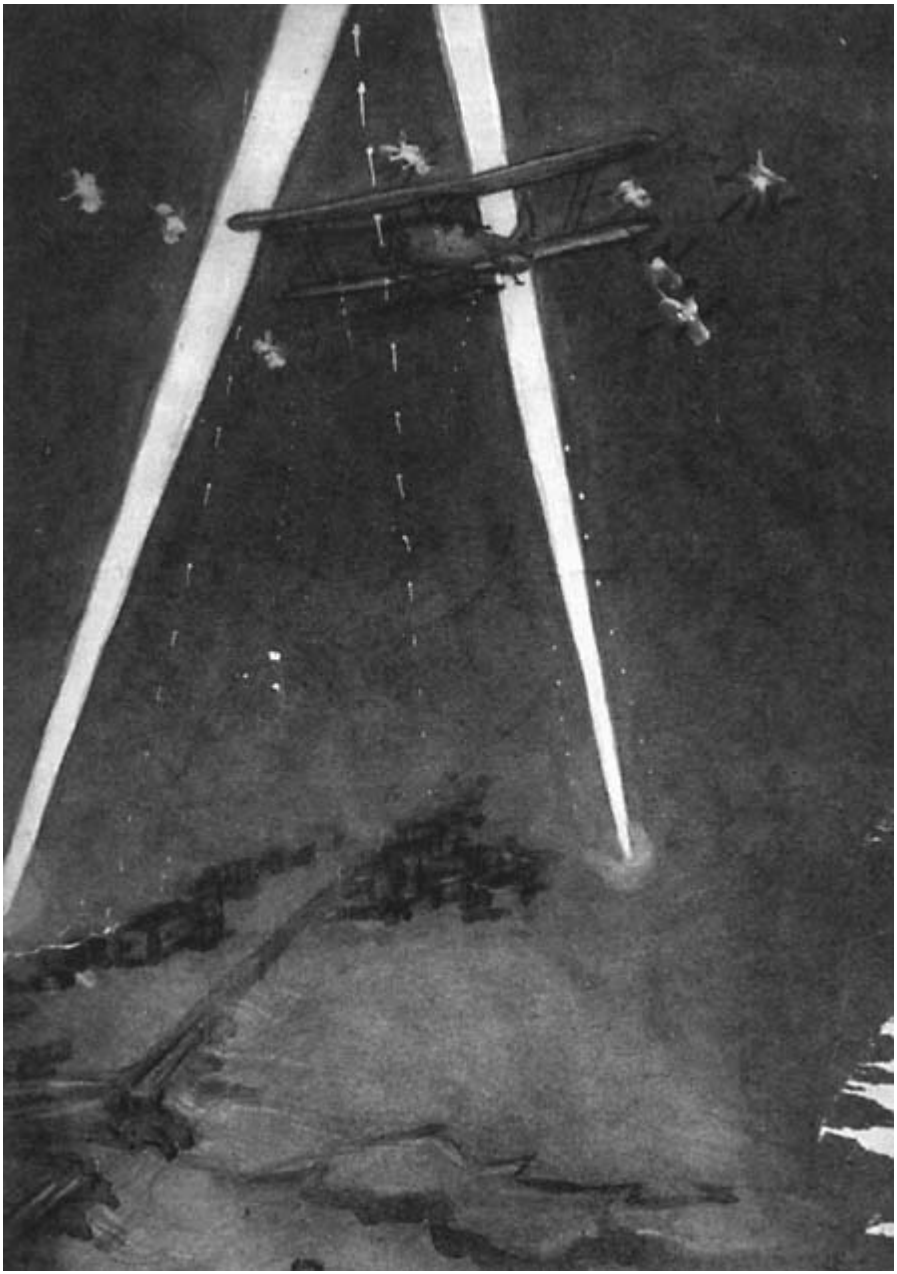
Сколько раз мы убеждались, что отличное знание района боевых действий — это успех в выполнении задания. Вот и готовят штурманы экипажей макет местности предстоящих боев. Аэродром Щитня

Проверка двигателя перед боевым вылетом.

Перед боевым вылетом на Познань. Техники-оружейники подвешивают бомбовое вооружение.



Полк готовится к ночному вылету. Акварель автора.



Над Сталинградом. Акварель автора.

Строй полка.

Экипажи авиазвена, которыми командовал Константин Михаленко.

Автор. На груди видны орден Отечественной войны 2-й степени и значок «Гвардия» (слева), а также орден Красного Знамени, медаль «За отвагу» на колодке раннего образца и медаль, предположительно «За оборону Москвы». 1944 г.

Командиры эскадрилий: лейтенант Брехов, младший лейтенант Пуйлов, инженер эскадрильи Михаил Павлов

«Разбор полетов» с техническим составом полка

Константин Михаленко с командиром звена Иваном Казюрой.

Константин Михаленко со штурманом Лосицким.

Война подходит к концу. Летчики репетируют «Акробатический этюд» для вечера самодеятельности на 1 Мая 1945 г. Выполняют упражнение летчик А. Васильев (партнер) и заместитель командира эскадрильи К. Михаленко

Над Берлином. Акварель автора.

notes

Примечания

1

В годы Великой Отечественной войны обе служили в женском бомбардировочном полку, удостоены звания Героя Советского Союза. Докутович погибла в 1943 году.

2

ШКАС — авиационный пулемет конструкции Шпитального и Комарицкого.

З

ДА — авиационный пулемет конструкции Дегтярева; излюбленное оружие штурманов малой авиации

БАО — батальон аэродромного обслуживания.

5

ТБ-3 — тяжелый четырехмоторный бомбардировщик.

6

СМЕРШ — контрразведка. Сокращенно от слов «смерть шпионам».

7

Стихотворение Людмилы Татьяничевой.

8

Дивизии, состоящие из эсэсовцев, отличались особой жестокостью.

9

Позже ПО-2, вооруженный дополнительными пулеметами и эрэсами, превратился в ночной штурмовик.

10

Внимание! Немецкие солдаты и офицеры!

11

САБ — светящаяся авиабомба

12

Русские летчики! Огонь! Огонь!

13

Немецкая скорострельная зенитная пушка.

14

ФОТАБ — авиационная фотобомба-вспышка.

15

Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945. Краткая история. Воениздат Министерства обороны СССР. М., 1967.

16

ЗАП — запасной авиаполк. Учебная часть, где проходили тренировку летчики перед отправкой на фронт.

17

Типы довоенных истребителей.

18

Бимбер — самогон.

19

Гарбата — чай.

20

Водка, изготовленная на государственных заводах.

21

Что вы говорите? (польск.)

Сокращенно — хлопчатобумажная ткань.

23

Сейчас война, господин старший лейтенант (польск.).

24

Армия крайова — вооруженные силы эмигрантского правительства.

25

«Виндзор» — английская фирма, выпускающая краски

Союзное — т. е. англо-американское. Оба правительства, соответственно и командование, активно поддерживали эмигрантское польское правительство Миколайчика, умышленно «не замечая» существования вновь образованного правительства народной Польши — Польского Комитета национального освобождения и лелея тайную мечту о возрождении старой капиталистической Польши.

27

Бомбардировка не каких-то определенных целей и военных объектов, а города вообще. При такой бомбардировке страдает больше всего мирное население. Незадолго до окончания войны аналогичным бомбардировкам американской авиации подверглись Лейпциг и Дрезден. В результате химические заводы «ИГ Фарбениндустри», Круппа и другие военные объекты оказались совершенно невредимыми, а пострадали жилые районы.

28

Пикирующий бомбардировщик Ю-87

29

Гауптман — капитан.

30

«Шмайсер» — немецкий автомат.

31

Флигер — летчик

32

Хорошо. Каюта первого класса.

33

Счастливого пути, Курт!

Спасибо. Большое спасибо!

35

Сидеть! Я делаю взлет!

36

Хороший спектакль.

37

До скорого свидания, товарищ!